

У 180  
1153

ЗА  
ВОЛШЕБНЫМЪ  
КОЛОБКОМЪ

ПО КРАЙНЕМУ СЪВЕРУ  
РОССІИ И НОРВЕГІИ



Г.Ю

ИЗДАНИЕ. А.Ф. ДЕВРІЕНА.

914.7

П77

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ  
ОБОЗНАЧЕННОГО ЗДЕСЬ СРОКА.


524a

77





212  
5440



БИБЛИОТЕКА  
В. И.  
СМИБНЕВСКОЙ  
Уг. М. Бронной и Спирид. п. д № 20  
Тел. 5.02-58.

**За волшебнымъ  
Колобкомъ.**



100  
100  
100

100  
100  
100

AMERICAN BANK NOTE CO.

AMERICAN BANK NOTE CO.

04116

100

100

100



И  $\frac{180}{1153}$

М. Пришвинъ.

Ф 10-82  
973

# За волшебнымъ Колобкомъ.

914.7  
П77-3



ИЗЪ ЗАПИСОКЪ

НА КРАЙНЕМЪ СЪВЕРЪ РОССІИ И НОРВЕГІИ.

И въ северной части Азии и Европы



Съ рисунками Г. Д. Дэнгласъ-Юма.

5040

8254

10/11 - 917



БИБЛИОТЕКА  
В. И.  
СМИЛЬНЕВСКИ  
Уг. М. Вроцкой и Сенной п. д.  
Тел. 5.02-58.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Издание А. Ф. ДЕВРИЕНА.

11908

Типографія А. Бенке, Новый переулочъ № 2.



33007-44



2011123485



## Оглавление.

Предисловіе автора . . . . .	Стан. VII
------------------------------	--------------

### Часть I.

#### Солнечныя ночи.

Глава I. Волшебный колобокъ . . . . .	1
Лѣсъ . . . . .	7
Красныя горы . . . . .	11
Море . . . . .	13
У Марьи Моревны . . . . .	28
Глава II. По общанію . . . . .	38
Изъ записокъ на С. Двинѣ . . . . .	44
По морю на лодкѣ къ Святымъ островамъ . . . . .	50
Соловецкій монастырь (письма къ другу) . . . . .	74
Глава III. Солнечныя ночи . . . . .	100
Кандалакша . . . . .	104
Рѣка Нива и озеро Имандра . . . . .	105
По Имандрѣ . . . . .	114
Олений островъ . . . . .	121
Солнечныя ночи въ Хибинскихъ горахъ . . . . .	132

### Часть II.

#### Къ Варягамъ.

Глава IV. Свиданіе у Канина носа . . . . .	153
Бѣлая ночь . . . . .	157
Отъѣздъ . . . . .	161
По Маймаксѣ . . . . .	165
Въ горлѣ Бѣлаго моря . . . . .	171

	Стран.
Жизненная качка . . . . .	173
Морская качка . . . . .	177
Святой носъ . . . . .	180
У лага . . . . .	182
Канина отмель . . . . .	187
Ловъ рыбы . . . . .	199
Потѣрчина . . . . .	198
Горній вѣтеръ . . . . .	202
Глава V. Анархическая колонія . . . . .	204
Звѣробой . . . . .	209
Вичурный . . . . .	214
Ловъ наживки . . . . .	216
Старый кормщикъ . . . . .	220
Слетуха . . . . .	220
Къ варягамъ . . . . .	234
Глава VI. У Варяговъ . . . . .	239
Александровскъ . . . . .	244
Вардѣ . . . . .	246
Нордкапъ . . . . .	255
Гаммерфестъ . . . . .	271



## Предисловіе автора.

Теперь я прошусь съ городомъ навѣки. Не вѣду николи въ сіе жилище тигровъ. Единое ихъ веселіе грызть другъ друга; отрада имъ томить слабаго до издыханія и раболѣпствовать власти. И ты хотѣлъ, чтобы я поселился въ городѣ! Нѣтъ, мой другъ, заѣду туда, куда люди не ходятъ, гдѣ не знаютъ, что есть человекъ, гдѣ имя его неизвѣстно. Прости! Съѣзъ въ кибитку и поскакалъ. (Радищевъ. Путешествіе изъ Петербурга въ Москву).

Путешествіе, которое описывается въ этой книгѣ, не было задумано впередъ. Я просто хотѣлъ провести три лѣтніе мѣсяца, какъ лѣсной бродяга, съ ружьемъ, чайникомъ и котелкомъ. Конечно, за это время я много узналъ о жизни на сѣверѣ. Но не объ этой внѣшней, видимой сторонѣ путешествія мнѣ хотѣлось бы разсказать своимъ читателямъ. Я желалъ бы напомнить о той странѣ безъ имени, безъ территоріи, куда мы въ дѣтствѣ бѣжимъ...

Я пробовалъ въ дѣтствѣ туда убѣжать. Было нѣсколько мгновеній такой свободы, такого незабываемаго счастья... Въ свѣтящейся зелени мелькнула страна безъ имени и скрылась.

И вотъ мнѣ, взрослому человекѣу, захотѣлось вспомнить это...

Приключенія Тартарена изъ Тараскона... улыбнутся скептики. Но для нихъ у меня есть отговорка: я имѣлъ серьезныя порученія отъ Географическаго общества. И потомъ развѣ у насъ Тарасконъ? Черезъ два три дня ѣзды отъ Петербурга у насъ можно попасть почти въ совсѣмъ неизученную страну.

Небольшая поддержка отдѣленія этнографіи Географическаго общества, умѣнье добывать себѣ пищу ружьемъ и удочкой, не очень большая утомляемость — вотъ и всѣ мои скромныя средства.

Въ половинѣ мая 1907 года я по Сухонѣ и Сѣверной Двинѣ отправился въ Архангельскъ. Отсюда и начались мои скитанія по сѣверу. Частью, пѣшкомъ, частью, на лодкѣ, частью на пароходѣ обошелъ я и объѣхалъ берегъ Бѣлаго моря до Кандалакши. Потомъ перешелъ Лапландію (230 верстъ) до Колы, побывалъ въ Печенгскомъ монастырѣ, въ Соловецкомъ, на западномъ Мурманѣ и моремъ возвратился въ Архангельскъ въ началѣ іюля.

Эту первую часть путешествія я описываю въ отдѣлѣ „Солнечныя ночи“. Въ Архангельскѣ я познакомился съ однимъ морякомъ, который увлекъ меня своими разказами, и я отправился съ нимъ на рыбацкомъ суднѣ по сѣверному Ледовитому океану. Недѣли двѣ мы блуждали съ нимъ гдѣ-то за Канинымъ Носомъ и пріѣхали на Мурманъ. Здѣсь я поселился въ одномъ рыбацкомъ становищѣ и занимался ловлей рыбы въ океанѣ. Наконецъ, отсюда на пароходѣ я уѣхалъ въ Норвегію и вокругъ Скандинавскаго полуострова поплылъ домой. Эту вторую часть пути я описываю въ отдѣлѣ: „Къ варягамъ“.

Плана путешествія у меня не было, но когда я сталъ о немъ раздумывать, то мнѣ представилось, будто кто-то мной руководилъ... Кто же это?..

И мнѣ стало казаться, что я, какъ въ сказкѣ, шелъ по сѣверу за волшебнымъ колобкомъ.

---

Посвящаю свой трудъ странѣ безъ имени, безъ территоріи, куда мы въ дѣтствѣ бѣжали. Посвящаю и тѣмъ

тремъ друзьямъ, которые раздѣлили тогда со мной дѣтскія грезы.

Этимъ трудомъ я хочу поставить своимъ дѣтскимъ мечтамъ памятникъ, быть можетъ, грубоватый, простой. Но что изъ этого? Лишь бы не дать сравняться могилѣ съ землей, лишь бы узнать то мѣсто, гдѣ лежатъ дорогіе мальчики и грезять о странѣ безъ имени, безъ территоріи.







Часть I.

---

СОЛНЕЧНЫЯ НОЧИ.

---





## Глава I.

### Волшебный колобокъ.

Начинается сказка отъ сивки, отъ бурки, отъ вѣщей каурки.

Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жить людямъ стало плохо и они стали разбѣгаться въ разныя стороны. Меня тоже потянуло куда-то, и я сказалъ старушкѣ:

Бабушка, испеки ты мнѣ волшебный колобокъ, пусть онъ уведетъ меня въ лѣса дремучіе, за синія моря, за океаны.

Бабушка взяла крылышко, по коробу поскребла, по сусѣку помела, набралось муки пригоршни съ двѣ, и сдѣлала веселый колобокъ. Онъ полежалъ, полежалъ, да вдругъ и



покатился съ окна на лавку, съ лавки на полъ, по полу да къ дверямъ, перепрыгнувъ черезъ порогъ въ сѣни, изъ сѣней на крыльцо, съ крыльца на дворъ, со двора за ворота, дальше, дальше...

Я за колобкомъ, куда приведетъ.

Промелькнули рѣки, моря, океаны, лѣса, города, люди. Я опять пришелъ на старое мѣсто. Но у меня остались записки и воспоминанія...

Колобокъ покатился, я за нимъ. И вотъ . . . . .

Мой веселый вожатый остановился у большого камня на высокомъ берегу Двинской дельты. Отсюда дороги идутъ въ разныя стороны. Я сѣлъ на камень и сталъ думать: куда мнѣ идти? Направо, налево, прямо? На берегу передо мной плачетъ послѣдняя березынька, дальше, я знаю, Бѣлое море, еще дальше Ледовитый океанъ. Позади меня синяя тундра. Этотъ городъ—узкая полоска домовъ между тундрой и моремъ—совсѣмъ тотъ сказочный камень, на которомъ написана судьба путника. Куда идти мнѣ? Можно-бы устроиться на одной изъ парусныхъ шкунъ и испытать всю морскую жизнь сѣверныхъ людей. Это интересно, увлекательно, но вотъ налево по берегу Бѣлаго моря лѣсъ. Если идти по краю лѣсовъ, то можно, обогнувъ все море, добраться до Лапландіи, а тамъ совсѣмъ первобытныя лѣсныя мѣста, страна волшебниковъ, чародѣевъ. Въ ту-же сторону, къ Соловецкимъ островамъ, направляются и странники.

Куда-же идти: налево со странниками въ лѣсъ, или направо съ моряками въ океанъ?

Я присматриваюсь къ людямъ на оживленной Архангельской набережной, люблюсь загорѣлыми выразительными лицами моряковъ и тутъ-же возлѣ замѣчаю смиренныя фигуры соловецкихъ богомольцевъ. Если я пойду за ними, думаю я, налево, то приду не на сѣверъ за полярный кругъ, а въ родную деревеньку въ черноземной Россіи, я приду въ ея самую глубину и впередъ знаю, чѣмъ это кончится. Я увижу

черную икону съ краснымъ огонькомъ, на которую молятся наши крестьяне. На этой таинственной и страшной иконѣ нѣтъ лика. Кажется, стоитъ показаться на ней хоть какимъ нибудь очертаніямъ, какъ исчезнетъ обаяніе, исчезнетъ вся притягательная сила. Но ликъ не показывается и всѣ идутъ туда покорные къ этому черному сердцу Россіи. Почему это кажется мнѣ, что на этой иконѣ написанъ не Богъ-Сынъ, милосердый и всепрощающій, но Богъ-Отецъ, беспощадно посылающій грѣшниковъ въ адскій огонь? Можетъ быть потому такъ, что кроткій огонекъ лампы на черной безликой иконѣ всегда отражается краснымъ, безпокойнымъ, зловѣщимъ пламенемъ. Вотъ что значитъ идти налѣво. Но тамъ лѣвъ и, быть можетъ, потому такъ тянетъ туда мой волшебный колобокъ.

Отчего это сѣверные моряки такъ непохожи на нашихъ пахарей? Оттого-ли, что раздѣленная на мелкіе кусочки земля такъ принижаетъ человѣка, а недѣлимое море облагораживаетъ душу, не дробитъ ее на мелочи? А можетъ быть потому что сѣверный народъ не зналъ рабства, что и религія его—большинство ихъ раскольники—не такая какъ у насъ, за нее они здѣсь много боролись, даже сжигали себя на кострахъ... Направо или налѣво, не могу я рѣшить. Вижу, идетъ мимо меня старичекъ. Попытаю его.

„Здравствуй, дѣдушка!“

Старикъ останавливается, удивляется мнѣ, не похожему ни на странника, ни на барина—чиновника, ни на моряка.

„Куда ты идешь?“

„Иду, дѣдушка, вездѣ, куда путь лежитъ, куда птица летитъ. Самъ не вѣдаю, иду, куда глаза глядятъ“.

Смѣется старикъ, отвѣчаетъ въ тонъ:

„Дѣла пытаешь, или отъ дѣла лытаешь?“

„Попадется дѣло, радъ дѣлу, но только, вѣрнѣе, отъ дѣла лытаю“.

„Ишь ты какой, бормочетъ онъ, усаживаясь рядомъ на

камень. Дѣла да случаи всѣхъ примучили, вотъ и разбѣгается народъ“...

„Укажи, говорю я, мнѣ, дѣдушка, гдѣ еще сохранилась древняя Русь, гдѣ не перевелись бабушки-задворенки, Кощей безсмертные, и Марья Моревны? Гдѣ еще воспѣваются славные могучіе богатыри?“

„Поѣзжай въ Дураково, отвѣчаетъ старикъ, нѣтъ глуше мѣста во всей нашей губерніи“.

Я подумалъ: вотъ какой остроумный старикъ, какъ-бы ему отвѣтить такъ, чтобы вышло смѣшно и необидно. Но тутъ къ изумленію нашель на своей карманной картѣ, на Лѣтнемъ (Западномъ) берегу Бѣлаго моря, какъ разъ противъ Соловецкихъ острововъ, деревню Дураково.

„Въ самомъ дѣлѣ, воскликнулъ я, вотъ Дураково!“

„Ты думалъ я шучу. Дураково есть у насъ, самое глухое и самое глупое мѣсто. По старому и похоже на Архангельскую губернію, а по новому не похоже... Вишь народъ у насъ какой бойкій“.

Онъ указалъ рукою внизъ на оживленную толпу моряковъ.

„Народъ промышленный, крѣпкій, живой. А на Лѣтнемъ берегу сидятъ въ бѣдности, какъ тюлени, потому проѣзда туда нѣтъ: съ одной стороны Унская губа, съ другой Онежская“.

Дураково мнѣ почему-то понравилось, я даже обидѣлся, что старикъ назвалъ деревню глупой. Она такъ называется, конечно, потому что въ ней Иванушки-Дурачки живутъ. А только ничего не понимающій человѣкъ назоветъ Иванушку глупымъ. Такъ думалъ я, и спросилъ старика: „нельзя ли мнѣ изъ Дуракова на лодкѣ переѣхать по морю на Святые острова“.

„Перевезутъ, отвѣтили онъ мнѣ, это старинный путь богомольцевъ въ Соловецкій монастырь“.

До сихъ поръ я зналъ только два пути на Святые острова: черезъ Архангельскъ по морю и черезъ Повѣнецъ-Суму. О



пути пѣшкомъ по краю моря и на лодкѣ по морю я не зналъ. Я подумалъ о лѣсныхъ тропинкахъ, протоптанныхъ странниками, о ручьяхъ, гдѣ можно поймать рыбу и тутъ-же сварить ее въ котелкѣ, объ охотѣ на разныхъ незнакомыхъ мнѣ морскихъ птицъ и звѣрей.

„Но какъ же туда перебраться?“

„Теперь трудно, богомольцевъ мало. Но подожди, кажется здѣсь есть дураковцы, они расскажутъ. Если здѣсь есть, я ихъ къ тебѣ пришлю. Счастливымъ путь!“

Черезъ минуту, вмѣсто старика, пришелъ молодой человекъ, съ ружьемъ и съ котомкой. Онъ заговорилъ не ртомъ, а глазами, такіе они у него были ясные и простые.

„Баринъ, раздѣли наше море!“ — были его первыя слова.

Я изумился. Я только сейчасъ думалъ о невозможности раздѣлить море и тѣмъ даже объяснялъ себѣ преимущества сѣверныхъ людей. И вотъ...

„Какъ же я могу раздѣлить море? Это только Никита Кожемяка со Змѣемъ Горынычемъ дѣлили, да и то у нихъ ничего не вышло“.

Въ отвѣтъ онъ подаль бумагу. Дѣло шло о раздѣлѣ семужныхъ тоннъ съ сосѣдней деревней.

Нуженъ былъ начальникъ, авторитетъ, но изъ начальства никто не хотѣлъ туда ѣхать.

„Баринъ“, продолжалъ спрашивать меня деревенскій ходокъ, „не смотри ты ни на кого, раздѣли ты самъ“.

Я понялъ, что меня принимаютъ за важное лицо. Въ сѣверномъ народѣ, я зналъ, существуетъ легенда о томъ, что иногда люди необычайной власти, принимаютъ на себя образъ простыхъ странниковъ и такъ узнаютъ жизнь народа. Я зналъ это повѣрье, распространенное по всему сѣверу и понялъ, что теперь конецъ моимъ этнографическимъ занятіямъ.

По опыту я зналъ, что стоитъ только деревнѣ въ странникѣ заподозрить начальство, какъ мгновенно исчезнуть



всѣ бабушки-задворенки, всѣ дѣшніе и колдуны, на лицѣ народа появляется то льстивая, то недружелюбная мина, самъ перестаешь вѣрить въ свое дѣло и волшебный колобокъ останавливается. Я сталъ изъ всѣхъ силъ увѣрять Алексѣя, что я не начальство, что иду я за сказками, объяснилъ ему, зачѣмъ это мнѣ нужно.

Алексѣй сказалъ, что понялъ и я повѣрилъ его открытымъ чистымъ глазамъ.

Потомъ мы съ нимъ отдохнули, закусили и пошли. Волшебный колобокъ покотился и запѣлъ свою пѣсенку:

Я отъ дѣдушки ушелъ,  
Я отъ бабушки ушелъ.

\* \*  
\*

**15-го Мая.**  
**Лѣсъ.**

Шли мы долго-ли, коротко-ли, близко-ли, далеко-ли, добрались до деревушки Сюзьма. Здѣсь мы простились съ Алексѣемъ. Онъ пошелъ впередъ меня, а я не надѣялся на свои ноги и просилъ прислать за мной лодку въ Красныя Горы, деревню у самаго моря по эту сторону Унской губы. Мы разстались, я отдохнулъ день и пустился въ Красныя горы.

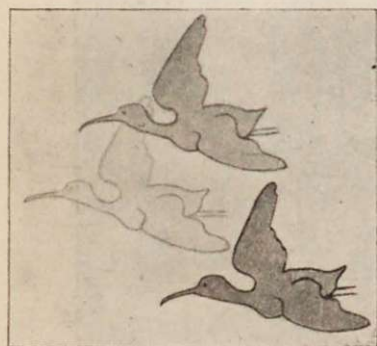
Путь мой лежалъ по краю лѣсовъ у моря. Тутъ мѣсто борьбы, страданій. На одинокія сосны страшно и больно смотрѣть. Онѣ еще живыя, но изуродованы вѣтромъ, онѣ будто бабочки съ оборванными крыльями. Но иногда деревья срастаются въ густую чащу, встрѣчаютъ полярный вѣтеръ, пригибаются въ сторону земли, стонуть, но стоять и выращиваютъ подъ своей защитой стройныя зеленыя ели и чистыя, прямыя березки. Высокій берегъ





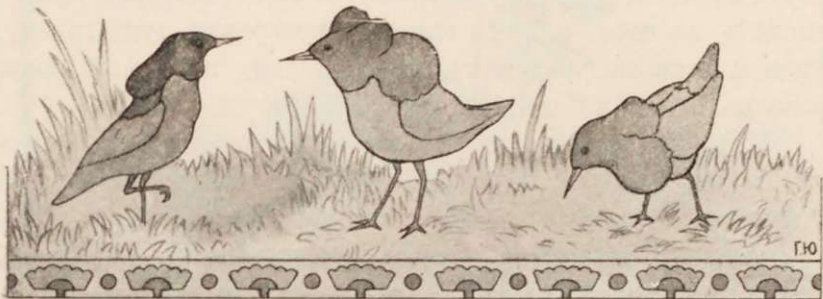
Бълаго моря кажется щетинистымъ хребтомъ какого-то сѣвернаго звѣря. Тутъ много погибшихъ, почергѣвшихъ стволовъ, о которые стучить нога, какъ о крышку гроба, есть совсѣмъ пустыя черныя мѣста. Тутъ много могиль. Но я о нихъ не думалъ. Когда я шелъ, не было битвы, было объявлено перемиріе, была весна, березки, пригнутыя къ землѣ, поднимали зеленыя головки, сосны вытягивались, выправлялись.

Мнѣ нужно было добывать себѣ пищу и я позволялъ себѣ увлекаться охотой, какъ серьезнымъ жизненнымъ дѣломъ. Въ лѣсу на пустыхъ полянкахъ мнѣ попадались красивыя кроншнепы, перелетали стайки турухтановъ. Но больше всего мнѣ нравилось подкрадываться къ незнакомымъ мнѣ



морскимъ птицамъ. Издали, изъ лѣса, я замѣчалъ спокойныя, то бѣлыя, то черныя головки. Тогда я снималъ свою котомку, оставлялъ ее гдѣнибудь подъ замѣтной сосной, или камнемъ, и ползъ. Я ползъ иногда версту и двѣ: воздухъ на сѣверѣ прозрачный, я замѣчалъ птицу далеко и часто обманывался въ разстояніи. Я растиралъ себѣ въ



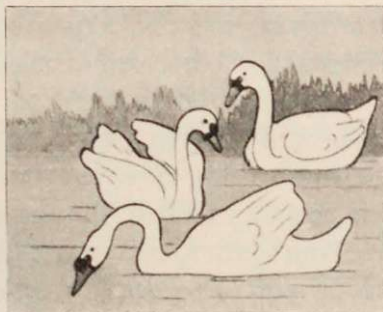


кровь руки и колѣни о песокъ, объ острые камни, о колючіе сучки, но ничего не замѣчалъ. Ползти на неизвѣстное разстояніе къ незнакомымъ птицамъ — вотъ высочайшее наслажденіе охотника, вотъ граница, гдѣ эта невинная, смѣшная забава переходитъ въ серьезную страсть. Я ползу совсѣмъ одинъ подъ небомъ и солнцемъ къ морю, но ничего этого не замѣчаю потому, что такъ много всего этого въ себѣ, я ползу, какъ звѣрь, и только слышу, какъ больно и громко стучитъ сердце: стукъ, стукъ. Вотъ на пути протягивается ко мнѣ какая-то наивная зеленая вѣточка, тянется, вѣроятно, съ любовью и лаской, но я ее тихонько, осторожно отвожу, пригибаю къ землѣ и хочу неслышно сломать: пусть не смѣетъ въ другой разъ попадаться мнѣ на пути, разъ... разъ... Она громко стонетъ. Я страшно пугаюсь, ложусь вплотную къ землѣ, думаю: все пропало, птицы улетѣли. Потомъ осторожно гляжу вверхъ на небо... Птицъ нѣтъ, все спокойно, больныя сосны лечатся солнцемъ и свѣтомъ, ослѣпительно сверкаетъ зелень сѣверныхъ березокъ, все тихо, все молчитъ. Я ползу дальше къ намѣченному камню, przygotowляю ружье, взвожу курки и медленно выглядываю изъ-за камня. Моя голова у бѣлаго камня, поднимается какъ черная муравьиная кочка, стволы невидны въ мягкомъ ягелѣ. Иногда такъ передъ собой въ четырехъ-пяти шагахъ я вижу большихъ незнакомыхъ птицъ. Онѣ



спясть на одной ногѣ, другія купаются въ морѣ, третьи просто глядятъ на небо, однимъ глазомъ, повернувъ туда голову. Разъ я такъ подкрался къ задремавшему на камнѣ орлу, разъ къ семьѣ лебедей.

Мнѣ страшно шевельнуться, я не рѣшаюсь направить ружье въ спящую птицу. Я смотрю на нихъ, пока какое нибудь нечаянное горькое воспоминаніе ни обломить подъ локтемъ сучекъ и все птицы съ страшнымъ шумомъ, плескомъ, хлопаньемъ крыльевъ, разлетятся въ разныя стороны. Я не сожалею, не сержусь на себя за свой промахъ и радуюсь, что я здѣсь одинъ, что этого никто не видѣлъ изъ моихъ товарищей охотниковъ. Но иногда я убиваю. Пока птица еще не въ моихъ рукахъ, я чѣмъ-то наслаждаюсь еще, а когда беру въ руки, то все проходитъ. Бываютъ тяжелые случаи, когда птица не дострѣлена. Тогда я иногда начинаю думать о своей страсти къ охотѣ и природѣ, какъ о чемъ-то очень не хорошемъ, мнѣ тогда кажется, будто это чувство питается одновременнымъ стремленіемъ къ убійству и любви, а такъ какъ оно исходитъ изъ нѣдръ природы, то и природа для меня, какъ охотника, только тѣснѣйшее соприкосновеніе убійства и любви...



Я такъ размышляю, но мнѣ на дорогѣ попадаются новыя птицы, я опять увлекаюсь и забываю то, о чемъ думалъ минутою раньше.



**19-го Мая.  
Красныя горы.**

Въ одномъ изъ черныхъ домиковъ, у моря, подъ сосной съ сухой вершиной живетъ бабушка-завдоренка. Ея избашка называется почтовой станціей и обязанность старушки охранять чиновниковъ. Онежскій почтовый трактъ съ этого мѣста уходитъ на югъ, а мой путь на сѣверъ черезъ Унскую губу. Только отсюда начинаются самыя глухія мѣста. Я хочу въ ожиданіи лодки отдохнуть у бабушки, изжарить птицу и закусить.

„Бабушка, прошу я, дай мнѣ сковородку, птицу изжарить“.

Но она отшвыриваетъ мою птицу ногой и шипитъ:

„Мало васъ тутъ шатается. Не дамъ, прожгешь“.

Я вспоминаю предупрежденіе Алексѣя: „гдѣ хочешь живи, но не селись ты на почтовой станціи, съѣсть тебя злая старуха“ и раскаиваюсь, что пришелъ къ ней.

„Ахъ ты, баба яга, костяная твоя нога!“, не выдерживаю я...

За это она меня вовсе гонитъ подъ тѣмъ предлогомъ, что съ часу на часъ долженъ пріѣхать генераль и занять помѣщеніе. Генераль-же ѣдетъ въ Дураково море дѣлать.

Я не успѣлъ открыть ротъ отъ изумленія и досады, какъ старуха, посмотрѣвъ въ окно, вдругъ сказала:



„Да вишь вонъ и прѣѣхали за генераломъ. Вонъ идутъ съ моря. Алексѣй прислалъ. Ступай-ка, ступай, батюшка, куда шелъ“.

А потомъ еще разъ оглядѣла меня и воскликнула:

„Да ужъ не ты-ли и самъ генераль!“

„Нѣтъ, нѣтъ, бабушка“, спѣшу я отвѣтить, „я не генераль, а только лодка эта за мной послана“.

„Инъ и есть! Вотъ такъ и ну! Прости меня, Ваше Превосходительство, старуху. За политика тебя приняла, нынче все политику везутъ. Сила несмѣтная, все лѣто везутъ и везутъ. Марьюшка, оцни ты поскорѣй курочекъ, а я яишенку поставлю“.

Я умоляю бабушку мнѣ повѣрить. Но она не вѣритъ, я настоящій генераль, я уже вижу, какъ усердно начинаютъ щипать для меня куръ.

Тутъ вошли три помора и двѣ женки, экипажъ поморской почтовой лодки. Старый дѣдь-кормщикъ, его такъ и зовутъ всѣ „коршикъ“, остальные гребцы: обѣ женки съ грубыми обвѣтренными лицами, потомъ „мужичекъ съ ноготокъ,— борода съ локотокъ“ и молодой парень бѣлокурый, невинный, совсѣмъ Иванушка-Дурачекъ.

Я генераль, но всѣ здороваются со мной за руку, всѣ усаживаются на лавку и ѣдятъ вмѣстѣ со мной яичницу и птицу. А потомъ мужичекъ съ ноготокъ, не обращая на меня вниманія, сыплеть свои прибаутки женкѣ, похожей на бомбу, начиненную смѣхомъ. Мужичекъ болтаетъ, бомба лопається и приговариваетъ; „Ой! одолили Степанъ. Степаны сказки хлѣбны, скоромны. Вотъ бороду вокругъ кулака обмотаю, да и выдерну“.

Но какъ же это, вѣдь я же генераль. Даже обидно. Или уже это начинается та священная страна, гдѣ не ступала нога начальства, гдѣ люди живутъ, какъ птицы у берега моря.

„Прѣзжай, прѣзжай, говорятъ мнѣ всѣ, у насъ хорошій, пріемистый народъ. Живемъ мы у моря. Живемъ въ сторонѣ, лѣтомъ семушку ловимъ, зимой звѣря промышляемъ.“

Народъ нашъ тихій смиренный, ни въ немъ злости, ни въ немъ обиды. Народъ, что тюлень. Приѣзжай“.

Сидимъ, болтаемъ, близится вечеръ и бѣлая ночь у Бѣлаго моря. Мнѣ начинаетъ казаться, что я подползъ со-всѣмъ близко къ птицамъ у моря, высунулся изъ-за бѣлаго камня, какъ черная муравьиная кочка, и никто не знаетъ кругомъ, что это не кочка, а злой звѣрь.

Степанъ начинаетъ рассказывать длинную сказку про златопераго ерша.

\* \* \*

**20-го Мая.  
Море.**

Мы выѣдемъ только на разсвѣтъ по „по-лой водѣ“ (во время прилива). Каждые шесть часовъ на Бѣломъ морѣ вода прибываетъ и по-томъ шесть часовъ убываетъ. „По сухой водѣ“ (во время отлива) наша лодка гдѣ-то не проходитъ.

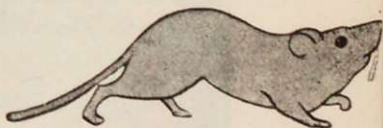
Съ каждымъ днемъ свѣтлѣютъ все ночи, потому что я ѣду на сѣверъ, и потому что время идетъ. Каждую такую ночь я встрѣчаю съ любопытствомъ и даже особая тревога и бессонница этихъ ночей меня не смущаютъ. Я будто пью теперь не-вѣдомый наркотическій напитокъ и изо дня въ день больше и больше. Что выйдетъ изъ этого? Спать привыкаю днемъ.

Мужичекъ съ ноготокъ журчитъ свою сказку. Мнѣ и сказка интересна и туда тянетъ за стѣны избушки. Море, хотя и съ той стороны избушки, но я угадываю, что тамъ дѣлается по золотой лужицѣ на дорогѣ.

„Солнце у васъ садится?“ перебиваю я сказку.

„Почитай что и не закатается, уткнется, какъ утка въ воду, и наверхъ“.

И опять журчитъ сказка и блеститъ лужица. Кто-то слышно спитъ. Пробѣгаетъ сѣрая мышь.



„Да вы спите, крещенные?“ останавливается рассказчикъ.

„Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, рассказывай, мани, старикъ!“.



„Ай еще потѣшить васъ сказочкой, есть сказочка чудесная, есть въ ней дивы-дивныя, чуды-чудныя“.

„Манї, манї, старикъ!“

Все по прежнему журчитъ сказочка.

Пробѣжала еще одна темная мышь. Захрапѣлъ старый дѣдъ, свѣсилъ голову Иванушка, уснула женка, уснула другая. Но старуха не спитъ. Это она остановила день, заворожила почъ и оттого этотъ день походить на ночь и эта ночь на день.

„Всѣ уснули, крещенные?“ опять окликаетъ мужичекъ съ поготовкѣ.

„Нѣтъ, я не сплю, рассказывай!“.

Пробѣхалъ черный всадникъ, и конь черный и сбруя черная...

Засыпаетъ и рассказчикъ, чуть бормочетъ. Еле слышно... Изъ одной бабушки-задворенки дѣлается четыре, изъ каждаго угла глядитъ черная злая колдунья.

Пробѣжали Зорька, Вечорка, Полуночка.

Пробѣхалъ бѣлый всадникъ, и конь бѣлый, и сбруя бѣлая...





Спихватился рассказчикъ:

„Вставайте, крещенные, вода прибываетъ, вставайте! Пошлетъ Господь повѣтеръ, въ лодкѣ уснете“.

Мы тихо идемъ по песку къ морю. Разсыпалась деревенька черными комочками на песокъ, провожаетъ насъ розовыми глазами. Вотъ, вотъ залагаетъ.

Спите, спите, добрые, мы свои.

„Тишинка!“

„Краса!“

Задумалась женка, забыла свое некрасивое лицо въ лодкѣ, улетѣла по цвѣтнымъ полоскамъ и, прекрасная, засіяла во все море и небо. Стукнулъ весломъ Иванушка, разбудилъ въ водѣ огнистыя зыбульки.

„Зыбульки, зыбаются“...

„А тамъ парусъ, судно бѣжить!“

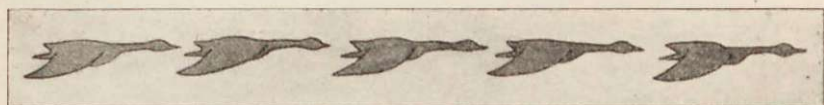
Всѣ смѣются, надо мной.

„Не парусъ, это чайка уснула на камнѣ“.

Мы подъѣзжаемъ къ ней. Она лѣниво потягивается крыльями, зѣваетъ и летитъ далеко, далеко въ море. Летитъ, будто знаетъ, зачѣмъ и куда. Но куда-же она летитъ? Есть тамъ другой камень? Нѣтъ... Тамъ дальше морская глубина. А можетъ быть тамъ въ неизвѣстной пурпуровой дали гдѣ







нибудь служить обѣдню? Это первая, мы ее разбудили, она полетѣла, но еще не звонили.

Прозвенѣла свѣтлая, острая стрѣла...

Будто наши южныя степи откликнулись сюда на сѣверъ.

„Что это?“

„Журавли проснулись“...

„А тамъ наверху?“

„Гагара вопить“...

„Тамъ?“

„Кривки на песочкѣ накликають“.

Протянулись веревочкой гуси, строгіе, старыя, въ черномъ, одинъ за другимъ, всѣ туда, гдѣ исчезла таинственной темной точкой бѣлая чайка.

Гуси совсѣмъ какъ первые старики по дорогѣ въ деревенскую церковь. Потомъ повалили несмѣтными стаями гаги, утки, чайки. Но странно, всѣ туда въ одномъ направленіи, гдѣ горитъ общій край моря и неба. Летятъ молча, только крылья шумятъ.

Къ обѣднѣ, къ обѣднѣ!

Но благовѣста нѣтъ... Странно... Почему это?

Когда это, гдѣ это служили еще такую прекрасную, таинственную и веселую обѣдню?



Холодно, но радостно было передъ старой, тяжелой дверью. Старушка сказала: цѣлый годъ не открывалась, но сейчасъ откроется, сама откроется.

„Боженька самъ ее откроетъ“.

Изъ мрака подходили молчаливые черные люди, и становились вокругъ насъ...

„Станьте на цыпочки, дѣточки, идуть!“

Надъ толпою блеснула золотой крестъ. Скригнула тяжелая желѣзная дверь и чудесной силой открылась...

Обдала волна свѣта и звуковъ.

Христось Воскресе! Воистину воскресе!

Крестится старый кормщикъ на восходящее солнце. „Солнышко! Слава тебѣ Господи! Походный вѣтерокъ дунуль. Богъ повѣтеръ шлетъ. Ставь, женка, парусъ живѣ!“.

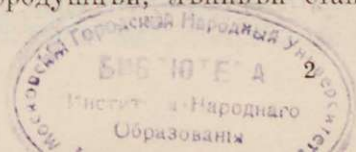
Зашумѣли, закричали со всѣхъ сторонъ птицы, рассыпались несмѣтные стаи возлѣ самой лодки, говорливыя болтливыя, совѣмъ деревенскія дѣвушки послѣ обѣдни.

Танцуютъ, прыгаютъ, ликуютъ золотыя, синія зеленыя зыбульки. Шутить забавный мужичекъ съ ноготокъ съ женщиной. И гдѣ то далеко у берега глухо умираетъ прибой, послѣдній стонъ несчастнаго въ Свѣтлое Христово Воскресенье.

\* \* \*

„Ивашенько, Ивашенько, выдь на бережечекъ“ зовуть съ берега горки, угорки, сосны и камни.

„Челнокъ, челнокъ плыви дальшенько“, улыбается разсѣянно Иванушка и ловить веслами емѣшныя огнистыя зыбульки. Женки затанули старинную русскую пѣсню про лебедь бѣлую, про травушку и муравушку. Вѣтеръ подхватываетъ пѣснь, треплетъ ее вмѣстѣ съ парусомъ, перепутываетъ ее съ огненными зыбульками. Лодка колышется на волнахъ, какъ люлька, все добродушнѣй, дѣнивѣй становится мысль...



„Чайку-бы...“

„Можно, можно, женки, грѣйте самоваръ!“

„Разводятъ самоваръ, готовится чаешитіе на лодкѣ на морѣ. Чарка обошла круговую, остановилась на женкахъ. Немножко поломались и вышли.“

Много ли нужно для счастья! Сейчасъ, въ эти минуты я ничего для себя не желаю.

А ты Иванушка? Есть у тебя Марья Моревна?

Глупый царевичъ не понимаетъ.

„Ну любовь, любишь ты?“

Все непонимаетъ. Я вспоминаю, что на языкѣ простого народа любовь нехорошее слово, оно выражаетъ грубо-чувственную сторону, а самая тайна остается тайной безъ словъ.

Отъ этой тайны пылаютъ щеки деревенской красавицы, такими тихими и интимными становятся грубые, неуклюжіе парни. Но словомъ не выражается. Гдѣ нибудь въ пѣснѣ еще прозвучитъ, но такъ въ обычной жизни слово любовь нехорошо и обидно.

„Жениться собираешься? Есть невѣста?“

„Есть, да у таты все неготово. Изба не покрыта. Въ подмогѣ не сходятся.“

„Женки насъ слышать, сожалѣютъ Иванушку. Времена настали худыя, семги все меньше, а подмоги все больше. Въ прежніе годы много легче было: за Катерину десятку дали, а Павлу и вовсе за три рубля купили и пропили.“

„Дорогая Марья Царевна?“

„Голой рукой не возьмешь“.

„Можно убѣгомъ и безъ подмога“, говоритъ помолчавъ Иванушка.

„Вотъ, вотъ, подхватываю я, надо украсть Марью Царевну“.

„Поди-ка украдь, какъ ночи свѣтлыя. Попробовать одинъ у насъ красть, да поймали, да всѣ изодрались и всю ру-



башку вокругъ невѣсты изорвали. Потемнѣеть осенью, можетъ быть и украду“.

Такъ я и зналъ, такъ и думалъ про эти свѣтлыя сѣверныя ночи. Онѣ безгрѣшныя, безтѣлесныя, онѣ приподняты надъ землей, онѣ грезы и о нездѣшнемъ мѣрѣ. Этой избушки въ лѣсу вовсе и не было, никто не рассказывалъ сказки, а просто такъ померещилось и запомнился мелькающей свѣтъ отъ улетѣвшей вчера изъ рукъ бѣлой странички.

Усталость! Страшная усталость! Какъ бы хорошо теперь заснуть нашей темною, южною, грѣшною ночью.

Бай, бай, качаетъ море.

Склоняется темная красавица со звѣздами и мѣсяцемъ въ тяжелой кофѣ.

Усни, глазокъ, усни, другой!

Я вздрагиваю. Совсѣмъ близко отъ насъ показывается изъ воды большая серебряная спина, куда, куда больше нашей лодки. Чудовище проводить свѣтлую дугу надъ водой и опять исчезаетъ.

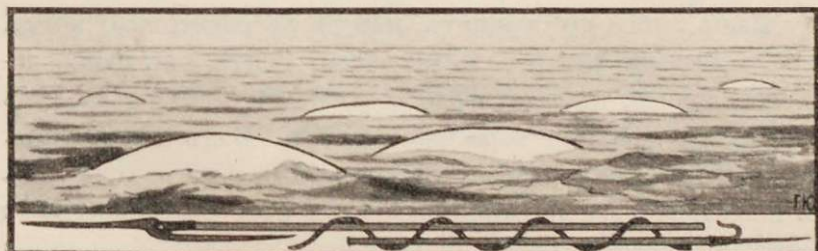
„Что это? Бѣлуха? неувѣренно спрашиваю я.

„ Она, она. Ухъ! И тамъ!“

„ И тамъ! и тамъ! Что ледь! Воду сушить!“

Я знаю, что это огромный сѣверный звѣрь изъ породы дельфиновъ, что онъ не опасенъ. Но если вынырнетъ совсѣмъ возлѣ лодки, зацѣпить случайно хвостомъ?

„Ничего, ничего“ успокоиваютъ меня спутники, такъ не бываетъ“.





Они всѣ, перебивая другъ друга, разсказываютъ мнѣ, какъ они ловятъ этихъ звѣрей. Когда вотъ такъ, какъ теперь, засверкаютъ на солнцѣ серебряныя спины, всѣ въ деревнѣ бросаются на берегъ. Каждый приноситъ по двѣ крѣпкихъ сѣти и изъ всѣхъ этихъ частей шиваютъ длинную, больше трехъ верстъ, сѣть. Въ море выѣзжаетъ цѣлый флотъ лодокъ: женщины, мужчины, старые, молодые, всѣ тутъ. Когда бѣлуха запутается, ее принимаютъ на кутило (гарцунь).

„Веселое дѣло! Тутъ и женокъ купаютъ, тутъ и звѣря бьютъ, смѣху, граю! И женки тоже не промахъ, тоже колятъ бѣлухъ, умѣютъ расправиться“.

Какъ же это красиво... Большіе хвостатые звѣри, женщины съ пиками... Сказочная, фантастическая битва на морѣ...

Вѣтеръ быстро гонитъ нашу лодку по морю вдоль берега, Иванушка пересталъ помогать веслами, задремалъ у борта. Женки лежатъ давно уже одна возлѣ другой на днѣ лодки возлѣ потухшаго самовара, мужичекъ съ ноготокъ перебрался къ носу и такъ и влипъ тамъ въ черную смолу.

Не спитъ только кормщикъ, молчаливый сѣверный старикъ. Возлѣ кормы на лодкѣ устроены небольшой навѣсъ отъ дождя, „заборница“, въ родѣ кузова на нашей дорожной таратайкѣ. Туда можно забраться, лечь на сѣно и дремать. Я устраиваюсь тамъ, дремлю... Иногда вижу бородатаго мужика и блески отъ серебряныхъ звѣрей, а иногда ничего, какіе-то красные огоньки и искры въ тѣмѣ.

Наша зыбка не скрипитъ, вѣтеръ не свиститъ о мачту.

Не все ли равно, гдѣ не жить? Вездѣ есть люди, немножко проще, немножко сложнѣе. Но тутъ свободнѣе, тутъ море и эти красивые серебряные звѣри. Вонъ тамъ одинъ, вонъ другой, вонъ лодка, другая, цѣлый флотъ. Иванушка съ Маріей Моревной закидываютъ въ море сѣть. Запутался большой, сѣверный серебряный звѣрь.

Ударила кутиломъ Марья Моревна, покрылось кровью Бѣлое море.

„Марья Моревна, морская царевна, — молить онъ чело-вѣческимъ голосомъ — за что ты меня губишь? Не коли меня, я тебѣ пригожусь“.

Заплакала Марья Моревна, канула горячая слеза въ холодное Бѣлое море...

„Спасай меня, красная дѣвица, сними съ себя дорогой платочекъ, намочи въ синемъ морѣ!“

Сняла царевна шелковый платочекъ, помочила въ синемъ морѣ.

Взявъ платочекъ, прижалъ къ своей ранѣ и спустился на холодное дно. И лежалъ тамъ тысячи лѣтъ.

Плачетъ купава у берега.

„Слышишь, старый?“ шепнули двѣ рыбки.

„Слышу, дѣточки, слышу.“

Поднимается старый, сверкаетъ серебряной спиной на солнцѣ и несетъ свою Марью Моревну по Бѣлому морю на святые острова.

Гдѣ это было, когда это было, что это было?

\* \*  
\* \*  
\* \*

Сказки и бѣлыя ночи и вся эта бродячая жизнь запутали даже и холодный, разсудочный сѣверный день.

Я проснулся. Солнце еще надъ моремъ, еще не сѣло. И все будто грезится сказка.

Высокій берегъ съ больными сѣверными соснами. На песокъ къ берегу съ угора сбѣжала заморская деревушка. Пovyше деревянная церковь и передъ избами много высокихъ восьмиконечныхъ крестовъ. На одномъ крестѣ я замѣчаю большую бѣлую птицу. Пovyше этого дома, на самой вершинѣ угора, дѣвушки водятъ хороводъ, поютъ пѣсни,



сверкають золотистыми, блестящими одеждами. Совсѣмъ какъ на картинкахъ, гдѣ изображаютъ яркими красками древнюю Русь, какою никто никогда не видѣлъ и не вѣрить, что она такая. Какъ въ сказкахъ, которыя я записываю здѣсь со словъ народа.

„Праздникъ, — говоритъ Иванушка, дѣвки на угоръ вышли, пѣсни поютъ“.

„Праздникъ, праздникъ“ — радуются женки, что вѣтеръ донесъ ихъ во время домой.

Наверху мелькають дѣвушки своими бѣлыми плечами, золотыми шубейками и высокими повязками. А внизу изъ моря на желтый берегъ вы-

ползли черные бородатые люди, неподвижные, совсѣмъ какъ эти бѣломорскіе тюлени, когда они выходятъ изъ воды погрѣться на берегъ. Я догадываюсь, они сшиваютъ сѣти для ловли дельфиновъ.

Мы прѣхали не во время, въ сухую воду (отливъ).

Между нами и песчанымъ берегомъ широкая, черная, покрытая камнями, лужами и водорослями темная полоса, тутъ лежать, наклонившись на бокъ, лодки, обнажились рыбныя ловушки. Это мѣсто отлива, по архангельски „куйпога“.

Мы идемъ по этой куйпогѣ, утопая по колѣно въ воду и грязь. Множество мальчишекъ, приподнявъ рубашенки, что-то нащупываютъ въ водѣ ногами. Толчатся. Поютъ пѣсню.





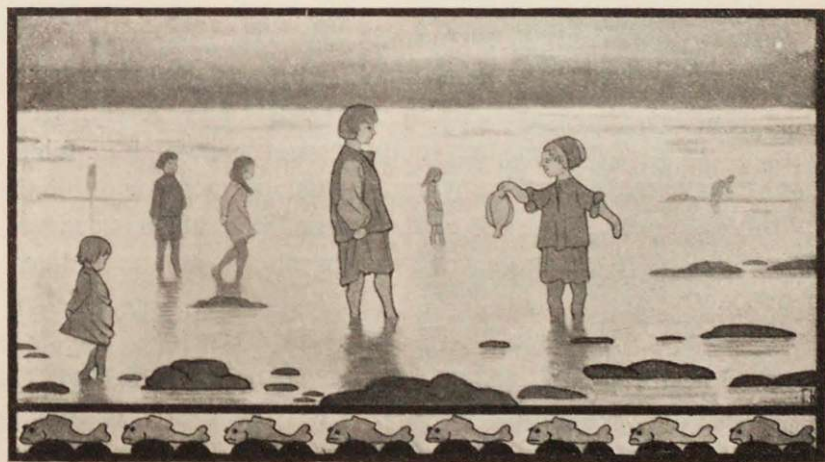
„Что вы тутъ дѣлаете, мальчики?“ — спрашиваю я.

„Топчемъ камбалку“.

Достають при мнѣ изъ воды нѣсколько рыбъ, почти круглыхъ, съ глазами на боку... Поютъ:

„Муля, муля, приходи, цѣло стадо проводи,  
Либо двухъ, либо трехъ, либо цѣлыхъ четырехъ“.

Муля, узнать я, какая то другая, совѣмъ маленькая





рыбка, а эту пѣсенку дѣти выслушали тутъ на отливѣ. И сами эти ребяташки, быть можетъ, скатились сюда на отливъ съ угора, а быть можетъ, море ихъ тутъ забыло вмѣстѣ съ рыбами.

Старый кормщикъ улыбается моему вниманію къ этимъ свободнымъ дѣтямъ, и говоритъ:

„Кто отъ чего рѣдится, тотъ тѣмъ и занимается“.

Кое какъ мы достигаемъ берега, теперь уже ясно, что это не морскіе звѣри, а люди сидятъ на пескѣ, поджавъ ноги, почтенные бородатые люди путають и распутываютъ какія-то веревочки. Наши присоединяются къ нимъ и только женки уходятъ въ деревню, вѣрно, собираются на угоръ. Мужичекъ съ ноготокъ достаетъ себѣ клубокъ пряжи, привязываетъ конецъ далеко за угломъ въ проулкѣ и начинаетъ крутить, сучить и медленно отступать.

Покрутить, покрутить и ступить на шагъ. А на встрѣчу ему съ другого конца отступаетъ точно такой-же мужичекъ съ ноготокъ. Когда-то встрѣтятся спинами эти смѣшные старики?

Иванушка зоветъ меня смотрѣть Марью Моревну. Мы поднимаемся на угоръ.

„Здравствуйте красавицы!“

„Добро пожаловать, молодцы!“

Дѣвушки въ парчевыхъ шубейкахъ, въ жемчужныхъ высокихъ повязкахъ плаваютъ взадъ и впередъ. Намъ съ Иванушкой за бугромъ не видно деревни, но одно только море, и кажется, будто дѣвушки вышли изъ моря.

Одна впереди, лицо бѣлое, брови соболиныя, коса тяжелая. Совсѣмъ наша южная красавица, поченька темная, со звѣздами и мѣсяцемъ.

Эта Марья Моревна?

„Эга“... шепчетъ Иванушка. Отецъ вонъ тамъ живетъ вонъ большой домъ съ крестомъ.

„Кошей безсмертный?“ — спрашиваю я.

„Кощей и есть,“ — смеется Иванушка. Кощей — богачъ. У него ты и переночуешь и поживешь, коли поглянется“.

Солнце робко остановилось у моря, боится коснуться холодной воды. Длинная тѣнь падаетъ отъ креста Кощея на угорь.

Мы идемъ туда.

„Здравствуйте, милости просимъ!“

Сухой, костлявый старикъ съ красными глазами и жидкой бородой ведетъ меня наверхъ въ „чистую комнату“.

„Отдохни, отдохни. Ничего. Что-жъ. Дорога дальняя. Уморился“.

Я ложусь. Меня качаетъ, какъ въ лодкѣ. Качнусь и вспомню: это не лодка, это домъ помора. На минутку перестаетъ качать и опять. Я то засыпаю, то пробуждаюсь и открываю глаза.

Впереди, за окномъ, большой восьмиконечный крестъ благословляетъ горящее полуночной зарей море. На берегу люди, по-



хожіе на морскихъ звѣрей, все еще шиваютъ сѣти и тѣ два смѣшныя старика все крутятъ веревочки, все еще не встрѣтились, все еще не выходилъ чертенокъ изъ моря и не загадывалъ имъ загадокъ. Долетаютъ пѣсни съ угора.

Баю, бай, качаетъ море. Грезится дѣвица съ темной косой. Брызнули звѣзды. Выглянулъ мѣсяць. Запгало пѣвучее дерево. Запѣли птицы разными голосами. Грѣшная красавица шепчетъ: спи — усни, спи, глазокъ, усни, другой.

Ноченька темная, радость моя...

Это грезы... Свѣтлая сѣверная ночь. Все тихо. Спать. Какъ они могутъ спать такой свѣтлой, безгрѣшной ночью? Покоятся. Сверкнула золотая шубейка подъ чернымъ крестомъ. Стукнуло внизу, стихло. Уснула.

Бай, бай, сестрица, бай, бай, родима.

Шепчетъ темная красавица своей свѣтлой непонятной сестрицѣ:

Спи, милая, спи, родимая. Что тебѣ на сердце пало? Такъ и не скажешь? Ну, спи. Спи, усни. Усни, глазокъ, усни, другой.

Закрыла глазокъ, закрыла другой.

А про третій забыла...

И по прежнему смотритъ свѣтлая сестрица, молчить своей нездѣшней смертельной тоской.

По всему небесному своду, по землѣ, по водѣ обвела колдунья мертвою рукою заколдованный кругъ.

И земля-то спитъ и вода-то спитъ!

Качаетъ красавица стараго медвѣдя.

Бай-бай. Скрипъ, скрипъ.

Вдругъ утка крякнула, берега звякнули. Полетѣли гуси-лебеди.

Гуси-лебеди, гуси-лебеди киньте два перышка, возьмите меня съ собой!

Кинули гуси-лебеди два перышка. Упали два бѣлые на черный крестъ.



Подкрался Иванъ Царевичъ, прислонился къ кресту шепчетъ:

„Выходи, Марья Моревна, спустили намъ гусь-лебеди два пера“.

Летятъ царевичъ съ царевной надъ моремъ.

Дѣдушка водяной высунулъ голову. Какой онъ... Видно все его желтое, старое тѣло. Зачѣмъ такъ... Спрячься...

„Дѣдушка, дѣдушка, гдѣ твоя золотая головушка, серебряная бородушка? Скажи, видно насъ?“

„Видно, дѣточки, видно, летите скорѣе“.

„И такъ видно?“

„Всеяко видно. Летите, летите“.

Какъ парь поднимаются съ Бѣлаго моря души покойниковъ. Рѣютъ неслышно, какъ прозрачныя стеклянныя птицы. Умываются на подоконникахъ. Вытираются чистыми полотенцами. Садятся на князьки, на крыши, на трубы, на сѣти, на лодки, на большія изорванныя сосны, на шкуры звѣрей, на высокіе черные восьмиконечные кресты.

Бай-бай. Скрипъ-скрипъ.





**21-го Мая.**  
**У Марьи Моревны.**

Радостно стучить и бьется на новомъ мѣстѣ волшебный колобокъ. Такъ свѣжа, молода эта пѣсенка: я отъ дѣдушки ушелъ, я отъ бабушки ушелъ. Я въ „чистой“ комнатѣ зажиточнаго помора.

Посреди ея съ потолка свѣшивается вырѣзанный изъ дерева, окрашенный въ сизую краску голубокъ. Изъ угла смотреть на меня Преподобные Зосима и Савватій, передъ ними догораетъ лампада. А этотъ крестъ передъ окнами къ морю вѣроятно поставилъ еще благочестивый прадѣдушка помора. Штормъ разбилъ его шкуну и онъ спасся на обломкѣ мачты.

Въ память чуда и поставленъ здѣсь крестъ высотой съ этотъ двухэтажный домъ.

Въ верхнемъ этажѣ чистая комната для гостей, а внизу живутъ хозяева. Я слышу оттуда мѣрный стукъ. Будто отъ деревенскаго прядильнаго станка.

И хорошо-же вотъ такъ удрать отъ всѣхъ въ какое-то новое мѣсто, полное таинственныхъ сновидѣній! Хорошо такъ касаться человѣческой жизни съ призрачной, прекрасной стороны и знать, что это серьезное дѣло. Хорошо знать, что это не скоро кончится. Какъ только колобокъ перестанетъ пѣть свою пѣсенку, я пойду дальше. А тамъ еще таинственнѣе. Ночи будутъ свѣтлѣть съ каждымъ днемъ и гдѣ-то далеко отсюда, за полярнымъ кругомъ, въ Лапландіи, настанутъ настоящія солнечныя ночи.

Я умываюсь. Чувствую себя безконечно здоровымъ.

Мое занятіе—этнографія, изученіе жизни людей.

Почему-бы не понимать его, какъ изученіе души чело-вѣка вообще. Всѣ эти сказки и быліны говорятъ о какой-то невѣдомой общечеловѣческой душѣ. Въ созданіи ихъ участвовалъ не одинъ только русскій народъ. Нѣтъ, я имѣю передъ собою не національную душу, а всемірную, стихійную, такую, какую она вышла изъ рукъ Творца.

Мечты съ самаго утра. Я могу летать здѣсь, куда хочу, я совершенно одинъ. Это одиночество меня нисколько не стѣсняетъ, даже освобождаетъ. Если захочу общенія, то люди всегда подъ рукой. Развѣ тутъ въ деревнѣ не люди? Чѣмъ проще душа, тѣмъ легче увидѣть въ ней начало всего. Потомъ, когда я поѣду въ Лапландію, вѣроятно людей не будетъ, останутся птицы и звѣри. Какъ тогда? Ничего. Я выберу какого нибудь умнаго звѣря. Говорятъ, тюлени очень кроткіе и умные. А потомъ, когда останутся только черныя скалы и постоянный блескъ не сходящаго съ неба солнца? Что тогда? Камни и свѣтъ... Нѣтъ, этого я не хочу... Мнѣ сейчасъ страшно... Мнѣ необходимо нуженъ хоть какой-нибудь кончикъ природы, похожій на человѣка. Какъ-же быть тогда? Ахъ, да, очень просто, я загляну туда въ бездну и удеру: ла-та-та... И опять запою:

Я отъ дѣдушки ушелъ, я отъ бабушки ушелъ.

Ничего... Мы бѣжимъ по лѣстницѣ съ моимъ волшебникомъ колобогомъ внизъ.

Стукъ, стукъ! Есть ли кто тутъ живъ человѣкъ?

Марья Моревна сидитъ за столикомъ, перебираетъ ниточки, пристукиваетъ. Одна.

„Здравствуй, Марья Моревна,—какъ тебя зовутъ?“

„Машей“.

„Такъ и зовутъ?“

Царевна смѣется.

Ахъ, эти веселые бѣлые зубы!

„Чайку хочешь?“

„Налей“.

Возлѣ меня за лавкой въ стѣнѣ какое-то отверстіе, можно руку просунуть, закрывается плотно деревянною втулкою. Такъ въ старину по всей Руси подавали милостыню. Приходили странники, калики перехожіе и свой близкій человѣкъ. Лѣвая рука не знала, что дѣлаетъ правая. А можетъ быть и не такъ хорошо было, какъ кажется?

Но вотъ это отверстіе. Старина...

Какъ это называется, — спрашиваю я о какой-то части станка.

„Это ставило, это набилки, бобушки, бердо, разлучница, приставница...“

Я спрашиваю о всемъ въ избѣ, мнѣ все нужно знать и какъ же иначе начать разговоръ съ прекрасной царевной. Мы все пересчитываемъ, все записываемъ, знакомимся, сближаемся и смолкаемъ.

Пылаетъ знаменитая русская печь, огромная, несуразная. Но безъ нея невозможна русская сказка. Вотъ теплая лужанка, откуда свалился старикъ и попалъ въ бочку съ смолой. Вотъ огромное горло, куда бросили злую колдунью, вотъ подпечье, откуда выбѣжала къ красной дѣвицѣ мышка.

„Спасибо тебѣ, Маша, что чаемъ попоила, я тебѣ за это Иванушку посватаю.“

Горять щеки царевны ярче пламени въ печи, сердитая, бросаетъ гордо.

„Изба низка! Есть и получше, да не иду“.

Вретъ все, — думаю я, — а сама рада“.

Мы еще на ступеньку ближе съ царевной. Ей будто хочется мнѣ что-то сказать, но не можетъ. Долго копаются у стѣнки, наконецъ, подходятъ, садится рядомъ. Она осматриваетъ упорно мои сапоги, потомъ куртку, останавливается глазами на моей головѣ и говоритъ ласково:

„Какой ты черный“.

„Не подѣзжай, не подѣзжай“ — отвѣчаю я, сосватаю тебѣ и такъ Иванушку“.

Она меня не понимаетъ. Она просто по дружбѣ подѣла, а я уже вижу корыстную цѣль. Она меня не понимаетъ и не слушаетъ. Да и зачѣмъ это? Развѣ всѣ эти вещи: карандашъ въ оправѣ, записная книжка, часы, фотографическій аппаратъ не говорятъ больше всякихъ словъ объ интересномъ гостѣ. Я снимаю съ нея фотографію и мы становимся близкими друзьями.



„Поѣдемъ семгу ловить“ — предлагаетъ она мнѣ совѣмъ уже по просту.

„Поѣдемъ“.

На берегу мы возимся съ лодкой, откуда-то является на помощь Иванушка и тоже ѣдетъ съ нами. Я становлюсь въ романѣ третьимъ лицомъ. Иванушка хочетъ что-то сказать царевнѣ, но она тактична: она искоса взглядываетъ на меня и отвѣчаетъ ему презрительно:

„Губъ не мочи, говорить не хочу“.

Тогда начинается разговоръ о семгѣ, какъ въ гостиной, о предметахъ искусства.

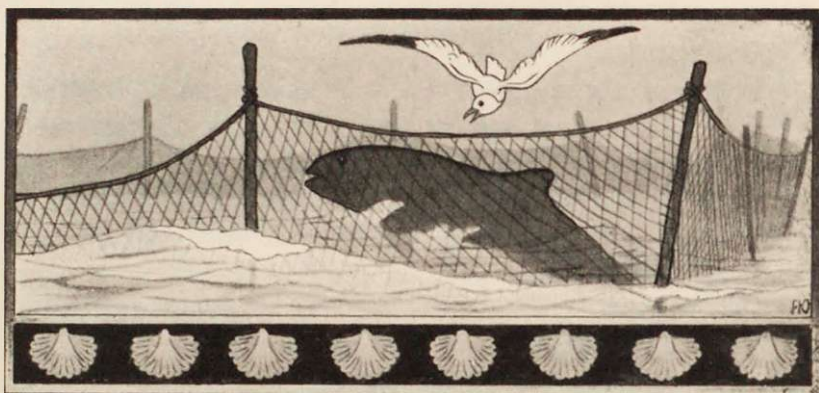
Семга, видишь ли, — говоритъ мнѣ Иванушка, идетъ съ лѣта, человѣкъ ходитъ по свѣту, а семга по мѣсяцу. Вотъ ей на пути и ставимъ тайникъ, ловушку“.

Мнѣ тутъ же и показываютъ этотъ тайникъ, нѣсколько сѣтей, спитыхъ такъ, чтобы семга могла войти въ нихъ, а уйти не могла. Мы ставимъ лодку возлѣ ловушки и глядимъ въ воду, ждемъ рыбу. Хорошо, что тутъ романъ, а вотъ если-бы такъ сидѣть одному и покачиваться въ лодкѣ...

„Другой разъ и недѣлю просидишь“, — угадываетъ меня Иванушка, и двѣ и мѣсяць... ничего. А придетъ часъ Божій, за все отвѣтитъ“.

Подальше отъ насъ покачивается еще такая-же лодочка; дальше еще, еще и еще. И такъ сидятъ недѣли, мѣсяцы съ весны до зимы, стерегутъ какъ-бы не ушла изъ тайника семга. Нѣтъ, я бы не могъ. Но вотъ если слушать прибой или передавать на полотно эти сѣверныя краски: не тоны, полутоны, а можетъ быть, десятыя тоновъ... Какъ груба, какъ подчеркнута наша южная природа, сравнительно съ этой сѣверной интимной красотой. И какъ мало людей ее понимаютъ и цѣнятъ.

Я замечтался и навѣрно пропустилъ-бы семгу, если-бы былъ рыбакомъ. Марья Моревна довольно сильно толкнула меня въ бокъ кулакомъ.



„Семга, семга“ — тихо шепчетъ она.

„Перо сушить“ — отвѣчаетъ Иванушка.

Это значить, что рыба давно уже попалась и поднялась теперь наверхъ, показываетъ перо (плавникъ) изъ воды.

Мы поднимаемъ съѣсть и, вмѣсто дорогой семги, вытаскиваемъ морскую свинку, совсѣмъ ненужную.

Женихъ съ невѣстой заливаются смѣхомъ.

Вышелъ веселый анекдотъ:

„Семга, семга, а инь свинка!“

Не знаю, сколько бы продолжался нашъ пастораль на морѣ, какъ вдругъ произошло крупнѣйшее событіе.

Прежде всего я замѣтилъ, что къ кучкѣ рыбаковъ на берегу подошла другая кучка, потомъ третья, потомъ собралась вся деревня, даже женки и ребятишки, подъ конецъ и оба смѣшные старика бросили клубки на землю и стали у края толпы. Дальше поднялся невѣроятный шумъ, крикъ брань.

Я видѣлъ съ воды, какъ изъ толпы тамъ и тутъ выекакивала жидкая борода Кощея Безсмертнаго, будто онъ былъ дирижеромъ этого возмутительнаго концерта на берегу Бѣлаго моря...

Мало по малу все улеглось, отъ толпы отдѣлились десять сѣдыхъ мудрыхъ старцевъ и направились къ дому Кощея. Остальные опять усѣлись по своимъ мѣстамъ на песокъ. Самъ Кощей подошелъ къ берегу и закричалъ намъ:

„Греби - и сюда, Ма - аша“

Я беру на руки морскую свинку, Иванушка садится, а Марья Моревна гребетъ.

„Старики съ тобой поговорить хотятъ, господинъ, — встрѣтилъ насъ Кощей.

„Что-то недоброе, что-то недоброе!“ шепнулъ мнѣ волшебный колобокъ...

Мы входимъ въ избу. Мудрецы встаютъ съ лавокъ, торжественно привѣтствуютъ.

„Что такое? Что вы?“ — спрашиваю я глазами.

Но они смѣются моей свинкѣ, приговариваютъ:

„Семга, семга, а инъ свинка!“

Вспоминаютъ, какъ одному попалъ въ тайникъ морской заяцъ, другому нерпа, третій вытащилъ то, что ни на что не похоже.

Такъ долго продолжается оживленный, но искусственный разговоръ. Наконецъ всѣ смолкаютъ и только одинъ, ближайшій ко мнѣ, какъ отставшій гусь, повторяетъ: „семга, семга, а инъ свинка“.

„Но въ чемъ же дѣло? Что вамъ нужно?“ — не выдерживаю я этого тягостнаго молчанія.

Мнѣ отвѣчаетъ самый старый, самый мудрый:

„Тутъ проходилъ человѣкъ изъ Дуракова...“

„Алексѣй“ — говорю я, и мгновенно вспоминаю, какъ онъ сдѣлалъ меня у бабушки генераломъ... Вѣрно и тутъ что нибудь въ этомъ родѣ. Прощай мои сказки.

„Алексѣй?“ — спрашиваю я.

„Алексѣй, Алексѣй, — отвѣчаютъ разомъ всѣ десять. А самый мудрый, сѣдой продолжаетъ:



„Алексѣй сказывалъ: ѣдетъ отъ Государя Императора членъ Государственной Думы море дѣлить въ Дураково. Кланяемся тебѣ, ваше превосходительство, прими отъ насъ семушку...

Старикъ подноситъ мнѣ огромную, чудовую семгу. Я отказываюсь принять, и, потерявшись, извиняюсь тѣмъ, что у меня на рукахъ уже есть свинка.

„Брось ты эту дрянь, на что она тебѣ. Вотъ какую рыбинку тебѣ изловили, полагается первая Богу, ну, какъ ты у насъ рѣдкій гость, то Господь и потерпитъ, не обойдемъ и Его“.

Другой старикъ вынимаетъ изъ пазухи бумагу и подаетъ. Я читаю:

*Члену Государственной Думы по фотографическому отдѣленію.*

### Прошеніе.

*Населеніе умножилось, а море по старому, сдѣлай милость, житья нѣтъ, раздѣли намъ море...*

Что такое, глазамъ не вѣрю... И вдругъ вспоминаю, что гдѣ-то на станціи мы брали обывательскихъ лошадей и я росписывался: „отъ географическаго общества“. Потомъ фотографическій аппаратъ... И вотъ я сталъ членомъ думы по фотографическому отдѣлу. Я припоминаю, что Алексѣй мнѣ говорилъ о какихъ-то двухъ враждебныхъ деревняхъ, гдѣ не хватаетъ хоть какого нибудь начальства, чтобы кончить вѣковую вражду.

И у меня мелькаетъ мысль: а почему-бы и не раздѣлить мнѣ этимъ бѣднымъ людямъ море. Разъ тутъ не бываетъ начальство, то не есть ли это перстъ указующій руки Всевышняго, предначертавшій мнѣ и здѣсь въ пустынѣ выполнить свой гражданскій долгъ. Здѣсь мои поэтическія стремленія, всегда противоположныя жизни, сливаются съ

грубѣйшимъ бытіемъ, здѣсь въ этой Бѣломорской деревушкѣ я и поэтъ, и ученый, и гражданинъ.

„Хорошо, говорю я старцамъ, — хорошо, друзья, я раздѣлю вамъ море“.

Мнѣ нуженъ точный подсчетъ экономическаго положенія деревни. Я беру записную книжку, карандашъ и начинаю съ земледѣлія, какъ основы экономической жизни народа.

„Что вы сѣете здѣсь, старички?“

„Сѣемъ батюшка все, да не родится ничего“.

Я такъ и записываю. Потомъ спрашиваю о потребностяхъ и узнаю, что на среднее семейство въ шесть душъ нужно 12 кулей муки. Узнаю, что кромѣ необходимыхъ потребностей существуютъ роскоши, что ѣдятъ галачи, по праздникамъ щелкаютъ орѣхи и очень любятъ кисель изъ бѣлой муки.

„Откуда-же вы берете на это деньги?“

„А вотъ, поди знай, откуда взять!“ — отвѣтили всѣ десять.

Но я все таки узнаю: деньги получаютъ отъ продажи звѣрей, наваги, сельди и семги.

Узнаю, что всѣ эти промыслы ничтожны и случайны, кромѣ семги.

„Стало быть, кормить васъ семга?“

„Она матушка. Сдѣлай милость, раздѣли!“

„Хорошо, — говорю я, теперь къ раздѣлу. Сколько у васъ душъ?“

„283 души!“

„И съ женками?“

„Нѣтъ. Женскія души не считаются, тѣхъ хоть скольконибудь“.

Потомъ я узнаю, что берегъ моря принадлежит деревнѣ въ одну сторону на двадцать верстъ, въ другую на восемь, что на каждой верстѣ находится тоня, я записываю названія тоней: Баклонъ, Волчекъ, Солдаты... Узнаю свое-

образные способы раздѣла этихъ тонн на жребіи. Всего тоннъ оказывается 44 и еще 12 Архіерейскихъ, одна Сійскаго монастыря, одна Никольскаго, одна Холмогорскаго.

Точно такимъ же образомъ узнаю положеніе сосѣдней деревни Дураково. Но положительно не могу понять претензій старцевъ на тони этой еще болѣе бѣдной деревни.

„Почтенные, мудрые старцы, наконецъ, говорю я. Безъ сосѣдей я море дѣлать вамъ не буду, поплите немедленно Иванушку за представителями“.

Старцы молчатъ, гладятъ бороды.

„Да зачѣмъ намъ дураковцы?“

„Какъ зачѣмъ, море дѣлать!“



„Такъ не съ ними дѣлать, кричатъ все вмѣстѣ. Дураковцы насъ не обижаютъ. Это ихъ съ Золотицей дѣлать, только не насъ. Насъ съ монахами дѣлать. А дураковцы ничего... тѣхъ съ Золотицей. Монахи самыя лучшія тони отобрали.“

„Какъ же они смѣли? — гнѣваюсь. По какому праву?“

„Права у нихъ, батюшка, давнія, еще со временъ Марфы Посадницы“.

„И вы ихъ уважаете... эти права?“

Старцы чешутся, поглаживаютъ бороды, очевидно уважаютъ.

„Разъ у монаховъ такіе стародавнія права, какъ-же могу я васъ съ ними дѣлать?“



„А мы, Ваше Превосходительство, думали, что какъ ты отъ Государственной Думы, такъ отчего-бы тебѣ этихъ монаховъ не согнать“.

До этихъ словъ я все еще надѣюсь, все еще думаю выискать въ своей записной книжкѣ яркую страницу съ цифрами и раздѣлить море и соединить поэзію, науку и жизнь. Но вотъ это роковое слово „согнать“. Просто и ясно, я здѣсь генераль и членъ государственной думы, почему бы не согнать этихъ монаховъ, зачѣмъ имъ семга, я врагъ этихъ длинныхъ рыбъ на архіерейскомъ столѣ. Согнать! Но я не могу. Мнѣ кажется, будто я вошелъ, какъ морская свинка, въ тайникъ и, куда не сунусь, встрѣчаю крѣпкія веревки. Я еще механически перебираю въ головѣ число душъ, улововъ, но все больше и больше запутываюсь.

Семга, семга, думаютъ старцы, а инъ свинка!

А въ углу то сверкаютъ бѣлые зубы Марьи Моревны и, Боже мой, какъ заливаеся смѣхомъ мой волшебный колобокъ...

---

## Глава II.

### По обѣщанію.

Будемъ какъ солнце! Забудемъ о томъ, кто насъ ведетъ по пути золотому.

*(Бальмонтъ).*

**9-го Іюня.  
Полночь.**

Еще немного на сѣверъ, еще нѣсколькими днями ближе къ времени лѣтняго солнцестоянія. Теперь я уже пріучилъ себя спать днемъ и такъ крѣпко, какъ никогда не спалъ дома. Но какъ только солнце приближается къ водѣ я просыпаюсь и брожу возлѣ моря, будто ожидая чего-то особеннаго. Брожу всю ночь и утро, пока не станетъ обыкновенно, такъ-же какъ и у насъ, такъ-же какъ и у всякаго моря днемъ при хорошей, или при дурной погодѣ.

Сегодня мой хозяинъ, перевозчикъ богомольцевъ на Соловецкіе острова, просилъ меня не уходить. Вчера ночью пришелъ послѣдній, десятый, странникъ и на разсвѣтѣ старикъ повезетъ насъ, десять грѣшниковъ, на Святые Острова.

Отъ нечего дѣлать опишу вчерашнюю ночь. Не знаю только, что изъ этого выйдетъ: я не привыкъ писать ночью при свѣтѣ солнца.

Вчера меня разбудилъ ночной солнечный лучъ. Пробудился и вдругъ представилъ себѣ свое путешествіе, какъ

восхождение на высокую солнечную гору. Иду туда из темнаго туннеля, сначала мнѣ виденъ только блѣдный свѣтъ, потомъ ярче и ярче разгорается заря и я выхожу. Тутъ лѣсъ, видно море. Но еще выше нѣтъ лѣса, еще выше какія-то темныя скалы въ вѣчномъ сіяніи солнца. Иду наверхъ по камнямъ. Что тамъ?

На стѣнѣ виситъ охотничье ружье; беру его, заряжаю на утокъ и выхожу бродить по своей таинственной солнечной горѣ.

Передъ самымъ домомъ моего хозяина спитъ на кольяхъ огромный неводъ, спятъ шкуры морскихъ звѣрей, спятъ длинныя сухія рыбы. Подальше къ морю, улеглись, повернувшись спиною наверхъ, лодки, у самой воды свѣсилъ неизмѣнный черный крестъ. Тамъ сидитъ старикъ съ огромными плечами, будто выбитый холоднымъ моремъ каменный истуканъ. Онъ такой неподвижный и спокойный, что даже бѣлая птица на крестѣ не боится его, принимая за камень.

Это мой хозяинъ, поморъ, сидитъ безъ дѣла, дожидается странниковъ богомольцевъ.

Подхожу къ нему. Онъ не обращаетъ на меня вниманія, молчитъ: сѣверные люди скупы на слова. И не только люди, но и все, вся природа. Вотъ только лѣнивая прибойная волна разсыпается и говорить намъ: здрав-с-твуйте, здрав-с-твуйте.

„Все море копается, все море копается,“ говоритъ онъ наконецъ.

„Все копается. А отчего копается, видно, ужъ ему такъ Богомъ написано“.

Онъ смотритъ на золотой путь и, будто тамъ вдали, ищетъ причину.

И тамъ въ морѣ отвѣчаютъ. Изъ воды, навстрѣчу солнцу выдвигается золотое подножіе. Красный потухающій дискъ, на который теперь можно долго смотрѣть, сжимается, вытягивается навстрѣчу солнцу и сливается съ нимъ. Что



это? Престоль Господній? Не знаю что, но на минуту такъ понятно, отчего свѣтится небо и копаются море и волна такъ лѣниво и радостно говорить намъ: здрав-с-твуйте, здрав-с-твуйте.

„Похоже на...“

„Въ родѣ какъ-бы паникадило“, подсказываетъ старикъ.

Сравненіе мнѣ кажется такимъ унизительнымъ для солнца, неудачнымъ. Неужели, думаю я, этотъ дѣдъ, похожій на морского царя, совсѣмъ не понимаетъ красоты солнца. Что онъ читаетъ теперь для себя изъ этой золотой книги? Можетъ быть, онъ идетъ по тому пути черезъ море къ Святымъ островамъ, зажигаетъ передъ черной иконой огонекъ и еще разъ подтверждаетъ Преподобнымъ Зосимъ и Савватію свое клятвенное обѣщаніе всю жизнь возить богомольцевъ на Святые Острова. Но въ это время я его спрашиваю о солнцѣ и онъ сравниваетъ его съ однимъ изъ блестящихъ паникадилъ возлѣ темныхъ иконъ.

„Солнце у насъ, перебиваетъ онъ мои мысли, не глубоко садится. Аршина на два, не больше, подъ моремъ идетъ. И вонъ тамъ покажется. Вонъ тамъ!“

Онъ показываетъ мѣсто на небѣ противъ креста.

„А другой разъ и вовсе не таятся, все кромочка по водѣ идетъ. И поидетъ, и поидетъ. Оглянулся, а оно ужъ и опять показалось, опять свѣтится“.

Я оставляю дѣда и ухожу по берегу моря, прочь отъ деревни. Не хочу ни о чемъ думать, ни во что вмѣшиваться здѣсь, пусть само выскажется, если есть что сказать...

Направо отъ меня, на довольно высокомъ песчаномъ берегу—первая сторожевая сосны, налѣво—огонекъ полуночной зари. У самыхъ ногъ разсыпается бѣлое кружево прибоа. Мнѣ хочется взять это тонкое сплетеніе, сдѣлать изъ него что-нибудь хорошее. Но кружево тускнѣетъ, остаются пузыри и черная мертвая водоросль.

Я иду прямо по ровной линіи, по упругому морскому

песку, не сворачивая въ сторону. Но кружево прибой догоняетъ меня, мочить подошвы. Вѣрно, начинается приливъ, гудить сильнѣе. Надо взять поправѣй. Мнѣ мѣшаетъ большое дерево, сухое, черное, выброшенное волной. И вотъ еще что-то. Шапка! Откуда эта шапка? А вотъ доски отъ разбитаго судна и даже съ гвоздями.

Прибой гудить все сильнѣе, ухнеть и заскребеть чѣмъ-то по дну, будто что-то подвинуть и стихнуть и еще подвинуть.

Я смотрю на это мѣсто почти со страхомъ. Мнѣ вспоминается рассказъ старика, какъ его сосѣду посчастливилось: море ему выкинуло ящикъ съ богатствомъ. На языкѣ поморовъ это называется „навалуха“, случайное, непрочное счастье. Сосѣдъ разбогатѣлъ, хотѣлъ уже другой домъ строить, но утонулъ. „Море, сказалъ старикъ, его къ себѣ приняло, навалуха не настоящее счастье“.

Я остановился и жду.

Изъ бѣлой пѣны показывается черный мокрый конецъ чего-то большого. На немъ свѣтится полуночный красный отблескъ зари. Я догадываюсь: палуба отъ разбитой шкуны.

Иду дальше. Черныя водоросли хрустятъ подъ ногами, будто я давлю что-то скользкое полуживое. И пахнуть чѣмъ-то не живымъ, мертвымъ. Мнѣ начинаетъ чудиться, что наверху той солнечной горы, куда я стремлюсь, нѣтъ жизни, что и здѣсь уже въ этомъ бѣломъ сумракѣ перепархиваютъ души покойниковъ, что я одинъ живой и непрощенный.

Назадъ-бы бѣгомъ... Но я борюсь съ собой, осматриваю патроны въ ружьѣ, вглядываюсь въ даль, нѣтъ-ли птицъ, нельзя-ли увлечься, выстрѣломъ разсѣять этотъ тяжелый кошмаръ бѣлой ночи на Бѣломъ морѣ. Но птицъ нѣтъ, камни, песокъ, сосны, верескъ.

Вмѣсто радостнаго, знакомаго мнѣ, охотнику, солнечнаго бога, котораго не нужно называть, который самъ приходитъ и веселить, я чувствую, другой какако-то черный



богъ требуетъ своего названія, выраженія. Мгновенье, и я назову то, что лежитъ гдѣ-то темнымъ бременемъ, станетъ легко и свободно. Но въ самый рѣшительный моментъ мнѣ становится ясно, что если я сдѣлаю такъ, то отъ чего-то цѣлѣннѣйшаго въ мірѣ нужно отказаться безъ остатка, бросить даже это ружье и идти черной тропой, опустивши голову внизъ. Я протестую, и черный богъ остается безъ выраженія.

Вдали на одномъ камнѣ что-то шевелится. Я думаю, что это морской звѣрь, взвожу курки, и вдругъ вижу, что весь этотъ сѣрый большой камень поднимается и движется мнѣ навстрѣчу. Это человѣкъ идетъ, котомка за плечами, остроконечная войлочная шляпа закрываетъ почти все лицо. Можетъ быть это тотъ десятый богомолецъ Соловецкаго монастыря, котораго дожидается перевозчикъ?

Въ этой мертвой пустынѣ онъ мнѣ кажется тяжелымъ, оцѣвшимъ на землю призракомъ, слишкомъ грубымъ, чтобы подняться, какъ всѣ, на вершину солнечной горы.

Онъ равняется со мной. Я уже вижу его совсѣмъ черное лицо, повязанное платкомъ, вижу кусочекъ рыжей бороды. Пусть-бы проходилъ своей дорогой, но я зачѣмъ-то останавливаю его.

„Здравствуй! Далеко-ли? Откуда?“

„Быль у Саровскаго, иду къ Преподобнымъ по общанію. Хвораю, хочу потрудиться. Иду по берегу до промысловой избушки, а ея все нѣту и ночевать негдѣ. Далеко-ли до деревни?“

„Вотъ деревня, скоро будетъ видно“.

„И Слава Богу. Хотѣли меня на лодкѣ подвезти. Отказался, охотники и безъ меня найдутся. Что я имъ у Господа путь загораживать буду“.

Простой, обыкновенный человѣческій языкъ радуеть меня. Хорошо, думаю я, вотъ такъ, какъ этотъ странникъ, идти по берегу моря и думать, что я совершаю подвигъ, большое серьезное дѣло. Когда-то и мнѣ хотѣлось пѣшкомъ



обойти всю родину, открыть въ ней какую-то никому невѣдомую жизнь. Потомъ все это передумалось и не перешло въ дѣйствіе. Но вотъ идетъ же этотъ странникъ съ котомкой и котелкомъ, значить, можно-же это.

„Хорошо“, говорю я ему, вотъ такъ идти, ружье-бы тебѣ“. Онъ изумляется.

„Ру-у-жье! Зачѣмъ ружье?“

„Птиць-бы стрѣлялъ по дорогѣ, варилъ-бы въ котелкѣ“.

„Пти-и-ць... Пища у меня есть, сухариковъ припасъ, да и благодѣтели не оставляютъ, народъ тутъ хороший, пріемистый, странниковъ жалѣютъ, милостыню подаютъ.“

Я вижу, что сказать не такъ, какъ нужно, хочу поправиться.

„Ружье для защиты годится, мало-ли что можетъ случиться по дорогѣ“.

Странникъ осматривалъ меня съ ногъ до головы.

Ясно вижу, что думаетъ: въ своемъ-ли умѣ?

„Какая защита, я ничего не боюсь. Иду вотъ и иду къ Преподобнымъ. Иду и думаю, гдѣ-бы мнѣ праздникъ встрѣтить, помолиться, къ службѣ попасть. Не хорошо такъ, какъ приведется, праздникъ Господній на камнѣ встрѣчать. Не далеко, говоришь, деревня?“

„Вонъ она, видно“.

„Слава Богу, прощай“.

Онъ уходитъ. Нѣсколько минутъ я слышу шаги его ногъ о мокрый песокъ, а потомъ попрежнему все замираетъ и только прибой все подвигаетъ и подвигаетъ что-то изъ моря сюда. Кромочка солнца все еще идетъ у воды.

Я сажусь на большой кусокъ дерева, на то самое мѣсто, откуда поднялся странникъ, и переживаю свои впечатлѣнія отъ поѣздки съ богомольцами по Сѣверной Двинѣ. Въ бѣломъ сумракѣ мысль никогда не доканчивается, не знаю, о чемъ я думалъ, вѣроятно, о богомольцахъ. Я могу здѣсь

въ этихъ запискахъ лишь переписать отрывки, набросанные на клочкахъ, еще на Сѣверной Двинѣ...

\* \* \*

**Изъ записокъ  
на С. Двинѣ.**

Тогда мое путешествіе было лишь въ самомъ началѣ. Первая половина мая. Тамъ и тутъ отъ этихъ лѣсныхъ береговъ отчаливають лодки. Пароходъ оставливается и принимаетъ съ нихъ все новыхъ и новыхъ пассажировъ. Это Соловецкіе богомольцы съ котомками за спиной, въ измятой жалкой одеженкѣ, съ покорными лицами, смиренные странники и странницы.

Вотъ вскорабкалась по трапу сморщенная старушка. Капитанъ ее почему-то гонить съ парохода, вѣрно, у нея нѣтъ денегъ для билета. Но куда-же ей идти? Назадъ, въ эти лѣса, по которымъ она брела уже съ своими сухариками за спиной, быть можетъ, уже недѣли двѣ, три. Назадъ нельзя.

„Капитанушко, молитъ она его, какъ Бога, капитанушко родненькій, не гони ты меня старуху старую, по обѣщанію иду къ Соловецкимъ угодникамъ. По обѣщанію, капитанушко, по обѣщанію миленькій, доведи до Архангельска“.

Слова „по обѣщанію“ дѣйствуютъ на капитана, и онъ сдается.

А за старушкой лѣзетъ по трапу пахарь въ сермягѣ, въ лаптяхъ, снимаетъ шапку и, лохматый, съ всклоченной бородой, но съ ясными добрыми глазами, говоритъ:

„Ваше благородіе, сдѣлайте Божескую милость, по обѣщанію иду“.

„Возьми и его, капитанушко, проситъ старуха, мужикъ смиренный, хорошій, по обѣщанію идетъ къ Соловецкимъ угодникамъ“.

Капитанъ пропускаетъ и пахаря.

И все тоже и тоже: лѣса, богомольцы, русская тьма...

Я сижу на лавочкѣ и думаю: какъ жаль, что я русскій, привыкъ съ дѣтства видѣть этихъ смиренныхъ людей, слышать ихъ покорную рѣчь, привыкъ къ нимъ, къ этимъ безконечнымъ пространствамъ лѣсовъ и полей, и до того привыкъ, что не могу уже взглянуть на нихъ со стороны, понять и тотъ, быть можетъ, высокій смыслъ, который таится въ словахъ: „по обѣщанію“.

Если-бы вмѣсто меня ѣхалъ здѣсь хорошій иностранецъ, не очень гордый и думающій, онъ посмотрѣлъ-бы на эти огромныя незаселенныя пространства, на величественную пустынную рѣку, на смиренное, подавленное выраженіе лицъ богомольцевъ, и сказалъ-бы: въ этихъ лѣсахъ, на этомъ небѣ, въ этой водѣ живетъ какой-то особенный, мрачный богъ. Эти смиренные люди совсѣмъ и не могутъ поднять своей головы и посмотрѣть на него, они не видятъ ни свѣта, ни солнца, ни зеленой травы и лѣсовъ, а только въ страхѣ стелются по своей родной землѣ. Передъ каждымъ изъ этихъ людей, хотя разъ въ жизни, развернулась темная бездна и одной ногой онъ уже ступилъ туда, но пообѣщавшись и вернулся назадъ. И теперь испуганный, благодарный, преданный спѣшить принести свою ленту.

Иностранецъ посмотрѣлъ-бы на все это открытыми глазами и вернулся-бы къ самому себѣ съ новымъ углубленнымъ взглядомъ.

Но я не иностранецъ и ничего не нахожу для себя въ этомъ путешествіи на пароходѣ, гдѣ нѣтъ ни одного интеллигентнаго пассажира.

Такъ проплываютъ мимо меня въ сумеркахъ высокіе темные берега, будто цѣпь связанныхъ между собою общимъ основаніемъ треугольниковъ, покрытыхъ лѣсами и соснами.

Я уже начинаю раскаиваться, что выбралъ такой утомительный путь на сѣверъ. Но въ это-же время замѣчаю, что высокіе береговые треугольники, поддерживающіе сосны, начинаютъ бѣлѣть. Я забываю, что уже май, что не можетъ



быть снѣга, я думаю, что это снѣгъ, и люблюсь незнакомымъ мнѣ сочетаніемъ темнаго лѣса въ бѣломъ сумракѣ надъ бѣлыми скалами у странной незамерзающей, будто живой, воды. Пассажиры все смотрятъ на эти горы и говорятъ, что онѣ алебастровыя. Я понимаю: это не снѣгъ, это алебастровыя горы С. Двины. Онѣ становятся все выше и выше, лѣсъ исчезаетъ, и вотъ мимо меня плывутъ странныя фантастическія строенія, дворцы, башни, крѣпостныя полуразрушенныя стѣны, плывутъ нескончаемой вереницей, причудливой, постоянно измѣнчивой формы.

Я гдѣ-то у стѣнъ Колизея.

Хорошо такъ забыться. Но еще мгновенье и ничтожная причина перевертываетъ мой духъ на другую, темную сторону.

Маленькая старушка, недалеко отъ меня, усѣвшись на грязномъ мѣшкѣ, вынимаетъ небольшую, черную икону и начинаетъ тутъ-же въ виду алебастровыхъ горъ молиться. Какъ попала къ старухѣ икона, не знаю, богомольцы обыкновенно не берутъ ихъ съ собою.

Она молится, а я припоминаю, какъ меня когда-то такая-же старушка учила молиться такой-же черной иконѣ. Она грозила мнѣ, если я буду грѣшить, такими ужасными муками, что я навсегда сталъ думать объ Отцѣ, какъ о безопадномъ, жестокомъ Богѣ. Черная икона, говорила старушка, бросаетъ камешки и въ кого попадетъ, тотъ умираетъ. Съ какимъ ужасомъ я вглядывался тогда въ темное небо, нѣтъ-ли тамъ огней, не начинается-ли?

Почему-то эти воспоминанія особенно волнуютъ, мелькаетъ иллюзія, что въ этихъ поискахъ въ своемъ далекомъ прошломъ можно найти разгадку всего великаго міра.

Незамѣтно для себя я забываю свои прекрасныя алебастровыя горы и, очнувшись, спускаюсь внизъ, въ темную массу нашихъ богомольцевъ на днѣ парохода.

Тамъ еще не зажгли огней, полумракъ. Это какой-то тѣсный подвалъ, складъ грязныхъ котомокъ, на которыхъ

сидять, чего-то дожидаются сѣрые люди. Очень трудно пробраться въ середину: то задѣнешь чайникъ, то ногу. Мнѣ бросаются въ глаза нѣсколько дѣвушекъ, молодыхъ, но съ желтыми монастырскими лицами и въ черныхъ платкахъ. Онѣ поють, читая по засаленной бумажкѣ, пѣснь о томъ, какъ англичане нападали на Соловецкую обитель. Я подхожу къ нимъ и слушаю. Окончивъ пѣніе, онѣ спрашиваютъ меня:

„По обѣщанію“?

Что-бы имъ отвѣтить?

„Странствую, говорю я, первое попавшееся слово.

Дѣвицы значительно киваютъ головой и больше не спрашиваютъ. Поняли. Имъ не интересно уже больше знать откуда я, зачѣмъ иду. Странствуетъ человѣкъ, чего-же больше? Какъ пріятно не слышать обычныхъ разспросовъ о своей жизни. И что это за удивительное общество людей самой грубой жизни, самаго грубаго труда, тутъ безъ всякаго дѣла, оторванныхъ отъ всего привычнаго, ѣдущихъ за тысячи верстъ на какіе-то Святые Острова. Какъ сумѣли они перескочить черезъ величайшую стѣну деревенскаго быта, всѣхъ этихъ дровецъ, соломки, всего этого грубаго, будничнаго.

Понемногу я свыкаюсь съ этимъ подваломъ котомокъ и вижу знакомую старушку, которая просила капитана взять ее съ собой. Она устроилась у теплаго котла, завертываетъ и развертываетъ свою ногу. Недалеко отъ нея и пахарь. Я подхожу къ нему, онъ подвигается, даетъ мнѣ мѣсто.

„По обѣщанію?“ спрашиваю я.

„Нѣтъ, по усердію, вонъ ребята, тѣ по обѣщанію“.

И указываетъ на трехъ парней. Сидять неподвижные, такъ странно, не по возрасту, молчаливые, будто ихъ нагрузили тяжелыми гириами.

„По усердію, по усердію ѣду, продолжаетъ пахарь, поклониться Преподобнымъ. Отсѣялся и пошелъ. А за ребятъ родители пообѣщались, ѣдутъ годъ отработать“.

Къ намъ подходитъ благообразный мужчина, въ немъ что-то технически церковное, вѣрно, староста. Узнавъ, что я ѣду въ Соловки, онъ говоритъ:

„Хорошее дѣло, хорошее. Устройство у нихъ хорошее, и старцы раньше были хорошіе: всю жизнь тебѣ расскажутъ, какъ на ладони увидишь. Знаютъ и планиду небесную, и какъ счастливо жить и какъ несчастливо. Все знаютъ“.

„Теперь, говорятъ, нѣтъ тамъ такихъ старцевъ, спрашиваю я, монахи слабые“.

„Это вѣрно, что слабые. Ну что-жъ, слабые и слабые, а все таки монахи. Трудное ихъ дѣло. Вѣдь у него санъ-то мертвъ, а плоть жива Жива-а-а... Да и такъ сказать, не все же въ конь, можно и за конь“.

Онъ обертывается назадъ къ лохматому мужику съ горящими, какъ угли, глазами, и зоветъ пальцемъ:

„Аѳанасій, Аѳанасій, подь сюда. Тутъ человѣкъ ѣдетъ, подь-ка сюда поговорить“.

Аѳанасій подходитъ и смотритъ на меня страннымъ, пронзательнымъ взглядомъ.

„Поговорить... хорошо. Поговоримъ. А можешь-ли ты говорить-то со мной?“

„Могу“.

Ой-ли! Ну поговоримъ. Не въ словахъ нашихъ дѣло, а поговорить хорошо. Поговоримъ“.

Насъ окружаютъ другіе странники и странницы. Я понимаю, что меня вызываютъ на состязаніе. Аѳанасій прищуривается и при общемъ внимательномъ молчаніи задаетъ мнѣ первый вопросъ:

„Можешь-ли ты мнѣ отвѣтить, зачѣмъ молился Іисусъ Христосъ въ Геѳсиманскомъ Саду?“

„Чтобы смирить себя передъ Отцомъ“ отвѣчаю я.

Его поражаетъ мой вѣрный отвѣтъ, а меня впечатлѣніе отъ такого простого школьнаго отвѣта. Оттого-ли это, думаю я, оттого-ли, что онъ самъ дошелъ своимъ умомъ до этого



объясненія и потому въ моемъ отвѣтѣ онъ видитъ признаніе своей глубины. Или, быть можетъ, изъ всѣхъ этихъ людей только онъ, да я могутъ такъ отвѣтить, и я въ самомъ дѣлѣ, здѣсь мудрый человѣкъ.

Но черезъ мгновеніе я думаю: Аѳанасій самобытенъ, великъ въ этой средѣ.

Онъ смотритъ на меня еще болѣе пронизательнымъ взглядомъ, прищуривается:

„Видю: у тебя на душѣ большое дѣло, и не простой ты человѣкъ. Только Никитушка — юродивый еще почище тебя. А можешь-ли ты мнѣ отвѣтить: гдѣ Богъ?“

„Вездѣ Богъ, на землѣ, на небѣ“.

„Ну вотъ, не дошелъ ты до всего. Ты думаешь въ таинствѣ Богъ, а инъ нѣтъ“.

„Гдѣ-же?“

„А въ ребрахъ!“

Я понимаю, это значить Богъ въ себѣ самомъ. Эту мысль я давно знаю. Но здѣсь она кажется такой значительной. Почему это такъ? Потому-ли, что и въ меня были заброшены сѣмена вѣры въ народъ богоносецъ, или-же потому, что сейчасъ будто родившаяся мысль въ нѣдрахъ природы велика своей свѣжестью, таинственностью и прелестью своего зачатія?

Потомъ мы говоримъ съ Аѳанасіемъ о какихъ-то предѣлахъ Господнихъ. Я едва-едва могу понять смыслъ его безсвязныхъ рѣчей, а богомольцы навѣрно ничего не понимаютъ. Но всѣ слушаютъ его съ величайшимъ благоговѣніемъ и у нихъ въ душѣ медленно разматываются съ большого клубка черныя нитки и путаются, путаются, путаются.

Скучно быть долго въ этомъ подвалѣ котомокъ. Тягостно. Заглянулъ и довольно. Наверхъ! Тамъ еще бѣлѣютъ фантастическія алебастровыя горы.

\* \* \*

Переписалъ отрывки. Что въ нихъ? Какая мысль? Что я хотѣлъ сказать? Не то-ли что наши русскіе лѣса, куда бѣжали и скрывались изстари пустынноики, замѣняютъ намъ феодальныя развалины и памятники европейской культуры, но я не могу этимъ удовлетвориться... Какой-то хаосъ... Но мнѣ хочется быть искреннимъ... Быть можетъ впереди все это разъяснится.

\* \*  
\* \*  
\* \*

**10-го Іюня.**  
**По морю на лодкѣ къ**  
**Святымъ островамъ.**

„Собирайся, господинъ, вода прибываетъ, камень срѣжетъ и въ путь!“

Мои алебастровыя горы навсегда растаяли. Но неиспользованный запасъ любви къ нимъ я перенесъ на старика и на море, и на все, что попадется тамъ на этомъ пути открытымъ моремъ на лодкѣ къ Святымъ Островамъ. Прежде всего старикъ. Онъ для меня мудрый и добрый звѣрь, съ которымъ можно говорить. Его слова, точные, упругіе, отскакиваютъ отъ него, будто спѣлые плоды осенью, лишняго онъ не скажетъ, я люблю его за это. Онъ старый морякъ, испытавшій все въ морѣ. И за это я люблю его: крѣпкая стихійная душа, это цѣлая сокровищница. А старикъ совсѣмъ особенный морякъ. Его называютъ: „Юровщикъ“. Мнѣ объяснили это названіе такъ „юровщикъ“, значить, человѣкъ, который идетъ впереди и за нимъ остается слѣдъ, „юро“, всѣ тѣ, которыхъ онъ ведетъ за собой. Но, можетъ быть, это значить просто человѣкъ, имѣющій дѣло съ *юровомъ*, со стадомъ морскихъ звѣрей. Каждый годъ, вотъ уже тридцать зимъ, этотъ юровщикъ во главѣ „ромши“ (промысловой артели изъ восьми человѣкъ) пускается на льдинѣ за морскими звѣрями. Эту льдину съ людьми носить отъ одного края моря къ другому, между опасными подводными кам-

пиями, водоворотами, островами; случается, пронеситъ и въ океанъ. Юровщикъ это предводитель на льдинѣ, онъ ведетъ людей и выбирается изъ самыхъ храбрыхъ, справедливыхъ и умныхъ <sup>1)</sup>).

Мнѣ рассказывали про старика, будто онъ возитъ богомольцевъ „по обѣщанію“, будто съ нимъ на морѣ что-то случилось особенное, послѣ чего онъ каждое лѣто возитъ богомольцевъ на Святые Острова.

Юровщикъ перебилъ мою попытку описать богомольцевъ и С. Двину. Я сложилъ свои вещи и мы вмѣстѣ вышли къ морю.

Песокъ еще теплый отъ дневного солнца. Мы ложимся на него и глядимъ на камень въ морѣ. Этотъ камень наши часы. Какъ только прибывшая вода покроетъ, „срѣжетъ“ его, мы двинемся въ путь къ Соловецкимъ Островамъ. Вчера ночью пришелъ послѣдній, десятый, странникъ, тотъ самый мрачный съ подвязанной щекой, котораго я встрѣтилъ вчера на берегу. По камню мы должны точно рассчитать время отъѣзда, выѣхать такъ, чтобы на серединѣ пути насъ подхватила вода, бѣгущая къ Соловецкимъ Островамъ. Тогда, какая-бы не поднялась въ морѣ буря, она насъ не догонитъ, море не успѣетъ раскачаться. Мы смотримъ на камень. Холодное сѣверное море лежитъ теперь тихое, прекрасное, какъ обрадованная печальная дѣвушка.

Юровщикъ знаетъ, что все это хорошо и говорить:

„Такъ ужъ не прямая-ли гладинка къ Святымъ Островамъ. Краса! Вотъ поди ты: днемъ вѣтеръ, а ночью тишь. У этого вѣтра жена красивая, какъ вечеръ, ночь, такъ спать ложатся“.

Къ намъ подходитъ молодой парень, сынъ юровщика, и тоже глядитъ на камень. По его лицу, высоко надъ нами, я узнаю первый утренній свѣтъ.

---

<sup>1)</sup> Авторъ передаетъ здѣсь не воображаемую возможность, но точно изученную имъ дѣйствительность.



Изъ моря долетаетъ неровный плескъ.

„Вода стекаетъ или звѣрь *выстаетъ*?“

„Вода у камня полощится.“

„Краса какая, жена, жена и есть!“

Немного спустя Ванька стоитъ весь розовый, а на лицѣ старика выступаютъ глубокіе шрамы.

Камень срѣзало уже до половины.

„Ступай, буди богомольцевъ. Подкрашиваетъ, солнышко *выкатается*“.

„Слышишь?“

„Что это?“

„Звѣрь шевелится“.

„А вонъ тамъ бѣлуха дышитъ. Значитъ, сей день будетъ порато (очень) хорошъ, а завтра *погода*. Но только мы такъ говоримъ, а Богъ знаетъ“.

Я слушаю всѣ эти звуки сѣверной природы, съ которыми я еще не сроднился, которые еще не стали мнѣ музыкой, какъ на югѣ, но за то сулятъ столько возможностей и даютъ мнѣ столько маленькихъ открытій. Я слушаю. Мало по малу къ этимъ морскимъ звукамъ присоединяются шаги богомольцевъ. Они подходятъ къ намъ и тоже замираютъ. Имъ, вѣрно, страшно передъ этой поѣздкой на лодкѣ по морю, котораго они никогда не видѣли. Имъ никогда и не спились эти дни безъ конца и эти ночи безъ звѣздъ и луны, безъ тьмы. Но, можетъ быть, они этому не очень изумляются и думаютъ, что у Святыхъ острововъ непременно должны быть такія чистыя безгрѣшныя ночи и еще не такія чудеса.

Я узнаю тутъ старушку, которую видѣлъ на Сѣверной Двинѣ, въ черномъ платкѣ, изъ-за котораго въ профиль виденъ только подбородокъ, вижу пахаря въ лаптяхъ и сермягѣ, вижу вчерашняго странника, все такого-же мрачнаго теперь при восходѣ солнца, какъ и вчера ночью на той солнечной горѣ, гдѣ летаютъ души умершихъ. Потомъ еще нѣ-

сколько ребятъ годовиковъ, еще старушка, еще пахарь изъ какой-то другой губерніи.

Юровщикъ не обращаетъ ни малѣйшаго вниманія на странниковъ, слѣдить за вѣтромъ, радуется, что дуетъ сильнѣе, и приговариваетъ свое: „жена, жена и есть“.

„Ты помни, говоритъ онъ мнѣ, *объденникъ* хорошій вѣтеръ, у него жена красивая, къ вечеру стихаетъ. *Полуночникъ* тотъ злой, какъ начался, такъ и не стихнетъ. *Шалонникъ* ярой, тотъ на морѣ разбойникъ. *Стокъ* вѣтеръ широкій, подтихаетъ, какъ на солнце придетъ. Вотъ и всѣ наши вѣтры.

„А западный?“ вспомнилъ я.

„Западъ, тотъ не въ счетъ, тотъ на діавольскомъ положеніи“.

„Все равно что антихристъ“, говоритъ черный странникъ.

„Ты откуда это знаешь?“ удивляюсь я, и смотрю на его темное лицо, на подвязанную щеку и кусокъ бороды, и, какъ черная тѣнь, пробѣгаетъ передо мной вчерашняя встрѣча, вчерашняя ночь.

„Такъ ужъ знаю. Я вездѣ бывалъ и за вездѣ-то бывалъ. Западъ вездѣ за антихриста считается. Вотъ помалешеньку, помалешеньку завладѣтъ всѣмъ антихристъ да и спохватятся, да будетъ уже поздно“.

Этотъ черный странникъ, кажется, въ состояніи говорить объ антихристѣ и во время рожденія богини изъ пѣны морской. Солнце восходитъ, мнѣ хочется говорить съ старикомъ о красивой женѣ хорошаго вѣтра. Но онъ поднимается съ песка и объявляетъ:

„Камень срѣзало. Въ путь, крещенные!“

Мы всѣ встаемъ. Странники повертываются къ востоку и молятся туда широкими крестами, маленькіе, черные, но озаренные уже золотымъ солнечнымъ свѣтомъ. Помолвившись на востокъ, повертываются къ церкви и еще молятся. Крестятся истово, большими крестами проводятъ рукою по всему сіяющему небесному своду.

„Преподобные Зосима и Савватій“, молится пахарь.

„Дайте повѣтерь!“ шепчетъ морякъ.

\* \* \*

Какъ не помочь такому славному дѣду! Мы всѣ, кромѣ двухъ старушекъ и больного чернаго странника, подкладываемъ катки подъ большую тяжелую лодку и катимъ ее такъ къ морю съ берега. Потомъ укладываемъ котомки, усаживаемъ рядомъ старушекъ. Старикъ садится кормщикомъ, а сынъ его и годовики берутся за весла. Берегъ уплываетъ отъ насъ, уплываетъ посѣянная на пескѣ между камнями и соснами деревенька, все еще прощается, напутствуетъ насъ большой черный восьмиконечный крестъ.

Добрый путь, страннички, къ Святымъ Островамъ! Плывите, плывите, не подмочите сухарики, берегите свои ладонки и рублики, святые угодники при-и-мутъ и помогутъ, исцѣлять. Плывите съ Господомъ, Соловецкая обитель богатая, пригрѣтъ, накормитъ. Плывите черненькіе и маленькіе, вѣтеръ пошлю вамъ походный, хорошій, солнышко горитъ ярко“.

„Слава тебѣ Господи, слава тебѣ Господи, молятся старушки кресту. Долго шли, теперь ужъ немного осталось. Донеси батюшка“.

„Донесу, донесу-у“, еле слышно съ берега, но уже не видно креста.

„Донесетъ, донесетъ“ успокоиваетъ и юровщикъ, море тихое, что скатерть лежитъ. Не въ первый разъ везу...“

Въ такіе ясные дни на Бѣломъ морѣ часто играютъ бѣлухи. Я уже привыкъ къ ихъ серебрянымъ спинамъ. Но странниковъ смущаютъ эти живые морскіе серебряные огни.

„Что это?“ спрашиваетъ пахарь.

„Бѣлуха играетъ, отвѣчаетъ морякъ, большая, хвостъ у ней эва какой, сама пудовъ въ пятьдесятъ“.



„И ноги и голова?“

„Все есть.“

„Вотъ такъ рыба!“

„Звѣрь онъ, не рыба. Конечно, не волкъ не медвѣдь“.

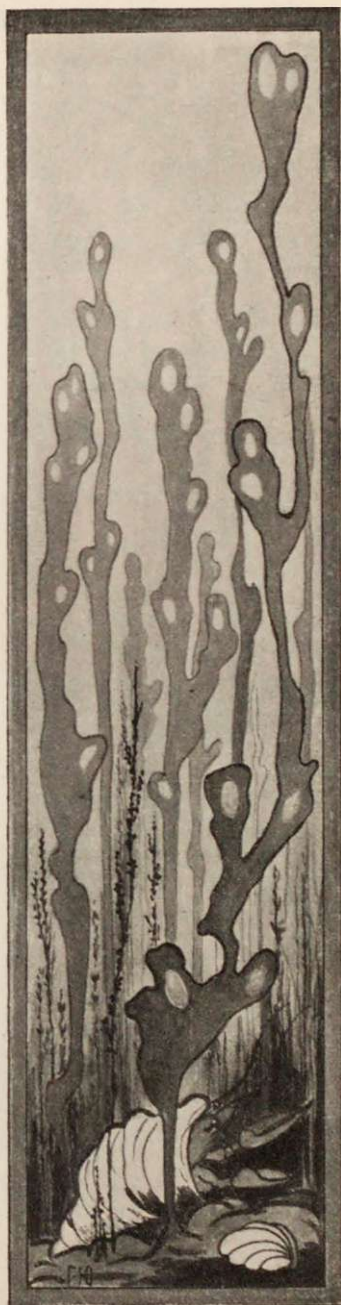
„Господь создалъ море и землю,“ говоритъ пахарь.

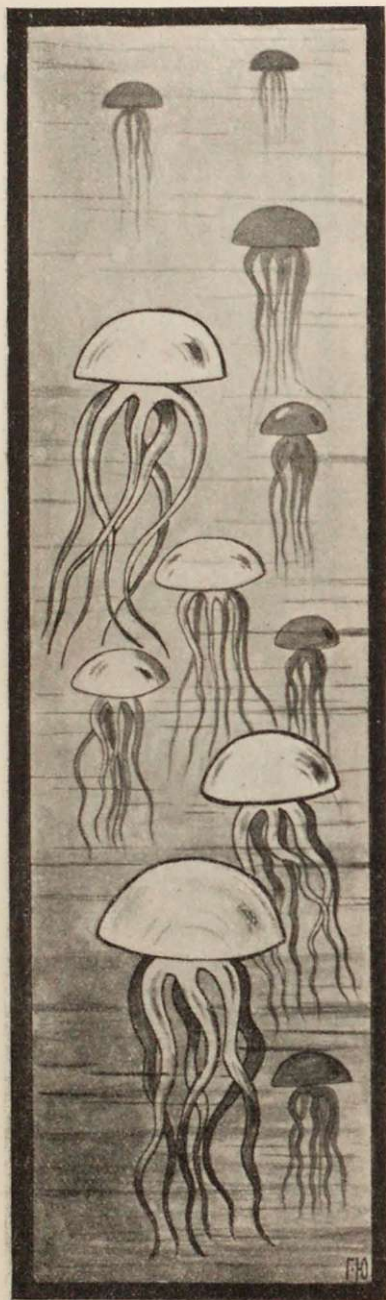
„Море богаче земли“ отвѣчаетъ морякъ.

Я привыкъ къ этимъ сѣвернымъ дельфинамъ и смотрю не туда, куда всѣ, а внизъ въ глубину. Или мелко еще, или вода очень прозрачная, но я вижу въ глубинѣ что-то темно зеленое.

Приглядываюсь, и открываю тамъ цѣлый густой, зеленый подводный лѣсъ. Я люблю лѣсъ, какъ бродяга, для меня онъ родной, онъ дороже мнѣ всего, дороже моря и неба. Такъ хочется войти туда въ этотъ зеленый таинственный мiръ. Но это не настоящiй, это сказочный лѣсъ, туда нельзя войти, мы слишкомъ грубы для того. А хорошо-бы спуститься въ этотъ морской лѣсъ, притаиться и слушать, какъ перешептываются рыбы у прутика водоросли.

„Море богаче земли“, слышу я, говоритъ морякъ пахарю. Звѣрей тамъ всякихъ, рыбы. А мелочи этой и не счесть. Солдатики-красноголовики, въ шапочкахъ, передъ семгой,





или передъ погодой показыва-  
ются. Да вотъ еще воронки, въ  
родѣ какъ птиченьки, идутъ по-  
махиваютъ крылышками. Ракъ  
тамъ есть большой, ражій, ча-  
столапчатый, хвостъ короткій.  
Звѣзды. Идутъ по дну моря, пере-  
биваются. Море богаче земли“.

Чудеса, чудеса, чудеса!

Я вижу, какъ изъ подводнаго  
лѣса движется живая точка, плы-  
ветъ къ намъ, показывается близко  
у лодки. Настоящій маленькій  
морской корабликъ съ глубоко  
вырѣзаннымъ парусомъ. Выплы-  
ваетъ на поверхность, шевелитъ  
парусомъ со множествомъ тон-  
кихъ колеблющихся снастей.

Изумленные странники то-же  
замѣчаютъ подводный корабликъ.

Я хочу объяснить, что это  
медуза, животное, живое.

Но кормщикъ предупреж-  
даетъ меня.

„Это *масло морское*, говоритъ  
онъ. Оно тоже *буде живое*. Идетъ,  
да помахиваетъ парусомъ, рас-  
ширится, да сузится, да впередъ  
и впередъ. Весломъ толкнешь, въ  
родѣ какъ убьешь“.

Странники понимаютъ и мнѣ  
не хочется припомнить зоологію,  
въѣдь и меня интересуетъ въ этой  
медузѣ то, что она „буде живая“.

Я пробую поймать медузу рукой, касаюсь воды, но вмѣсто медузы подъ рукой разсыпается коверъ смѣющихся искръ и закрываетъ и медузу, и таинственный морской лѣсъ. Потомъ я вижу, какъ быстро спускается сказочный корабликъ къ волшебному лѣсу и пропадаетъ тамъ. И лѣсъ закутывается глубиной и исчезаетъ, какъ недоконченная сказка.

Чудеса, чудеса, чудеса!

Старикъ рассказываетъ много чудесъ о морѣ. Я слушаю его и въ то-же время брожу глазами по морю. Мы еще не выѣхали въ открытое море, большой островъ направо и синій длинный мысъ налѣво образуютъ что-то въ родѣ бухты. Я брожу глазами то по спокойной, какъ зеркало, водѣ у береговъ, то заглядываю впередъ вдаль на темную воду, то на золотой искристый слѣдъ лодки.

И вдругъ замѣчаю недалеко отъ лодки отчего-то возникаетъ маленькій водоворотъ и бѣгутъ круги во всѣ стороны. Отчего это? Будто камень булькнулъ въ воду. Но никто не бросаетъ. Отчего это?

Гляжу на кружки и вижу, какъ въ центрѣ ихъ показывается изъ моря большая черная человѣческая голова. Струйки воды стекаютъ съ темно-синеватаго лба, золотыя капли блестятъ на усахъ.

Не сразу я понимаю, что это тюлень, морской заяцъ.

Потомъ замѣчаютъ странники, кормщикъ обертывается старушки крестятся.

„Звѣрь, а что человѣкъ!“ говоритъ пахарь.

„На человѣка онъ очень похожъ, отвѣчаетъ морякъ *Катары*, что рученьки, головка акуратненькая“.

Тюлень долго плыветъ за нами, вдумывается кроткими, умными глазами: такъ-ли рассказываетъ морякъ пахарю о морской глубинѣ.

Чудеса, чудеса, чудеса!

Мы проплываемъ на веслахъ мимо Жигжинскаго острова, откуда начинается открытое море. Жигжинъ это одинъ изъ



тѣхъ острововъ, на которомъ, по преданіямъ поморовъ, жило чудовище „чудъ“, побѣжденное Николаемъ Угодникомъ. Это мѣсто и теперь опасное для мореплавателей, почему и поставленъ тутъ маякъ. Наконецъ, для путешественника, интересующагося народной жизнью, Жигжинскій островъ любопытенъ тѣмъ, что онъ услышитъ здѣсь рассказы о томъ, какъ съ этого острова поморы спускаются на льдинѣ въ Бѣлое море для промысловъ морскихъ звѣрей. Я и раньше на берегу еще слышалъ рассказы про эти страшные, вѣроятно нигдѣ въ мірѣ не существующіе уже промыслы. Но только тутъ, возлѣ Жигжинскаго маяка, узнать, наконецъ, всѣ подробности этой невѣроятной, просто фантастической жизни. Я изучилъ языкъ поморовъ, напрягалъ все свое вниманіе, чтобы запомнить своеобразныя выраженія нашего перевозчика и думаю, что теперь на бумагѣ я могу передать его замѣчательный рассказъ съ точностью.

Мы проплываемъ Жигжинскій маякъ, налѣво остается мысъ Орловъ, мы вступаемъ въ открытое море, но, если хорошо приглядѣться, то на горизонтѣ уже виднѣются синія тѣни земли на морѣ: то вытягиваются вверхъ, будто высокія горы, то сплюснутся узкой полоской у воды, то вовсе оторвутся отъ воды и повиснутъ въ воздухѣ.

„*Бугритъ*“, называетъ такъ поморъ явленіе миражей на Бѣломъ морѣ.

Странники крестятся.

Чудеса!

Потомъ мы вступаемъ въ полосу вѣтра, кормщикъ ставитъ парусъ и приговариваетъ:

„Славную повѣтеръ Богъ далъ. Преподобные Зосима и Савватій, несите насъ на Святые Острова“...

Отливъ то-же подхватываетъ насъ и лодка мчится, качается въ волнахъ, брызги летятъ, обдають насъ.

Странникамъ жутко: вотъ и назади начинается бугритъ земля, подниматься на воздухъ.

Крестятся, шепчутъ молитву. Только кормщикъ, да чернѣйшій странникъ равнодушны: одинъ привыкъ, другому все равно. Старикъ поморъ даже веселъ, повѣтеръ радуется его.

„Ишь притихли! смѣется онъ, а это не *взводень*, а только *подсѣчка*. Море наше бойкое. Лѣтомъ еще мало вѣтры обижаютъ, а вотъ поплавали-бы вы осенью, да зимой. У насъ море и зимой не замерзаетъ.“

Кто-то изъ молодыхъ годовиковъ удивляется: „отчего?“

„Оттого что оно велико“ отвѣчаетъ поморъ, и все что намерзаетъ, то все уносить въ горло, въ океанъ.

„Господь васъ хранить!“

„Хранять, хранить преподобные! Богъ знаетъ, какъ вѣкъ написанъ, долго-ли, коротко-ли пройдетъ. Вездѣ-то ѣдимъ, по морямъ, да... Постоянно на морѣ, вотъ и молимся, чтобы спасали Преподобные. Вотъ и сейчасъ, звѣрину продать, везу и хранять... Безъ нихъ давно-бы насъ не было. Обѣщаніе — первое дѣло.“

„Первое дѣло!“ хоромъ подхватываютъ испуганные моремъ странники.

„Взводень подыметъ и Бога грызть, продолжаетъ поморъ. Обѣщаніе положишь, посулишь тамъ чего нибудь, звѣрину-ли, деньги-ли, самому замѣтно, будто погода маленько мѣняется, не сразу, а ловчѣе проходить, виднѣе на морѣ, легче ходить, взводень станетъ опадывать. Обѣщаніе первое дѣло.“

„Первое дѣло!“ опять откликаются всѣ, будто связанные невидимыми нитями съ этимъ старымъ и мудрымъ кормщикомъ.

„Обѣщаніе держишь, вотъ и хранять, тридцать зимъ выходилъ, такъ все видѣлъ. Но только Господь меня возлюбилъ, счастье давалъ, изъ тридцати зимъ только два раза и пронесло въ океанъ.“

„Разскажи!“ сталъ я просить старика.

„Разсказать-бы я тебѣ, государь мой, хорошій человекъ, да старухи ревѣтъ будутъ. Какъ жили во льдахъ, такъ жутко“.

Меня поддержали странники и старикъ началъ свой рассказъ.

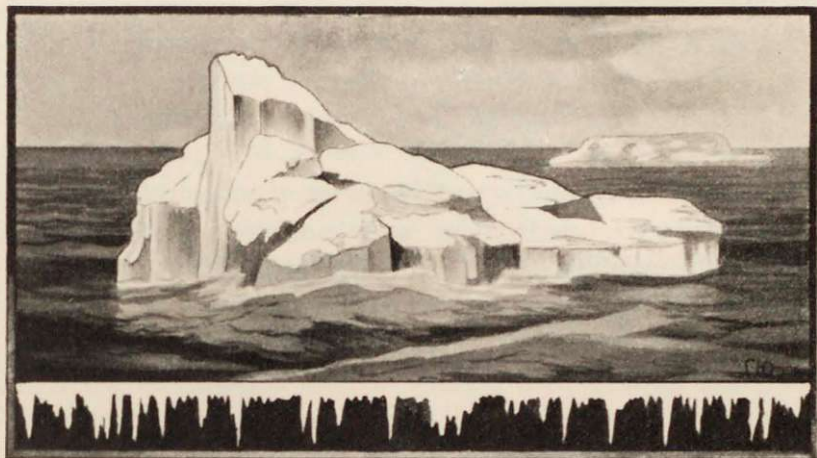
„Зима стояла лютая. Незнаю, какъ по вашему, по ученому, государь мой, а по нашему такъ въ задніе годы морозы крѣпче были. Морозы крѣпче и люди крѣпче. Молодой народъ, вѣрно, сталъ полукавѣй, а нашъ народъ былъ по-натуристѣй. Лютая зима стояла! *Сполохи* играли, страсть! Въ вашихъ мѣстахъ, слышно, этого нѣту?“

„Нѣтъ, отвѣчаю я старику, у насъ нѣтъ сполоховъ“ и, заинтересованный, какъ представляютъ себѣ поморы загадочное сѣверное сіяніе, спросилъ: „отчего бываютъ сполохи и какіе они.“

„Отчего бываютъ сполохи я тебѣ не сумѣю сказать. Намъ-ли вѣдать, что у Господа въ небѣ дѣлается. Растворится небо, раскроется, будто загорится. Сперва расширится и опять врозь слетается въ одно. Страшно глядѣть! Выйдешь, на порогъ постоишь, да и опять въ избу скорѣй. Страшно. Толкують, будто это льды шевелятся въ океанѣ. Только это пустыки. А еще что океанская вода загорается... Оно будто и такъ, въ темную ночь, какъ по морю идешь, все сзади свѣтлая дорожка бѣжить, свѣтится. Можетъ и загорается, но только гдѣ намъ звать, что Господь открываетъ.







Хорошо... Морозы стояли трескучіе, а льды въ нашемъ морѣ не останавливаются, все мимо идутъ, въ горло, да въ океанъ, а ужъ тамъ, куда приведется: вверхъ-ли внизъ-ли.

Тутъ я опять перебилъ старика. Меня поразило, что въ океанѣ, по словамъ помора, есть верхъ и низъ, какъ въ рѣчкѣ. Я объяснилъ это ему.

„Въ рѣчкѣ есть верхъ и низъ“, отвѣтилъ онъ мнѣ, „и въ океанѣ тоже. Мы такъ считаемъ, что начало ему въ горлѣ нашего моря, тутъ верхъ его, а къ Норвегіи низъ. Верхъ и низъ, такъ мы считаемъ и такъ отъ вѣковъ старики считали. Вездѣ есть начало и конецъ и ему гдѣ нибудь предѣлъ Господній назначенъ. А ты, господинъ, меня не перебивай, а то недосказать мнѣ всего. Землица-то святая все ближѣеть, все ближѣеть. Славно несеть. Вотъ другá-бы столько“.

Старикъ спохватился.

„Благодарствуйте, святые угодники, и такъ хорошо, славно несеть!“

„Морозы стояли лютые, у береговъ намерзли льды гладкіе, тонкіе, ровные. О крещенье подула морянка и все

разломало. У берега мелочь, *торось*, стоячій лёдъ, ледины да *ропаки*.<sup>1)</sup> А между стоячимъ льдомъ и ходучимъ водохожь. Самое время выбирать ледину, да спускаться въ море.

Подъ самое крещенье приходятъ ко мнѣ Андрей да Степанъ, да Гаврила.

„Михайло, говорятъ мнѣ, веди насъ въ море!“

„Выбирайте, отвѣчаю я имъ, постарше кого, отъ себя я еще не хаживалъ, людей за собой не водилъ“.

Слушать ничего не хотятъ: веди, да веди.

Поглядѣлъ на нихъ: народъ крѣпкій, дородный. Нашъ Двинской народъ весь рослый, а тутъ отобрался молодець къ молодцу. Поглядѣлъ и, будто я выше стою, по макушкамъ гляжу черезъ нихъ. Теперь-то сила худа стала, а съ молоду я ражій дѣтинушка былъ“.

„Силень былъ?“

„Ничего, была силушка, хвалиться не стану, а въ людяхъ свою работу не оставлялъ. Да и теперь, на старости, день пролежишь, два пролежишь, а, глядишь, и поднялся, и пошелъ, гребешь да гребешь, какъ старый тюлень, дальше, дальше...“

Ну, приходятъ ребята, просятъ: веди ихъ, да веди въ море. Тутъ и я помекаю, чѣмъ я имъ не юровщикъ. Принялъ честь съ радостью, согласился. Къ этимъ тремъ ребятамъ, да еще хорошихъ двухъ подобрали, да еще парня молодого за повара взяли, да Яшку, въ томъ ошиблись, говорятъ-же: въ семьѣ не безъ урода. Восьмой я шелъ, вотъ и вся наша ромша.

Собрались, согласились, пошли къ батюшкѣ молебень отслужили. Послѣ службы при батюшкѣ обѣщались мнѣ повиноваться, изъ подъ моей воли не выходить и чтобы другъ дружку хранить какъ обневолить во льдахъ *порато* (сильно), крестъ поцѣловали!“

<sup>1)</sup> Ропакими поморы называютъ высокія пловучія ледины. Несяками—ледины, задерживающіяся на меляхъ (кошкохъ). Рисунки тѣхъ и другихъ см. стр. 60, 61.

„Тутъ старикъ на минуту пересталь разсказывать, отвернулся къ рулю и тамъ долго завязываль какія-то веревочки.

„Такъ меня Господь и благословиль, продолжалъ онъ потомъ, потому что у насъ природно: отцы ходили и вотъ и мы ходимъ. Отецъ мой сорокъ зимъ юровщикомъ выходилъ и вотъ я. Потому что у насъ природно и терпѣть не могу. Всѣ знаютъ, какой я былъ: справедливый, распорядка хорошая, не бранился, табаку не курилъ. И Господь меня возлюбиль, счастье давалъ, девять лѣтъ за себя ходилъ, а на десятомъ юровщикомъ выбрали, самъ пошелъ своимъ передомъ и крещенныхъ за собой въ море повелъ...

Хорошо, страннички. Стали ребята гулять, пить отвальную, потому на морѣ водки ни-ни. Отъ нея бѣда промыслу. Ребята гуляютъ, а женки въ путь снаряжаютъ, напекли хлѣба, да муки наготовили, да масла, да рыбы сушеной, изъ одежды тоже, что чинять, что шьютъ. Чулки тамъ, одѣвальница, буйно (брезентъ), рукавицы, бахилы. Много всего, всѣмъ домомъ идешь. Ребята гуляютъ, а я все заботу имѣю, все на море поглядываю, да на ледъ, лодки смотрю, въ порядкѣ-ли.

Выпили послѣднюю отвальную, простились съ женками и поплыли на лодкѣ. Вонъ туда, вонъ бугрить“.

Юровщикъ указаль рукой на чуть видный вдали Жигжинскій маякъ.

„Тамъ и спускаемся. Приѣхали къ мысу. На немъ избушка махонькая есть. Развели тамъ огонекъ, грѣмся, въ окошко глядимъ, когда Богъ льдину хорошую дасть. Сутокъ не прождали, гляжу, идетъ льдина, вереть въ пять, бѣлая, что поле.

„Садись, ребята въ лодки, пришелъ, говорю, нашъ часъ“.

Доплыли туда, вытащили лодки, все устроили, какъ надо быть. По Божьему произволенію паль вѣтеръ съ горъ и взялъ насъ. Закрыло родимую сторонунку, только мы и знали ее. Кругомъ море, вверху небо, вездѣ Господня воля, вездѣ Его святая милость.



„Ну, старушки, терпите, это только присказка, а сказка будеть впереди“.

„Вѣтры задули горніе, протяжные, ходко ледина пошла. Въ три дня все море отъ Лѣтняго до Зимняго берега промахнули, показалаь Зимняя Золотица. Только глянули, и закрыло: море, да небо, да ледь ходучій. Тутъ въ скорости начался у насъ и промыселъ. Къ тремъ Святителямъ *бѣлки* родятся, дѣтки звѣриные“.

„И дѣточки есть у нихъ?“ спросила старушка, все еще не забывая про звѣря, похожаго на человѣка, показавшагося за лодкой.

„У каждаго звѣря дѣти есть“, отозвался черный странникъ.

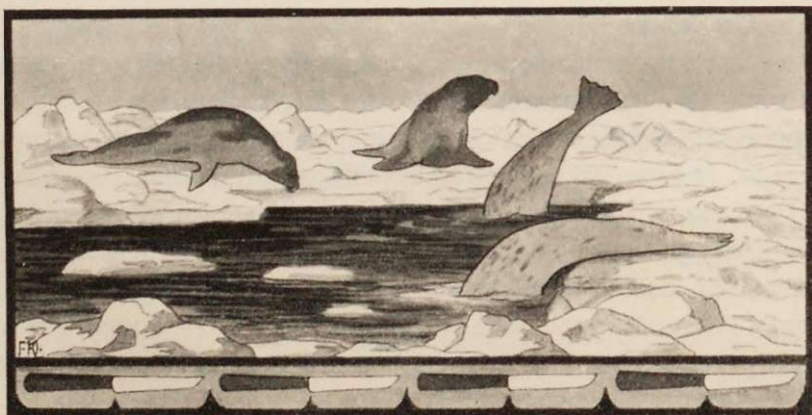
„Отъ дѣтей-то намъ и главная польза, продолжалъ рассказчикъ. На нихъ не нужно и зарядовъ тратить и матерый звѣрь отъ дѣтей не уходитъ, хоть руками бери“.

„Куда-же отъ дѣточекъ уйти пожалѣла старушка“.

„Дѣтей онъ, бабушка, любитъ“.

„Дѣтей каждый звѣрь любитъ“, опять отозвался и черный странникъ.

„Такъ-то такъ“, отвѣтилъ ему поморъ, а только мы по-мекаемъ, что нѣтъ жалосливѣй тюленя. Человѣкъ и чело-



вѣкъ. И устройство свое, въ родѣ какъ-бы начальника, юровщика, себѣ выбираютъ. Изъ пятнадцати штукъ обязательно есть свой начальникъ... Головой помахиваетъ, слушаетъ, а тѣ лежатъ, тѣмъ что. Промахнешься въ начальника, сейчасъ зашевелится, сейчасъ съ льдины въ воду, а тѣ за нимъ, только бульканья считай. Начальника убьешь пулей, чтобы не копнулся, а тѣхъ хоть руками бери.“

Какъ это странно, подумалъ я, тамъ какая то организація и тутъ у людей. Откуда она у нихъ тутъ на льдинѣ и у звѣрей то-же... Какъ жаль, что я не историкъ, не социологъ: я отправился-бы на льдинѣ, изучилъ-бы эту самобытную организацію людей и звѣрей, похожихъ на человѣка, узналъ-бы отчего это.

„Отчего это?“ спросилъ я юровщика.

Вышелъ какой-то неловкій, почти кощунственный вопросъ.

Старикъ посмотрѣлъ на меня досадливо, будто жалѣя, что я роняю свое достоинство и, какъ ребенокъ, задаю нелѣпые вопросы: отчего звѣзды, отчего вѣтеръ.

„Это, господинъ мой, отъ вѣка такъ, отъ Бога. Это не нами начато, такъ вѣкъ идетъ.“

Главное, начальника убить. Онъ стережетъ, его забота. А тѣмъ что. Лежать на солнышкѣ, *ликуются* парами, что человѣкъ. А какъ родить, такъ ужъ ей Богъ показалъ въ воду, обмоется, выстанетъ и лежитъ возлѣ своего рабенка. И ужъ тутъ никуда отъ него не уйдетъ“.

„Куда-же отъ дѣточекъ уйти“, сказала старушка, поглощенная рассказомъ.

„Да... Отползеть немного, смотреть на тебя, matka да батька, всѣ тутъ лежать, такъ много, что грязь. Вереть на сто ложаться, гдѣ погуще, гдѣ порѣже и все звѣрь, все звѣрь. Тутъ и реву у нихъ не мало, потому matka въ воду уйдетъ, а онъ ревитъ. Рабенокъ, рабенокъ и есть. Matka на бокъ повернулась, а онъ сосеть.“

Много звѣря въ тотъ годъ Господь въ наше море послалъ, благословилъ по началу промысломъ. Днемъ бьемъ, пока не смеркнется, а, какъ темно, собираемся на льдину. Карбаса (лодки) вытащимъ и *лецимъ* при огнѣ. Поваръ мучницу грѣтъ. Вызябнешь такъ, что огонь не беретъ. Да и какой огонь на льдинѣ. Дровъ немного, жалѣешь больше хлѣба. Только и согрѣшся, какъ въ лодкѣ подь буйномъ уснешь. Благословилъ Богъ промысломъ, если-бы не Яшкино дѣло, скоро-бы запросили морскаго вѣтра, чтобы домой попадать. А тутъ стали замѣчать: звѣрь шевѣлится. Подходимъ разъ— всѣ въ воду, и другой разъ— тоже, и третій. Ладно, смекаю я, есть грѣхъ у насъ въ ромшѣ. Посчиталъ провизию: калачей не дохватываетъ. Вечеромъ съѣхались на льдину, я товарищамъ: ребята, у насъ въ ромшѣ не ладно, звѣрь зашевелился. Есть грѣхъ! А они въ одинъ голосъ: есть грѣхъ! Яшка молчить. Ты, говорю, Яковъ, что-же молчишь, ай еще калачей захотѣлъ? Начали мы его жать, дальше больше, дальше больше, онъ и повинился. Взяли мы тутъ его разложили на льду и постегали лямками. Такъ насъ отцы и дѣды учили.

И повалилъ-же промыселъ, батюшки свѣты!

Пришли Евдокин. Земля показалась, деревня Кеда.

„Ребята, говорю я, Богъ промысломъ насъ благословилъ, давайте тянуться къ берегу, потому, хоть время и промысловое, а приведетъ-ли Господь въ другой разъ такъ ладно къ берегу подѣхать. Береженаго Богъ бережетъ.“

Смотрю, носы повернули, недовольны. Молодые ребята, задорные. Хотимъ, толкують, дальше промыслять. Мы со старикомъ съ Гавриломъ свое держимъ, они свое. А больше всѣхъ Яшка кричить, ругается, ребятъ сбиваетъ:

„Самый промыселъ, звѣрь загребный плыветъ, а ты ведешь насъ на берегъ!“

Я свое держу строго, усовѣщаваю:

„Крестъ вы мнѣ цѣловали изъ подь моей воли не вы-



ходить, а какъ Яшка баламутить, такъ и еще его постегать можно“.

Опять всѣ на меня.

„Не затѣмъ мы тебя юровщикомъ выбирали, чтобы ты насъ на печку къ бабамъ велъ. Коли ты юровщикъ, такъ веди въ море, а не на печь“.

Дальше больше, дальше больше, и дошло до худыхъ словъ.

„Ну ладно, я имъ, коли вы свое крестное цѣлованіе нарушаете, такъ выбирайте себѣ другого юровщика, выбирайте Яшку, пусть онъ васъ ведетъ, онъ Богу за васъ отвѣчаетъ“.

Ребята маленько поутихли. Мысленное-ли дѣло Яшку юровщикомъ выбрать. И такъ у насъ дѣло остановилось: ни то, ни се“.

„А приказать?“ вырвалось у меня.

Старикъ усмѣхнулся:

„Приказать! Да приказать-то, милый мой, не у чего, кругомъ страсть, пропасть. Тутъ Господь управляетъ, онъ приказываетъ.“

„И то знай, мой милый, что на морѣ ходи по вѣтру, а на людяхъ живи по людямъ“.

„Такъ-то вотъ! Сидимъ на льду, споримъ. А ужъ темница заводитъ. Ребята спать ложатся. Имъ что, какъ за отцомъ идуть, что малые дѣти. А мнѣ не до сна. Сижу на глинкѣ, гдѣ огонь разводимъ, туда и сюда умомъ раскидываю, тепло на глинкѣ, угрѣлся, задремаль. Вижу, будто приходитъ ко мнѣ братъ Андрей, покойникъ, стоитъ противъ меня на льду и говоритъ первый разъ: братъ Михайло, ты пропалъ! И другой разъ говоритъ: братъ Михайло, ты пропалъ! И хочеть ужъ третій разъ проговорить, а я проснулся. Тьма тьмуцая, хоть глазъ выколи, вѣтеръ гудить. Слышу, не тотъ вѣтеръ, не морской, а будто горній. Зажегъ спичку, глянулъ на компасъ и обмеръ: вѣтеръ прямо съ горъ, прямо въ океанъ несетъ, на страсть, на пропасть. Сперва по началу и молишь этого вѣтра, чтобы взялъ въ море, а ужъ какъ

къ океану подойдешъ, молишь морского, этого боишься, да ужъ тутъ не наше дѣло, не мы управляемъ. Лучше шерстиночки не упромышлять, только остаться-бы въ своемъ морѣ.

А у Кедовъ раздѣль: одна вода къ берегу, другая прочь. Вода тутъ яро бѣжитъ, скорѣе птицы летучей. Попали мы въ яроводье: вода да вѣтеръ льдину несутъ, толко шапку на головѣ держи.

„Вставайте, кричу, братья, къ сѣвернымъ кошкамъ (мелямъ) несеть, къ Моржовцу, не наткнуться-бы на *несяки*“ (ледяныя горы на меляхъ).

Встали ребята, поглядѣли, а кругомъ-то страсть, пурга, падара, ледъ трещить, вѣтеръ гудить, только скрипатокъ стоитъ, въ лицо куски летять, стегаетъ, какъ кусками сахара. Старикъ Григорій, какъ пробудился, да поглядѣль кругомъ, перекрестился:

„Божее непомилованіе! Прогнѣвали, братья, Господа, что юровщика не слушались, изъ подъ его воли вышли, нарушили свое крестное цѣлованіе“.

Молятся, каются. Рады-бы теперь по моему, да ужъ не наше дѣло.

„Богъ, говорю имъ, не безъ милости. Тяните лодки къ кромкѣ, можетъ, на Моржовець высадимся. Стало свѣтать. Смотрю на небо и на воду, что Богъ даетъ: воду или ледъ. Мы по небу замѣчаемъ: надъ водой темень держить, а надъ льдомъ бѣль. Вижу бѣлѣть, на льды несеть. Гуще и гуще ледъ, тѣснѣе, тѣснѣе, затерло льдами, что ни входа, ни выхода. И видимъ землю, а поди достань. Разъ обнесло вокругъ острова, разъ *повѣнчалю*, и другой разъ повѣнчалю и заводится въ третій разъ.

„Нельзя ли, говорю, ребята вырубиться изъ сморози, какъ уже плохо наше дѣло, такъ ужъ“...

Только взяли топоры въ руки, насъ тутъ и прочь понесло отъ Моржовца, въ пѣвѣе попали, опять насъ тутъ захватило, ревимъ, тужимъ, печалуемся.

Одну землю закрыло, другую показало. И опять закрыло. Орловъ пронесло мимо. Сердечушко туже, да туже. Ребята на Яшку:

„Ты насъ сбиваль!“

Бранятся, ругаются. Я останавливаю:

„Богу надо молиться, братья, а не ругаться!“

Стихли. Молчать, какъ мертвые звѣри.

„Ничего, говорю, ничего, надѣйтесь на Бога, Кеды не бѣды, Моржовець не пронось, вотъ что скажетъ Канинъ носъ“.

Имъ-то хорошо, хоть и вовсе ложись, спи подъ лодкой. А мнѣ нельзя духомъ опадать. Я опану, а они пуще опануть. Вся печаль моя, они по мнѣ живутъ.

Глядимъ тутъ, льдинку маленькую, ропачекъ, на насъ несетъ и будто звѣри на ней шавѣлятся. Намъ тутъ не до промысла, а только дивуемся, что звѣрь на такой ропачекъ вылѣзъ. Ближе, ближе, а инъ не звѣрь, а люди. Трое. Безъ лодокъ, безъ всего плывутъ. Видимъ, лопашишки, бѣдные, сидятъ на льду, кричатъ намъ, что есть мочи. Понимаемъ, что оторвало отъ берега людей, унесло. Лодку имъ спустили. А они ужъ безъ ума кричатъ: уплавъ насъ за кормой, какъ лысуновъ (тюленей). Перевезли, приняли къ себѣ. Кто-бы ни былъ изъ крещенныхъ, всѣмъ одинаково, всѣ богоданные товарищи. Обогрѣли, напоили, накормили, они и повеселѣли тутъ и закурукали по своему: куру, куру. Только съ лопарями раздѣлились, показался Канинъ носъ: послѣдняя наша надежда.

Поднесло версты на три и опять въ океанъ ладится увести. Мы тутъ было къ лодкамъ, а вокругъ носа ледъ, что каша, не пробиться. Скорѣй назадъ. А льдину все дальше и дальше въ океанъ. И пропаль Канинъ носъ, только мы его и видѣли, улетѣлъ, какъ свѣтлый сонъ.

„Теперь ребята, говорю я, молитесь Богу, надѣйтесь на него. Нужны мы Ему на землѣ, найдеть намъ и въ океанѣ



землю. Есть Новая Земля, есть Самоѣдская земля, мало-ли земель есть. А ежели желаетъ къ себѣ принять, Его воля“... Самъ взялъ щепочку махонькую, двѣ ниточки прицѣпиль, въ родѣ какъ-бы вѣски, и сталъ пищу отвѣшивать, уравнивать, чтобы одному, какъ другому. Дрова тоже, пересчиталь всѣ полѣнья. Потому, хоть и видимый конецъ намъ, а духомъ опадать нельзя“.

Старый юровщикъ помолчалъ немного, повернулъ лодку носомъ прямо къ голому мысу Анзерскаго острова, ближайшаго къ намъ изъ группы Соловецкихъ острововъ. Отъ поворота парусъ зашумѣлъ, и затѣмъ съ шумомъ перекинулся на нашу сторону и закрылъ отъ насъ солнце. Легла холодная тѣнь...

„Видишь“ сказалъ юровщикъ, какое у насъ море. Сейчасъ было жарко; солнце парусомъ закрыло, стало холодно. А въ океанѣ, зимой-то какъ? Все дрожись, весь день. Дрова, какія были, сожгли, стали лодки жечь. Къ Благовѣщенью потеплѣло, стала вода на льдинахъ оттаиваться. Тутъ опять горе: пока снѣгъ таялъ, вода была хорошая, а какъ со льда, такъ и впросолонь. Пищу всю поѣли, стали звѣрину ѣсть. Душная порѣто, другой не можетъ ѣсть, попробуетъ, отвернется и опять въ лодку ляжетъ, а другой такъ и бойко ѣсть, ничего.

Но только и звѣрины больше не стало, порохъ весь разстрѣляли, стали рукавицы ѣсть, ремни отъ ружей, кожу, какая была.

Голодь съиздолилъ. Приходитъ Свѣтлое Христово Воскресенье, а у насъ одно горе.

Но только Богъ не безъ милости. Съ Великаго четверга полетѣли черезъ океанъ птицы, видимо не видимо. И къ намъ на льдину стали чайки садиться. Мы ихъ петлями ловить, всяко Богъ исхитряетъ. Наловили птицы, и встрѣтили Свѣтлый Праздникъ хорошо, вродѣ какъ-бы и разговѣлись. Лды таютъ и таютъ, вотъ вотъ очистится океанъ и намъ конецъ:

разломаеть льдину взводнемъ. Такъ что подъ Егорьевъ день я раздумался и говорю:

„Готовьте, ребяташки, лодки, тянитесь къ самой кромкѣ!“

Такъ и сдѣлали. Ночью поднялась погодушка, Ангелы Хранители! Погодушка, страннички, пала—Божій гнѣвъ. Свистить, гудить, воесть! Сидимъ у кромки ждемъ пропасти...

Вдругъ треснуло, какъ изъ пушки ударило.

„Въ лодки ребята!“

Пали мы въ лодки и все смѣрлось...“

Старикъ опять помолчалъ, кто-то всхлипнулъ въ лодкѣ, и онъ, будто вернувшись откуда-то къ намъ, сказалъ едва слышно:

„Да, дитя, вотъ какая погодушка пала.“

И продолжалъ.

„Только мы льдину и видѣли, на мелкіе кусочки разбило. Тьма, пурга. Взводень выше лѣса, а мы въ лодкахъ.“

Бились ребята, бились, обмерли, весла побросали: сила худа стала, лежать въ лодкѣ, что мертвые.

Раскинулось море морями!

Сижу правлю, парусъ изладить, несеть по взводнямъ, какъ по горамъ. Смотрю на ребятъ, говорю строго:

„Нехорошо, братья, такъ помирать. Бога обижае. Надѣньте чистыя рубашки, помолитесь, проститесь. Такъ нельзя братья“.

А они, что малые рабята, сейчасъ одѣлись, помолились и простились, все какъ надо быть.“

„Не чаялъ, что вынесетъ?“ перебилъ рассказчика пахарь.

„Не надѣялся?“ вырвалось и у меня.

„Нѣтъ, какъ не надѣялся, все маленько подумывалъ въ какомъ вѣтрѣ земля, какъ и что. Мнѣ-же и нельзя, я юровщикъ, я брошу, что будетъ, все юро рассыплется. Они можетъ и про Бога забыли, имъ что, за мной, какъ за отцомъ, идутъ, что малыя дѣти. А мнѣ нельзя. И радъ-бы да нельзя, людей веду, вся печаль моя. Нѣтъ, господинъ, я все на Бога надѣялся.“

Сижу на кормѣ, правлю и парусѣ держу. Не знаю въ какомъ вѣтрѣ земля: въ лѣто, или въ полуночникѣ. Страхъ долить. Стонетъ мачта, плачетъ бѣдная. Птичку махонькую, зибелюшку, откуда-то Богъ послалъ. Съла на мачту и все зибѣ, зибѣ“.

„Въ ненастьѣ птица всегда ближе къ человѣку“, замѣтилъ пахарь.

„Въ погоду, подхватилъ морякъ, и опять на морѣ. Никто ее тамъ не обижаютъ, она и не лукавится. Не у чего ей лукавиться-то. Съла на мачту и вотъ горюетъ, вотъ убивается: зибѣ-зибѣ. Вздремнулъ маленько, руль не выпускаю, а такъ будто помѣркъ.

Вижу стоитъ передо мной вродѣ какъ-бы Преподобный Зосима. Говоритъ мнѣ:

„Михайло, ты меня забылъ!“

Опамятовался. Ничего нѣту. Мачта передо мной стонетъ, да птичка: зибѣ, зибѣ.

Думаю: какой мнѣ-ко разумъ пришелъ. Явственно такъ слышалъ: забылъ. Что забылъ? А вскорости и спохватился. Помолился я тутъ, и далъ обѣщаніе на вѣки нерушимое, чтобы возить странниковъ всю жизнь на Святые Острова“.

Въ этомъ мѣстѣ разказа отъ долгой качки со мной сдѣлалось легкое головокруженіе. Сначала длинный голый мысъ Анзерскаго Острова мнѣ представился Канинымъ носомъ, а кучка богомольцевъ со старикомъ—тѣми пятнадцатью звѣрьми, у которыхъ тоже есть свой начальникъ. Потомъ я слышалъ, какъ странники всѣ подхватили: обѣщаніе, обѣщаніе, обѣщаніе. Головокруженіе продолжалось, вѣроятно, не больше минуты. Я услышалъ обрывокъ рѣчи:

... „а то въ одной рубашкѣ дустить“...

„Кто?“ спрашиваю я, совсѣмъ очнувшись.

„Богъ!“ отвѣчаетъ мнѣ черный странникъ.

Всѣ смотрятъ на меня почему-то удивленно, а юровщикъ особенно внимательно и говоритъ.



„Тебя море бьетъ. Укачало, садись сюда на соломку, тутъ лучше... ничего... сейчасъ на землю выйдешь, все пройдетъ“.

Старый юровщикъ продолжалъ свой рассказъ, но я уже не могъ его слушать такъ внимательно, какъ раньше.

Онъ рассказывалъ о томъ, какъ онъ еще потомъ общалъ лучшую звѣрину Николѣ Угоднику, какъ потомъ, послѣ общанія, стали понемногу опадать волны, разсѣялся туманъ и показался Канинъ носъ. Высадились въ Тиманской тундрѣ едва живые, но тутъ на берегу нашли мертваго тюленя, съѣли и пошли по тундрѣ искать самоѣдовъ. Бродили что-то очень долго, питались мохомъ и костью, какія попадались по дорогѣ. Недѣли черезъ двѣ нашли самоѣдскій чумъ. Тутъ ихъ приняли съ большой радостью, накормили олениной, напоили даже чаемъ.

„Ну и житье-же ваше!“ сказали самоѣды морякамъ.

„Ну и ваше житье тоже,“ отвѣтили они этимъ кочующимъ въ тундрѣ полудикарямъ.

„Мы *тома*“, обидѣлись самоѣды.

Юровщикъ долго и съ удивительной теплотой рассказывалъ странникамъ про самоѣдовъ, называлъ ихъ благодѣтелями, первыми въ свѣтѣ доброжелателями.

Отдохнувши у самоѣдовъ, моряки добыли себѣ лодку, и по рѣкѣ Чешѣ пустились домой.

Женки ихъ встрѣтили, какъ воскресшихъ.

И ѣли же дома!

Послѣ этого случая юровщикъ двѣ зимы не водилъ въ море людей, но потомъ опять взялся за свой рискованный промыселъ.

„Да какъ-же такъ, неужели же жизнь не дорога, чтобы послѣ такого случая опять плавать на льдинѣ?“ спросилъ я.

„Жизнь дорога... смутился старикъ. Жизнь отъ Бога.“

Потомъ что-то долго думалъ, будто искалъ объясненія, и, наконецъ, сказалъ:

„Да поprimѣнись ты на птицъ!“

И рассказали о перелетѣ гусей на Колгуевъ и на Новую землю и о томъ, что одинъ гусакъ летитъ всегда впереди.

Онъ началъ было рассказывать и второй страшный случай на морѣ, но тутъ мы подѣхали къ Покровской часовнѣ на Анзерскомъ островѣ. Всѣ стали молиться и радоваться тому, какъ хорошо пахнетъ земля послѣ моря и какъ на Святыхъ островахъ разными голосами поютъ птицы.

# СОЛОВЕЦКІЙ МОНАСТЫРЬ

(Письма къ другу).

Юня 15-го.



орогой А—ъ М—ъ!

Вы просили меня написать Вамъ изъ Соловецкаго монастыря хорошее письмо. Я знаю, что Вы вышли изъ школы славянофиловъ, что Вы ждете отъ меня какихъ нибудь интимныхъ переживаній въ стѣнахъ этой знаменитой обители. Ничего подобнаго нѣтъ, я чувствую голодь, чувствую себя стѣсненнымъ во всѣхъ отношеніяхъ и мои переживанія грубѣйшія. Но мнѣ хочется скоротать время до всенощной, и я расскажу Вамъ по порядку все, что со мной здѣсь случилось.

Передъ моимъ окномъ море, дымится пароходъ, расквиваются нѣсколько превосходныхъ шкунъ. Налѣво я вижу старинныя стѣны крѣпости, внизу снуютъ богомольцы, будто толпа людей на большой улицѣ. Сейчасъ большая мона-

стырская чайка сѣла на подоконникъ, поглядѣла на меня и задумалась надъ всею этою жизнью внизу.

Это маленькій оживленный городокъ и отсюда монастырь долженъ поразить всякаго своимъ устройствомъ, здѣсь, почти у полярнаго круга. Но я пріѣхалъ сюда не съ параднаго крыльца, а пришелъ съ чернаго хода: изъ отдаленнаго Голгофскаго скита. Напомню Вамъ архипелагъ Соловецкихъ острововъ. Самый большой островъ изъ группы—Соловецкій (окружность болѣе 100 верстъ), на этомъ островѣ и расположенъ самый монастырь, къ юго-востоку два острова Муксалмы, гдѣ помѣщается монастырскій скотъ, на юго-западъ два небольшіе острова Заяцкіе и, наконецъ, къ сѣверо-востоку большой островъ Анзерскій.

Вотъ на этотъ-то послѣдній, отдаленный отъ монастыря (15 верстъ) островъ я и прибылъ съ богомольцами. Странники помолились немного на берегу въ Покровской часовнѣ и поѣхали дальше къ Соловецкому острову, а я остался одинъ, предпочитая переночевать тутъ, въ Голгофскомъ скиту, и попросить монаховъ доставить меня въ Соловецкій монастырь.

Странники уѣхали, а я одинъ сталъ подниматься на Голгофу, довольно высокую гору, на вершинѣ которой и находится скитъ.

Скажу Вамъ: мнѣ было какъ-то не по себѣ. Эти странныя бѣлыя ночи на Бѣломъ морѣ, общеніе съ богомольцами, рассказы моряковъ о ихъ жизни въ льдахъ, гдѣ единственной поддержкой имъ служить Богъ, настроили меня противъ желанія серьезно.

Я размышлялъ о примитивной, стихійной душѣ, какою она выходитъ изъ рукъ Бога...

Когда мы ѣхали по морю, старый кормчій рассказывалъ о промыслѣ на тюленей на льдинахъ. Онъ повѣствовалъ мнѣ всю дорогу, какъ ихъ промысловыя артели уносятъ въ океанъ на льдинѣ и какъ они прощаются тамъ со всѣмъ земнымъ и живутъ одной только вѣрой въ Бога... Однимъ словомъ,



я настроенъ былъ серьезно и меня очень смущала встрѣча съ реальнымъ выраженіемъ этой вѣры. Какъ Вамъ это выразить? Ну, вотъ я никогда не говорилъ съ монахами, я знаю, у нихъ какіе-то свои обычаи, уставъ, хитрость...

Помните, мы съ вами ѣздили въ Череменецкій монастырь? Мы ходили въ саду по дорожкамъ, побывали въ церкви, что-то разговаривали съ монахомъ. И все. Мы удовлетворили свое любопытство, и монахамъ не было до насъ никакого дѣла, будь хоть мы съ Вами ихъ злѣйшіе враги. Но тутъ совсѣмъ другое дѣло. Никто не ходитъ въ монастырь отъ задняго крыльца. Зачѣмъ я пришелъ къ нимъ, кто я такой? Я не богомалецъ, туристы сюда не ѣздятъ, ученые тоже? Кто я такой? Зачѣмъ я сюда забрался? Мнѣ кажется я кого-то обманываю, хочу отвѣчать неприготовленный урокъ.

И вотъ такъ я вступаю въ длинный, довольно темный коридоръ, соединяющій кельи Голгофскаго скита.

Я буду писать Вамъ подробно, фотографически вѣрно.

Меня окружають люди въ черной одеждѣ, въ клобукахъ, оглядываютъ меня подозрительно съ головы до ногъ. Я тоже оглядываю себя и ужасаюсь. Нѣсколько недѣль, проведенныхъ въ глухихъ мѣстахъ, сказались на одеждѣ: высокіе сапоги совершенно грязные, куртка въ смоль отъ лодки, изврвана, котомка (вещи свои я отправилъ на Соловецкій островъ), въ которой гремятъ пустые патроны. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, покрой одежды, мои приемы культурные. Я не богомалецъ, не поморь... Кто же я? Меня спрашиваютъ объ этомъ... Какой стыдъ! Я говорю: по усердію... Богу помолиться. Конечно, никто не вѣритъ. Тогда я отыскиваю глазами настоятеля и, предполагая его въ сѣдомъ старикъ, одѣтомъ въ красивую складчатую мантию, подхожу къ нему и въ ужасѣ вспоминаю, что нужно какъ-то особенно просить благословенія, но какъ я совершенно забылъ.

„Вы отецъ настоятель?“ спрашиваю я очень смущенный.

„У насъ нѣтъ настоятеля, есть строитель, здѣсь скитъ“, отвѣчаютъ мнѣ.

Между тѣмъ монаховъ прибываетъ все болѣе и болѣе, каждый новый оглядываетъ меня съ ногъ до головы, каждый спрашиваетъ: откуда, какъ? Всѣмъ я отвѣчаю: съ лѣшняго берега, по усердію, Богу помолиться—и всѣ изумляются и не вѣрятъ, потому что только самые бѣдные, самые несчастные богомольцы рѣшаются переплыть на лодкѣ восемьдесятъ верстъ открытымъ моремъ. Наконецъ, одинъ изъ монаховъ безъ бороды и усовъ съ какой-то особой монастырской улыбочкой приглашаетъ меня идти за нимъ. Мы поднимаемся во второй этажъ и входимъ въ просторную келью, раздѣленную на двое перегородкой: очевидно спальня и приемная. Въ спальнѣ я вижу образа, передъ ними развернутую священную книгу, у другой стѣны совсѣмъ узенькую кровать. Въ приемной нѣсколько стульевъ, широкая софа съ прекрасными шелковыми подушками. Догадываюсь, что я у строителя. Монахъ усаживаетъ меня на софу, улыбается и говорить ласково:

„Моя келья прохладная, не такъ чтобы какъ нибудь“.

Я отвѣчаю строителю такой-же улыбкой.

„Какъ ваше имячко то святое?“ спрашиваетъ онъ меня.

Я называю. Онъ улыбается, я тоже улыбаюсь, рассматриваю его и замѣчаю, что онъ черезъ свою улыбочку наблюдаетъ меня хитрымъ и дѣльнымъ глазкомъ. Какъ-бы избавиться отъ этой недостойной святого мѣста перестрѣлки? Мнѣ приходитъ въ голову объяснить ему просто, что я отъ географическаго общества, забрелъ сюда случайно, по дорогѣ въ Лапландію. Тогда, думаю я, мнѣ можно не притворяться и не очень усердно посѣщать службу.

„Вы какъ же сюда пожаловали, по усердію-ли... или?“ ..

„Я, батюшка, отъ географическаго общества, занимаюсь изученіемъ жизни поморовъ и вотъ заѣхалъ сюда... и по усердію... конечно, конечно... по усердію“...

„Отъ географи-и-ческаго? улыбается онъ. Но вѣдь у насъ, на Соловецкихъ островахъ, никакой-же географіи нѣту“.

Этого отвѣта я никакъ не ожидалъ. Я принималъ строителя скита за образованнаго человѣка, но вотъ послѣ отрицанія имъ географіи... что же мнѣ дѣлать? Я вдругъ принялся объяснять монаху, что у нихъ удивительна географія, что нигдѣ въ мірѣ нѣтъ такой географіи, я называю географіей и попавшуюся мнѣ на пути осушительную канаву, и хорошее обращеніе монаховъ съ животными, и мужество монаховъ при бомбардировкѣ монастыря англичанами въ 1854 году, и признанную всѣми святость жизни преподобныхъ основателей. Я увлекаюсь, говорю восторженно и подь конецъ рѣчи хочу учестъ эффектъ.

Та-же улыбочка, тотъ-же недověрчивый дѣльный глазъ изучаетъ меня.

Чтобы окончательно его убѣдить, я вынимаю изъ кармана бумагу съ печатью географическаго общества и передаю ему.

Улыбочка сходитъ съ лица, онъ читаетъ и говоритъ съ уваженіемъ:

„А все таки отъ ам...ам...амператорскаго общества. Хоро-о-шее дѣло, хоро-о-шее. У насъ бываютъ гостеньки хорошіе, сла-а-вные. Вотъ было разъ, я тогда въ просфирнѣ служилъ. Вышелъ прогуляться на кладбищѣ, погоду Богъ далъ хорошую, хожу себѣ между могилками. Вижу, господинъ стоитъ у плиты въ аполетахъ, смотреть на нее, а она бѣ-ѣ-лая: чайки задрызгали. Я побѣжалъ, принесъ метлу, воду, обмылъ, метлой стеръ, подрясникомъ протеръ. Онъ и читаетъ. А я подхожу къ нему: какъ, говорю, ваше имячко то святое? Алексѣемъ, говоритъ, меня зовутъ, управляющій дворцомъ Государыни Маріи Ѳеодоровны. Такъ вотъ! Вотъ какіе гостеньки хорошіе бываютъ“.

Я вижу, что теперь уже мое положеніе мѣняется черезчуръ въ другую сторону, хочъ какъ нибудь поправиться, но



монахъ слышать ничего не хочетъ, угощаетъ меня чаемъ, сухарями. Онъ выспрашиваетъ меня подробно: есть-ли у меня жена, дѣти, часто ли я хожу въ церковь, всё мелочи, всё подробности домашней жизни. Зачѣмъ это?

„А вотъ мы съ тобой завтра молебень отслужимъ“, отвѣчаетъ онъ, переходя на ты. „На записочкѣ напишешь: кого о здравіи, кого за упокой. Всѣхъ помянемъ. Да ты не стѣсняйся, клади сахаръ, сахаръ у насъ есть“.

И положилъ мнѣ самъ кусочекъ сахару.

Разговоръ нашъ становился слаще и слаще и, вмѣстѣ съ тѣмъ, странное дѣло, неискреннѣе, почему, не знаю.

Я чувствую его выхитривающую улыбочку и, что самое отвратительное, совершенно такую-же и у себя на лицѣ. Я возмущаюсь, сержусь на себя, но улыбаюсь.

„Мѣсто наше святое, занимаетъ меня монахъ, чудеса бываютъ постоянно“...

„Чудеса!<sup>4</sup> притворно изумляюсь я.

„Мѣсто прославленное, какъ не бывать чудесамъ! Вотъ, какъ англичане-то напали на монастырь—одинъ старичекъ свидѣтель еще живъ, расскажетъ—вотъ-то были чудеса! Стрѣляютъ иноземцы, весь монастырь ядрами завалены, а не горитъ. Дивуются англичане: дымъ валить, а огня нѣтъ. Глянули наверхъ, а тамъ-то чайки, какъ туча: и поливаютъ сверху, и проливаютъ. Ну, конечно, сырость, шишитъ, дымъ валить, а не загорается. Да что это, вотъ и у меня на глазахъ были чудеса“...

„Что вы?“ изумляюсь я, опять очень неискренно, потому что едва собралъ силы преодолѣть улыбку отъ наивнаго разсказа о чайкахъ.

„Пришелъ ко мнѣ Ѳеодоръ, мужичекъ, жалуется, что у него на боку дырка и изъ дырки дурь бѣжитъ. Поглядѣлъ я: дырка въ мѣдный пятакъ, дурь бѣжитъ и онъ щепалочкой ее выковыриваетъ. Ѳеодоръ, говорю я, оставайся Преподобнымъ отработать на два мѣсяца. Хорошо, говоритъ, и остался.

Черезъ недѣлю спрашиваю: Ѳедоръ, бѣжитъ дурь? Нѣтъ, отвѣчаетъ, остановилась. Еще черезъ недѣлю поднялъ я рубашку: и не то что дурь, а и дырки не видно, затянулась“.

Такъ за чайкомъ строитель повѣдалъ мнѣ множество чудесъ въ этомъ родѣ и, наконецъ, спросилъ меня:

„А какъ въ городахъ?“

„Да, ничего, отвѣчаю я, живутъ себѣ и живутъ“.

„А слышно, будутъ проваливаться начинаютъ“...

„Что-о?“

„Да города проваливаются. Вотъ на Кавказѣ одинъ провалился“.

Я возмущаюсь, я защищаю города искренно, честно, рассказываю о землетрясеніяхъ, о вулканахъ. Нѣтъ, говорю я, нѣтъ, города не проваливаются, а это такъ.

И вотъ, я замѣчаю, строитель смотритъ на меня просто, безъ улыбки, серьезными, умными глазами. На мѣстѣ улыбки остались только какія-то кривыя извилистыя линіи. Онъ смотритъ на меня пристально и спрашиваетъ: знаю-ли я Охту, знаю-ли я Маріинскую улицу въ Петербургѣ, бываю-ли я тамъ? Я говорю, что знаю, подробно рассказываю объ Охтѣ. Онъ изумляется: такъ все застроилось.

„А вы развѣ тамъ бывали?“ интересуюсь я.

„Бываль, бываль“, просто и грустно отвѣчаетъ онъ, давно, лѣтъ двадцать прошло, былъ тамъ ломовымъ извозчикомъ.

Стѣна фальши, искусственности рушится между нами, на минуту становится такъ хорошо съ этимъ бывшимъ извозчикомъ, и мнѣ кажется, что потому это такъ, что міръ тотъ за стѣнами монастыря прекрасенъ, что этимъ любимымъ міромъ пахнуло на насъ, какъ на сѣверномъ морѣ ароматомъ земли.

„Ну какъ-же живутъ въ Петербургѣ? — спрашиваетъ онъ меня просто.

Я ему горячо говорю о политическихъ перемѣнахъ за это время, о томъ, какъ живутъ теперь на Охтѣ. Я увле-

каюсь тѣмъ міромъ, который вдругъ мнѣ становится такимъ дорогимъ. Я увлекаюсь, не замѣчаю, какъ извилистыя линіи на щекахъ монаха снова складываются въ улыбку.

„А ужъ половина восьмого, говоритъ онъ, сейчасъ будетъ трапеза“.

„Какъ половина восьмого, солнце садится, одиннадцать!“

„У васъ, говоритъ онъ, а у насъ половина восьмого, а вотъ въ Анзерскомъ скиту восемь, въ Соловецкомъ девять“.

„Какъ это такъ?“

Онъ объясняетъ мнѣ, что время измѣняется потому, что служба должна быть въ опредѣленное время, а монастырскія работы такъ складываются, что служить нельзя, когда требуется. А потому и переводить часы.

„Это ничего, сказалъ монахъ — въ суткахъ остаются тѣ-же двадцать четыре часа“.

Но математика, но астрономія! думаю я про себя и подхожу къ окну.

Что за картина!

„У насъ солнышко, говоритъ монахъ, почти что и не садится, все вотъ тамъ огонекъ виднѣется. И книгу можно всю ночь читать. Все солнышко въ этотъ косячекъ печетъ, все печетъ“.

Полуночный огонекъ глядитъ на насъ съ монахомъ, а мы стоимъ наверху высокой горы и отъ насъ внизъ сбѣгаютъ ели, сверкаютъ озера и море... море... Самимъ Богомъ предназначено это мѣсто для спасенія души, потому что въ этой природѣ, въ этой свѣтлости нѣтъ грѣха. Эта природа будто еще не доразвилась до грѣха.

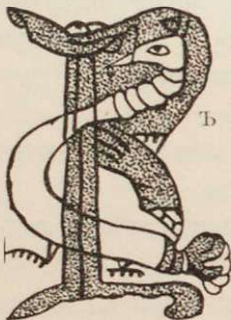
Да, но какъ же это... Города проваливаются... Не признаютъ времени... Быть можетъ это очень высоко... или низко... Свѣтъ это или тьма... Не свѣтъ это и не тьма, вспоминаются мнѣ слова одного религіознаго мыслителя, случайно проснувшіяся во мнѣ, это гробъ и все эти озера, зеленыя ели, весь этотъ дивный пейзажъ не что иное, какъ серебряныя ручки къ черной, мрачной гробницѣ.



Вдругъ въ тишинѣ раздается ударъ колокола.

Это насъ зовутъ на трапезу. Мы спускаемся, идемъ по темному корридору съ какимъ-то особеннымъ монастырскимъ запахомъ...

До свиданья, мой другъ, колокола зовутъ ко всеобщей, неловко не идти, пошлю это письмо, постою немного въ церкви и сейчасъ же примусь за продолженіе.



Въ номеръ много чаекъ, столько-же голубей и воробьевъ. Всѣ они расклеиваютъ мой пирогъ, сдѣланный изъ хвоста той семги, которую мнѣ поднесли поморы, какъ члену государственной думы по фотографическому отдѣленію. Выгнать, вычистить столъ, съѣсть остатки пирога и приступаю писать о трапезѣ въ Голгоѣскомъ скиту.

Вы знаете мой аппетитъ... Но если бы Вы знали, какъ хочется ѣсть человѣкъ, проѣхавшій день по морю на лодкѣ. Я готовъ ѣсть сырое мясо. И это въ монастырѣ, на Голгоѣ! Можно ли, послѣ этого, искренно молиться, думать о серьезномъ?

Первое, что я замѣтилъ въ трапезной: жара. Послѣ я узналъ, что монахи любятъ жару и нагрѣваютъ свои кельи точно такъ-же. Рой монаховъ дожидался насъ у длиннаго стола, уставленнаго двумя рядами металлическихъ тарелокъ. Строитель прочелъ молитву, и всѣ мы усѣлись другъ противъ друга. Я сидѣлъ по лѣвую сторону строителя, у края стола, а по правую, противъ меня, сидѣлъ инокъ съ краснымъ носомъ съ синими прожилками. Помните, въ нашей церкви былъ пьяница-діаконъ, и вотъ какъ разъ такой, лицо въ

лицо. Другихъ монаховъ я какъ-то стѣснялся разглядывать, а сидѣль смирно, созерцая кусочекъ селедки на моей тарелкѣ. Діаконъ тоже созерцалъ свою селедку. Я взглянулъ на него, онъ на меня: „выпить!“ прочли мы въ глазахъ другъ друга. Но тутъ раздался звонокъ, „динь“, послушникъ въ сѣромъ сталъ читать что-то священное изъ книги, строитель благословилъ сельдь и мы принялись ѣсть. Это, конечно, продолжалось одно мгновеніе, чтець, кажется, успѣлъ произнести одно слово: „сѣдохомъ“. Потомъ опять: „динь“... чтеніе... какая-то жидкая пища.

„Какъ называется?“ тихонько спросилъ я діакона.

„Шти-рыба“, шепнулъ онъ мнѣ.

Не могло быть и рѣчи о томъ, чтобы наливать супъ въ тарелочку, она и мала и тамъ остатки селедки. Строитель благословилъ супъ, мы опустили ложки и я увидѣлъ, какъ шти-рыба стекаетъ съ усовъ діакона на тарелочку.

Послѣ шей съ окуневыми головками строитель положилъ ложку и громко дохнулъ изъ себя, за нимъ дохнулъ діаконъ и всѣ монахи.

Какъ это неприлично! подумалъ я, но тутъ-же и самъ дохнулъ и понялъ, что это свойство шти-рыбы.

„Динь“, звякнуло опять, и на столѣ появилась совершенно такая-же пища. Я вопросительно взглянулъ на діакона.

„Шти-лапша“—шепнулъ онъ мнѣ.

Я попробовалъ: совсѣмъ такая, какъ и шти-рыба, но только безъ окуневыхъ головокъ.

Монотонное чтеніе въ тишинѣ, полнѣйшая невозможность поговорить и насытиться постной пищей сильно угнетали меня. Какъ вдругъ маленькій инцидентъ доставилъ мнѣ развлеченіе. Возлѣ строителя откуда-то появилось небольшое черное быстро бѣгущее насѣкомое. Монахъ протянулъ палець, чтобы придавить его, но зацѣпилъ широкимъ рукавомъ шти-лапшу и опрокинулъ ее на колѣни къ діакону. Разсерженный діаконъ быстро ткнулъ пальцемъ насѣкомое, но

промахнулся и оно помчалось дальше между двумя рядами монаховъ. Оно несло, какъ заяцъ между двумя рядами стрѣлковъ, и погибло только на самомъ концѣ стола. Это маленькое насѣкомое насъ взволновало и такъ оживило, что и послушникъ сталъ не такъ монотонно читать свое „сѣдохомъ“.

Я описать Вамъ этотъ маленькій эпизодъ, мой другъ, вовсе не для того, чтобы указать на паденіе нравовъ въ монастыряхъ сравнительно со временами св. Корнилія, который подставлялъ свою обнаженную спину комарамъ. Нѣтъ, это насѣкомое просто дало мнѣ лишь возможность оглядѣться.

Прежде всего я замѣтилъ, что по братіи разлита улыбочка строителя: у послушника въ сѣромъ ея еще нѣтъ, у послушника въ черномъ есть немного, у одного больше, у другого меньше, но почти у всѣхъ. Ахъ, да, у діакона ея нѣтъ совершенно, нѣтъ у одного монашка съ рыженькими усами, беззубый ротъ котораго мнѣ показался полной коллекціей маленькихъ и необходимѣйшихъ человѣческихъ пороковъ. Таковую-же улыбочку я замѣтилъ и на иконахъ святыхъ. Вѣроятно, живописцы такъ изображаютъ лучистость внутренняго я святого, а монахи подражаютъ иконамъ. И чѣмъ богообразнѣе монахъ, тѣмъ и улыбочка больше, чѣмъ грѣшнѣе, тѣмъ меньше. Такова моя теорія, не знаю, вѣрна ли?

Постѣ каши мы долго молились и строитель указалъ мнѣ келью съ двумя койками, натопленную до 40°. Я поблагодарилъ и уже хотѣлъ ложиться, какъ вдругъ вошелъ діаконъ. Онъ оказался хозяиномъ кельи. Я попросилъ у него позволенія отворить окно, онъ съ удовольствіемъ разрѣшилъ и самъ снялъ съ себя подрясникъ, остался въ рубашкѣ, какъ всякій смертный.

„Нѣтъ ли у тебя покурить?“ просить онъ.

„А развѣ можно?“

„Отчего же нельзя... Можетъ и выпить есть?“



Въ моей котомкѣ есть все. Мы усаживаемся къ окну и куримъ. Діаконъ рассказываетъ свою біографію: былъ буфетчикомъ на Охтѣ.

„Тоже, какъ и строитель?— удивляюсь я.

„Нѣтъ, тотъ былъ извозчикомъ, а я буфетчикомъ.“

„А вотъ этотъ съ рыженькими усиками, съ такимъ ртомъ?“

„Тотъ изъ Кіева, у того была своя лавка. А вотъ настоятель монастыря былъ рыбакомъ въ Поморѣ.“

Потомъ діаконъ рассказываетъ мнѣ одну біографію за другой, рассказываетъ, къ моему удивленію, что монахи здѣсь получаютъ довольно большое жалованье, а настоятель кромѣ квартиры и стола 5.000 рублей въ годъ. Діаконъ посвящаетъ меня во все интриги, во все мелочи... И вдругъ мнѣ становится ясно, гдѣ я... Я въ маленькомъ глухомъ русскомъ городѣ, населенномъ богатыми и бѣдными мужичками. И монахи это тѣ-же крестьяне. Это своеобразно устроившіеся русскіе мужики. Теперь меня больше ничто не смутитъ, я знаю, какъ вести себя. Я дѣлюсь своими мыслями съ діаконемъ.

„У васъ, говорю я, какъ у насъ въ маленькомъ городишкѣ“...

„Въ міру“, отвѣчаетъ онъ мнѣ, куда лучше. Люди тамъ проще, лучше. Въ міру, что случится, горе тамъ, или что, выпить, заснуть и кончено. А тутъ въ монастырѣ искорка, а какъ разгорится, чуть что, все извѣстно. Онъ на тебя... хоть бы этотъ рыжий-то, беззубый, смотритъ, смотритъ, копитъ, копитъ, и донесетъ и попадетъ, и некуда дѣться. Вотъ ватничекъ, грошъ цѣна. А семь лѣтъ просилъ, не даютъ. Самъ сдѣлать, плюнулъ на всехъ“.

Такъ мы долго болтали съ діаконемъ и я утромъ пришелъ къ концу службы. Послѣ обѣдни служили молебень для меня и строитель предложилъ вѣчное поминовеніе моихъ родственниковъ въ скиту.

Я смутился.

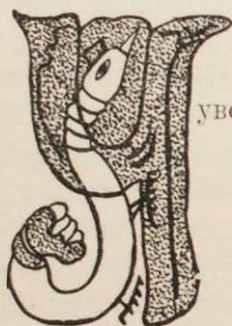
„Можно и на пять лѣтъ“, быстро понялъ онъ меня.

„М—м.“

„На три... На два... На годъ“.

„И на годъ можно?“

„Можно“.



увствую, дорогой другъ, что я болтаю, но я не вижу для себя другого пути. Можно бы проникнуться вѣчностью святыхъ безгрѣшныхъ ночей и излагать Вамъ на ихъ фонѣ премудрость моего карманнаго путевода. Но для чего это? Нѣтъ, я знаю, Вы искренній, живой человѣкъ и горсточка ладана, ложечка постнаго масла, кусочекъ сухой трески Вамъ иногда могутъ больше сказать, чѣмъ разныя такія исторіи...

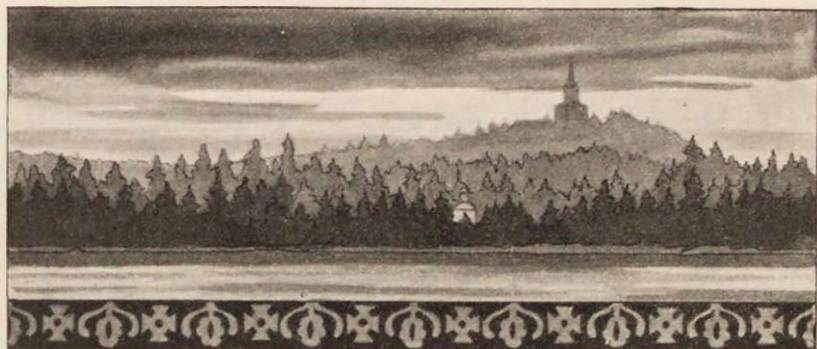
Послѣ обѣдни строитель и діаконъ сказали мнѣ, что и они идутъ на Соловецкій островъ. Мы отправились вмѣстѣ. Дорога возлѣ озера превосходная, яркіе сѣверные листья деревьевъ сгораютъ на солнцѣ изумруднымъ пламенемъ...

Я иду рядомъ съ діакономъ, строитель немного впереди, оба говорятъ мнѣ „ты“ не съ высоты сана, а просто такъ; я отвѣчаю тѣмъ-же и вообще сегодня совѣмъ иначе истолковываю улыбочку одного и красный пось другого.

„Вонъ Ольгофъ, все еще видно, далеко видно,“ обертывается къ намъ строитель и указываетъ рукой на высокую Голгофу.

„Хорошо! Ой, ой, ой... Хорошо! Елочки, березочки, озерки... Откуда все это? Хорошо!“

Нѣсколько странниковъ и странницъ попадаютъ намъ



на встрѣчу: старичекъ, дѣвушка въ черномъ платкѣ и съ красными глазами, полная распаренная женщина, группа сѣрыхъ костромскихъ или вятскихъ мужиковъ въ лаптяхъ.

„Вы къ намъ? останавливаетъ ихъ строитель. Идите, идите съ Господомъ... Вонъ Ольгофъ... видно...“

Они проходятъ, но діаконъ еще долго смотритъ на распаренную женщину.

„Что діаконъ... какъ?..“ улыбнулся я красному носу.

„Да вотъ смотрю: кто жирный, такъ тяжело.“

„Ахъ, діаконъ, діаконъ, вотъ что замѣтилъ, а сѣрыхъ мужичковъ и не видѣлъ!“

Нѣтъ, онъ и ихъ видѣлъ, и отвѣчаетъ:

„Ты не смотри, что они сѣры и въ лаптяхъ, у нихъ карманы полны, съ пустыми карманами не приходятъ“...

Замѣчаніе діакона на минуту собираетъ мое разсѣянное по этимъ озерамъ и лѣсамъ существо въ мысль. Я думаю о томъ, какъ въ сущности неспособно наше духовенство къ фантазии и увлеченію живой мечтой, какъ оно низменно, практично, расчетливо... Но вдругъ изъ лѣса выбѣжала лисица, сѣла на опушкѣ, проводила насъ глазами и не убѣжала... Меня, какъ охотника, это поразило необычайно. А діаконъ сталъ мнѣ рассказывать, что птица и звѣрь у нихъ



вовсе нетращены, лица даже къ нему въ келью повадилась. Черезъ окно лазить и сахаръ воруетъ.

„А куропатки, тѣ вовсе какъ куры: вчера иду по тропинкѣ, вижу, возлѣ березки куропатъ сидитъ. Я за ней, она отъ меня. Бѣгаемъ, бѣгаемъ вокругъ березки. Уморился. Взялъ камешекъ, прогналъ ее, надоѣло“.

Меня приводитъ въ восторгъ рассказъ діакона. Славный онъ человѣкъ, думаю я, вотъ жаль только спился.

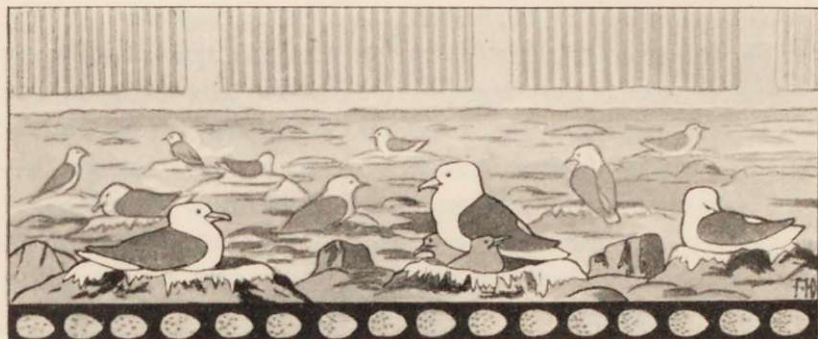
По пути до Анзерскаго скита разъ перебѣжалъ намъ дорогу олень, разъ мы видѣли совсѣмъ близко глухаря. Возлѣ Анзерскаго скита, второго скита на Анзерскомъ островѣ, ограда съ изображеніемъ чайки на воротахъ. Благодаря этой оградѣ, лица не могутъ проникать внутрь и губить гнѣзда чаекъ. Я вошелъ въ эту ограду съ большимъ любопытствомъ. Я много слышалъ объ этихъ историческихъ чайкахъ, всегда любовался на морѣ этими изящными аристократами. Какія онѣ здѣсь?

Я увидѣлъ просторный дворъ, буквально наполненный большими, почти съ гуся величиной, бѣлыми птицами. Всѣ онѣ сидятъ возлѣ еще темныхъ птенцовъ на своемъ маленькомъ квадратикѣ земли. Малѣйшая попытка сосѣдней птицы переступить за предѣлы своей маленькой территоріи вызываетъ въ сосѣдней державѣ отчаянный крикъ и очень часто продолжительную и упорную борьбу. Въ общемъ забавно, но и немного грустно. Точь въ точь такая-же жизнь, о которой ночью рассказывалъ діаконъ. А какъ-же красивы онѣ тамъ на морѣ!

Я направляю свой фотографическій аппаратъ на чаекъ и хочу снять ихъ. Но меня останавливаетъ строитель.

„Нельзя, неловко, надо попросить благословенія у строителя Анзерскаго скита. Да вотъ онъ и самъ. Вонъ идетъ. Ступай, благословись и снимай“.

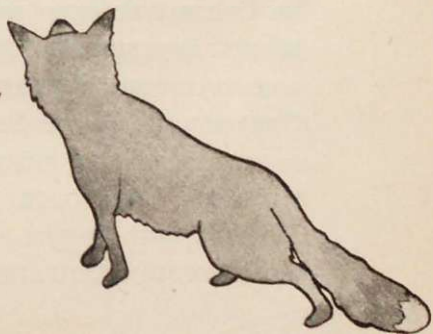
Я иду навстрѣчу строителю по узкой дорожкѣ между двумя рядами чаекъ, готовыхъ при малѣйшей моей неосто-



рожности выклевать мои глаза, и припоминаю, какъ училъ меня діаконъ просить благословенія: нужно сложить ладони лодочкой на груди и потомъ, смиренно склонивъ голову, сказать: „ваше высокопреподобіе, благословите“, и поцѣловать руку. Пока я такъ ренетирую ночные уроки діакона монахъ приближается.

Снимаю шляпу и вдругъ вижу, что обѣ мои руки заняты: въ одной фотографическій аппаратъ, въ другой шляпа. Какъ же быть? Забывъ про чаекъ, я ставлю аппаратъ со шляпой гдѣ-то возлѣ себя на траву, складываю руки, какъ учили, шепчу: „ваше высокопреподобіе, благословите чаекъ снять“ и протягиваю губы къ волосатой и довольно грязной рукѣ. Но въ этотъ самый моментъ чайки бросаются на мой аппаратъ, готовые пронзить острыми клювами его мѣхи. Я отнимаю аппаратъ, но злыя птицы бросаются на меня, клюютъ мнѣ руки, щиплютъ ноги. И вотъ что значитъ маловѣріе: я не испросивъ благословенія, пускаюсь во весь духъ назадъ за рѣшетку. Тамъ діаконъ умираетъ отъ смѣху.

„Я училъ, говоритъ онъ мнѣ, просить благословенія у настоятеля, а не у каждаго іеромонаха. Нужно было просто сказать: благословите ваше преподобіе“.



И какъ же это больно, мнѣ и до сихъ поръ трудно писать...

Послѣ этого инцидента мы идемъ дальше къ проливу и переѣзжаемъ на лодкѣ благополучно къ Соловецкому острову. Здѣсь меня ожидали два маленькія разочарованія. На берегу мы увидѣли нѣсколько убитыхъ тюленей. Сейчасъ только говорили о томъ, что въ Соловецкомъ монастырѣ не убиваютъ животныхъ, а вотъ здѣсь оказывается настоящая звѣроловля. Какъ-же такъ?

Мнѣ объясняютъ, что ихъ убиваютъ не здѣсь, а подалеже, на взморьѣ. Тамъ ставятъ сѣти на отливѣ, а когда вода прилива закроетъ сѣти и звѣри выйдутъ на берегъ, то ихъ пугаютъ и гоняютъ къ сѣтямъ. Тамъ на взморьѣ и убиваютъ, а здѣсь, говорятъ мнѣ, нельзя. Потомъ рассказываютъ, что и оленей ловятъ тоже сѣтями.

Это первое маленькое разочарованіе. Второе состояло вотъ въ чемъ. Когда мы пошли дальше по превосходной дорогѣ лѣсомъ со множествомъ озеръ, мнѣ пришло въ голову зайти къ какому нибудь старцу-подвижнику, побесѣдовать съ нимъ. И сказала объ этомъ строителю. Тотъ улыбнулся моей наивности. Такъ жили раньше, первые подвижники, но теперь даже схимники, слава Богу, могутъ жить въ каменныхъ домахъ, совершенно такъ-же, какъ и другіе монахи. Это было второе маленькое разочарованіе, потому что подвижники въ каменныхъ домахъ для меня неинтересны. Вѣдь такихъ подвижниковъ можно видѣть вездѣ, напримѣръ, въ нашей Александро-Невской лаврѣ, и не зачѣмъ ѣздить на Соловецкіе острова. Я пробовалъ сдѣлать себя понятнымъ моимъ спутникамъ, но они меня не понимали. Они чтутъ память прежнихъ подвижниковъ, но сами живутъ иначе и благодарятъ за это Бога. Послѣ этого я не особенно какъ-то волнуюсь, когда вижу перебѣжавшую дорогу лисицу, тетерку на березѣ, или дикую утку на озерѣ. Мнѣ почему-то кажется, что и тутъ что-то неладно. Хорошо-то хорошо... конечно, это птицы... но все таки это не настоящія-же птицы...



нѣтъ настоящія... но... Вы понимаете... какъ бы вамъ это сказать... Вы знаете, я охотникъ... и вотъ мнѣ охотнику кажется, что у каждой этой птицы есть гдѣ нибудь въ лѣсу каменный домикъ или дачка и что онѣ имѣютъ какую-то обязанность показываться странникамъ по дорогѣ и даже можетъ быть получаютъ небольшое жалованье за это. Но Вы не охотникъ, Вы не поймете этого чувства, когда ищешь птицу, чтобы убить ее, а мечтать о такой странѣ, гдѣ ихъ не убиваютъ, но и не кормятъ и не охраняютъ, а живутъ съ ними попросту, вотъ какъ этотъ діаконъ, который, какъ я Вамъ писалъ, бѣгалъ вокругъ березки за куропаткой и, наконецъ, прогналъ ее камнемъ. За этими двумя разочарованіями послѣдовалъ цѣлый рядъ другихъ, послѣ того какъ мы достигли, наконецъ, Соловецкаго монастыря. Теперь я Вамъ буду писать о томъ, что окружаетъ меня въ настоящую минуту и это гораздо труднѣе. Буду писать урывками на клочкахъ.



Если Вы когда нибудь поѣдете въ Соловецкій монастырь, то усвойте разъ навсегда правило: ѣсть и жить, одѣваться здѣсь такъ же, какъ и простые сѣрые странники. При малѣйшемъ отступленіи отъ этого правила Вы такой-же погибшій человекъ, какъ и я. Вамъ это сдѣлать легче, чѣмъ мнѣ, потому что Вы привезете запасъ неизрасходованныхъ силъ, не такъ какъ я, изморившійся скитаніями въ лѣсахъ и на морѣ.

Подходя къ монастырю, строитель простился со мной и сказалъ, что лучшая гостиница здѣсь Преображенская, но въ ней живутъ богомольцы различныхъ классовъ: внизу

простые, наверху почище, а въ среднемъ этажѣ есть отдѣльные пумерки съ диванчиками и зеркалами. Если бы я былъ одѣтъ почище, то могъ-бы получить отдѣльный нумерокъ, но... Строитель оглядѣлъ меня съ ногъ до головы. Я поспѣшилъ ему сказать, что въ моемъ чемоданѣ, который безъ сомнѣнія теперь уже доставленъ, есть сюртучная пара.

„Тогда съ Богомъ, сказалъ строитель, есть нумерки сла-ав-ные“...

Онъ благословилъ меня, я поцѣловалъ его руку и мы разстались. Я направился къ большому бѣлому зданію у моря, къ Преображенской гостиницѣ. Измученный дорогой, безсонной ночью, я представлялъ себѣ помѣщеніе съ грязными богомольцами адомъ, а отдѣльный нумерокъ величайшимъ счастьемъ: тамъ можно отдохнуть, пописать, обдумать пережитое въ дорогѣ. Нѣтъ, во что-бы, то ни стало я добьюсь нумерокъ...

И иду прямо во второй этажъ и тамъ сажусь на какой-то диванъ въ ожиданіи монаха, распредѣляющаго богомольцевъ. Жду долго, вниманіе мое возрастаетъ, совѣмъ такъ какъ на экзаменѣ—въ ожиданіи очереди. И какъ на зло дверь одной комнатки приотворяется, виденъ край бархатнаго дивана и на немъ лежитъ чудесная дамская шляпа съ перьями. Налѣво отъ меня, балконъ съ видомъ на старинныя стѣны монастыря и море. День солнечный, прекрасный, море синее. Можно подумать, что я не у полярнаго круга, а гдѣ нибудь въ Италіи. Если я хорошенько приодѣнусь, то мое положеніе будетъ почти какъ на южномъ курортѣ. И вотъ эта шляпа съ перьями... Мало ли что можетъ случится! И не въ лѣсахъ только есть прекрасная страна. Что если волшебный колобокъ повернетъ въ другую, противоположную сторону?

Послѣ я узналъ, что шляпа принадлежала губернаторшѣ, что тутъ же былъ и губернаторъ. Но я этого

не зналъ, я видѣлъ отдѣльный номерокъ, край бархатнаго дивана и дамскую шляпу съ перьями, я видѣлъ себя въ черномъ сюртукѣ.

„Тебѣ что тутъ надо?“ услыхалъ я строгій голосъ.

Передо мной стоялъ монахъ гостинщикъ и смотрѣлъ на меня такими недружелюбными, подозрительными глазами.

„Что тебѣ надо?“

„Нельзя ли мнѣ номерокъ. Я путешественникъ. Я туристъ. Мнѣ бы номерокъ“.

Онъ осматриваетъ прежде всего мою котомку.

Это мѣшокъ изъ краснаго полосатаго сукна, которымъ обиваютъ матрацы и мое собственное изобрѣтеніе. Я туда складываю все необходимое и тащу на спинѣ, а когда нужно гдѣ нибудь ночевать, вынимаю все, набиваю травой, мохомъ и великолѣбно сплю. Тамъ у меня сложено все: и перемѣна бѣлья, и кусокъ рыбника изъ семги, поднесенной мнѣ поморами, и пять просфоръ изъ Голгофскаго скита, и бутылка коньяку, и пустые патроны, удочки, блесны...

Монахъ съ отвращеніемъ смотритъ на мой матрацъ и пинаетъ его сапогомъ. Патроны гремятъ.

„Что это тамъ?“

„Это такъ... У меня это такъ... У меня есть здѣсь чемоданъ“.

Но онъ не слушаетъ, а подробно и долго осматриваетъ мою одежду. Она его приводитъ въ смущеніе: грязная, изорванная, но покрой...

Вы знаете мой купленный за границей lagdrock. Это былъ онъ самый, но въ какомъ видѣ, въ смоль...

Монахъ смущенъ и даже трогаетъ пальцами качество матеріала...

„Поди сюда“, кричитъ онъ мальчику-послушнику въ сѣромъ, веди — навѣрхъ, въ общую!“

Рѣшивъ трудный вопросъ, онъ уже, какъ ни въ чемъ



не бывало, привѣтливо и почтительно мнѣ улыбается и ласковымъ голосомъ спрашиваетъ:

„Какъ твое имячко то святое?“

Я ему тоже улыбаюсь, бросаю послѣдній прощальный взглядъ на отдѣльный номерокъ съ дамской шляпой, на балконъ и море, напомнившее мнѣ южный курортъ, и иду за послушникомъ

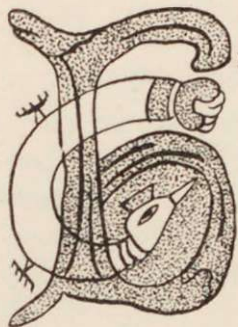


они сожители: семь толстыхъ рыбныхъ купцовъ. У нихъ семь женъ, такихъ же толстыхъ. Жены живутъ напротивъ, но вѣчно возлѣ мужей и хлопчатъ съ самоваромъ, съ рыбниками...

Я не дописалъ фразу и забылъ. Купцы потребовали, чтобы я убралъ свою чернильницу и предложили вмѣстѣ съ ними пить чай. Теперь они ушли молиться и я продолжаю, но фразу забыть. Всего насъ съ женщинами за чайнымъ столомъ пятнадцать человѣкъ. Мы выпили нѣсколько самоваровъ, нѣсколько разъ вытирали потъ съ лица полотенцами. Всѣ купцы, на мой вопросъ, отвѣтили, что они пріѣхали по обѣщанію, но одинъ проговорился, что и по обѣщанію и семгу по дорогѣ купить. Тогда всѣ принялись надъ нимъ смѣяться, начали увѣрять его, что обѣщаніе не дѣйствительно. Надъ несчастнымъ шутили на всякіе лады и, наконецъ, стали громко хохотать:

„Обѣщался на одно дѣло, а инъ два... Ха, ха, ха...“

Долго смѣялись и такъ со смѣхомъ и ушли въ церковь.



быть въ церкви. Масса богомольцевъ, все больше костромичи, вятичи. Измученныя, но счастливыя лица. Въ толпѣ я замѣтилъ семейство цыганъ: женщину, похожую на остарѣвшую Карменъ, двухъ страшно черныхъ цыганъ въ синихъ курткахъ со шнурами, и человѣкъ пять дѣтей мальчиковъ и дѣвочекъ...

Какъ они попали сюда? Кочующій народъ и на Святыхъ Островахъ! Что то странное... Неужели то же по обѣщанію?

Послѣ службы по длинному корридору мы всё толпою двинулись въ трапезную. Возлѣ одной двери монахъ довольно сильно толкнулъ меня въ спину и я попалъ въ большой залъ съ длинными столами и стѣнной съ живописью. Другіе богомольцы шли куда-то дальше и изъ ихъ толпы, я замѣтилъ, нѣкоторые почище попали въ этотъ залъ. Я хотѣлъ было направиться къ одному изъ столовъ, гдѣ я замѣтилъ группу хорошо одѣтыхъ людей. Но энергичное давленіе пальца направило меня въ другую совершенно противоположную сторону. Я устроился рядою съ купцами изъ моего номера и морскимъ унтеръ-офицеромъ. Хорошо я не могъ понять, на сколько классовъ раздѣлялась вся молящаяся толпа, но показалось что-то много...



очень долго бесѣдовалъ съ богомольцами возлѣ Святого озера. Узналъ, что цыгане эти изъ Каргополя, что они бросили свое кочевое житье и купили домъ и теперь, какъ и всё православныя, пришли сюда по обѣщанію. Было странно, что

Кармень не предложила погадать, а цыганята не выпрашивали копѣчку. Во время моей бесѣды съ ними подошелъ ко мнѣ монашекъ и долго подозрительно выспрашивалъ откуда я и кто. Онъ оказался довольно образованнымъ, „многограмотнымъ“, какъ здѣсь называютъ такихъ людей. Узнавъ мои занятія, онъ посовѣтовалъ мнѣ немедленно представиться настоятелю, убѣдить его, иначе меня могутъ арестовать, такъ какъ теперь бываютъ здѣсь подозрительные люди.

Я надѣлъ сюртукъ и продѣлалъ всю церемонію. Настоятель, бывшій рыбакъ-поморъ, оказался тоже членомъ географическаго общества, быстро понялъ меня и разрѣшилъ фотографировать все, что я желаю. У него видъ выхолощеннаго архіерея. Возвращаясь къ себѣ отъ настоятеля, я встрѣтилъ опять монашка, подозрѣвавшаго во мнѣ агитатора.

Въ своемъ парадномъ костюмѣ вѣроятно я былъ неузнаваемъ.

— „Въ какомъ вы номерѣ?“ спросилъ меня восхищено монашекъ.

„Наверху. Съ кущами“.

„Ахъ онъ такой сякой, ахъ онъ такой, сякой, заволновался монашекъ... Этакого господина и въ третій этажъ“.

Черезъ нѣсколько минутъ я былъ въ отдѣльномъ номерѣ, недалеко отъ губернаторскаго семейства...

---

Ночью не спалось, вышелъ побродить. Обходя старинную, всю избитую ядрами стѣну монастыря, услыхалъ я сильный дѣтскій крикъ и невѣроятную брань... Я поспѣшилъ туда. И на берегу Святого озера увидѣлъ такую картину: Кармень, пригнувъ одной рукой дѣвочку за голову къ землѣ, бьетъ ее изо всей силы огромной, какъ мнѣ хочется сказать, „пудовой“ сломанной свѣчей, не бьетъ, а прямо молотитъ несчастную, какъ цѣпомъ, а сама ругается. Пока я



успѣль подойти, истязаніе кончилось, и все семейство цыганъ пошло куда то вдоль берега Святого озера.

Я спросилъ какую то старушку: въ чемъ дѣло. Оказалось, что дѣвочка уронила купленную дорогую свѣчу и сломала и за это получила наказаніе. Старушка, рассказавъ мнѣ, возмущалась:

„Я говорю ей, сломалась свѣча, погрѣй, потай, слѣпи; такъ Богъ легче приметъ, чѣмъ съ бранью... Нѣтъ... Ругается“...

Богомольцы сидятъ на берегу у озера. Вѣроятно имъ душно въ кельѣ. И ночь такая свѣтлая, совсѣмъ какъ день.



ейчасъ я понялъ, почему земля Соловецкихъ острововъ называется въ народѣ святою.

Пришелъ пароходъ, биткомъ набитый странниками. Еще далеко съ моря доносился съ него отвратительный запахъ. Когда я увидѣлъ, сколько ихъ набилось въ пароходъ, увидѣлъ эту грязь, это настоящее истязаніе людей... я ужаснулся. Но потомъ они вышли на берегъ. У нихъ сіяли лица. Въ это время они забыли всѣ трудности пути, все горе.

Потомъ они пошли частью къ Святому озеру купаться, а частью и въ Святыя Ворота въ церковь. Я видѣлъ какъ одинъ мужикъ въ сѣромъ армякѣ долго крестился большими широкими крестами.

Земля обътованная!

Эта простая народная вѣра меня волнуетъ такъ же, какъ зелень лѣсовъ, такъ же какъ природа въ тѣ моменты, когда увлечешься охотой и станешь однимъ изъ тѣхъ лѣсныхъ существъ, которыя живутъ подъ каждымъ деревомъ.



Да непремѣнно-же Святая земля.

Вотъ мой знакомый мужичекъ, добравшійся сюда съ Урала. Онъ измученъ дорогой. Это видно по его краснымъ глазамъ, по впалымъ щекамъ. Но онъ сіяетъ счастьемъ. Онъ сидитъ возлѣ гнѣзда чайки, дѣлится съ матерью и дѣтьми кускомъ своего постного пирога и что-то бормочетъ, оживленно бесѣдуетъ съ птицами. Развѣ это не святой, развѣ такой человѣкъ можетъ кому-нибудь сдѣлать зло, убить кого-нибудь. Я подхожу къ нему.

— Ну, какъ?

— Хо-ро-шо-о!

И все его измученное лицо свѣтится.

Мнѣ просто хочется украсть, отнять у него частицу его счастья.

— Что же хорошаго то? спрашиваю я его.

— Устройство хо-ро-о-шее. Пища хоро-о-шая!

И все... больше ничего. Самъ онъ, какъ я знаю, матеріально не пользуется этимъ устройствомъ, но восторгается именно матеріальнымъ. Такъ онъ, выросшій въ своемъ мелочномъ хозяйствѣ, можетъ выразить свой идеальный миръ.

Дорогой другъ! я кончилъ свои письма. Пароходъ сейчасъ увезетъ меня съ Соловецкихъ острововъ и черезъ недѣлю я попаду въ Лапландію, къ кочующему народу.

Вы знаете меня, Вы не поймете мои письма, какъ собраніе анекдотовъ о монахахъ. Напротивъ, я все это Вамъ писалъ не для того, чтобы глумиться. Соловки, дѣйствительно, Святая земля... но... но... я вѣрю въ это лишь въ то время, когда кормлю съ богомольцами чаекъ. А какъ только прихожу въ монастырскую келью и особенно въ свой отдѣльный номерокъ, то сейчасъ же все исчезаетъ. Хочу писать о чемъ то высококомъ, а выходятъ анекдоты...

Нельзя ли ихъ прочесть какъ-нибудь съ другого конца. Попробуйте. До свиданья, дорогой.

---



## Глава III.

### Солнечныя ночи.

Соловецкія чайки долго летять за нами, прощаются. Потомъ одна за другой отстають, а вмѣстѣ съ ними отстаетъ и тяжелое, мрачное чувство. Навстрѣчу пароходу попадается какой-то дикій, заросшій лѣсомъ островъ. Кто-то мнѣ говорить, что тамъ живутъ два охотника.

— Одни живутъ? спрашиваю я.

— Одинёшеньки. Два корела.

— Какъ-же они живутъ?

— Да ничего. Хорошо.

Тутъ я вспоминаю, что у меня есть ружье, что я охотникъ. Я чувствовалъ себя въ монастырѣ не хорошо, потому что туда идутъ люди молиться... а я... я убѣждалъ за волшебнымъ колобкомъ.

И чѣмъ дальше отъ монастыря, тѣмъ лучше я себя чувствую, чѣмъ дальше, тѣмъ больше море покрывается дикими скалами, то голыми, то заросшими лѣсомъ. Это Карелія—та самая Калевала, которую и теперь еще воспѣвають народные рапсоды въ корельскихъ деревняхъ Архангельской губерніи. Показываются горы Лапландіи, той мрачной Похіолы, гдѣ чуть не погибли герои Калевалы.

Кольскій полуостровъ это единственный уголь Европы, до послѣдняго времени почти неизслѣдованный. Лопари, забытое всѣмъ культурнымъ міромъ племя, о которомъ не такъ

давно (въ концѣ 18 столѣтія) и въ Европѣ разсказывали самыя страшныя сказки. Ученымъ приходилось опровергать общее мнѣніе о томъ, что тѣло лопарей покрыто космами, жесткими волосами, что они одноглазые, что они съ своими оленями переносятся съ мѣста на мѣсто, какъ облака. Съ полной увѣренностью и до сихъ поръ не могутъ сказать, какое это племя. Вѣроятно, финское.

Переходъ отъ Кандалакши до Колы, который мнѣ придется совершить, довольно длинный: 230 верстъ пѣшкомъ и частью на лодкѣ. Путь лежитъ по лѣсамъ, по горнымъ озерамъ, по той части русской Лапландіи, которая почти прилегаетъ къ сѣверной Норвегіи и пересѣкается отрогами Скандинавскаго хребта, высокими Хибинскими горами, покрытыми снѣгами. Мнѣ разсказываютъ въ пути, что рыбы и птицы тамъ непочатый край, что тамъ гдѣ я пойду лопари живутъ охотой на дикихъ оленей, медвѣдей, куницъ...

Меня охватываетъ настоящій охотничій трепетъ отъ этихъ разсказовъ; больше, мнѣ кажется, что я превратился въ того мальчугана, который убѣждалъ въ невѣдомую, прекрасную страну.

Иногда и у самыхъ культурныхъ людей бродятъ дикія капельки крови. Въ зимнюю ночь, въ то время, когда люди еще не успѣли замѣтить уже начавшійся переходъ къ веснѣ, бываютъ видѣнія: засверкаетъ солнце, перекинется мостъ изъ свѣтящихся зеленыхъ листьевъ на ту сторону къ лѣсу.

Зеленая опушка, трава съ широкими листьями, деревья гигантскія, упираются въ небо, невиданные цвѣты, звѣри и птицы умные, добрые.

Страна безъ имени, безъ территоріи!

Когда-то въ ней бывалъ... все знакомо... все забыто...

Мелькнетъ видѣніе и наступаетъ обыкновенное зимнее утро, разумное, дѣльное. Но что то есть еще сверхъ обычнаго? Что это? Ахъ да, скоро весна, облака свѣтятся.

Бродягъ дикія капельки крови и у культурныхъ людей и у запертыхъ въ тюрьму, бродягъ и у дѣтей.

Страна безъ имени, безъ территоріи!

Вотъ куда мы хотѣли тогда убѣжать маленькіе дикари. И по незнанію мы называли ее то Азіей, то Африкой, то Америкой. Но въ ней не было границъ, она начиналась отъ того лѣса, который виднѣлся изъ окна классной комнаты. И мы туда убѣжали.

Послѣ долгихъ скитаній насъ поймали, какъ маленькихъ лѣсныхъ бродягъ и заперли. Наказывали, убѣждали, смѣялись употребляли всѣ силы доказать, что нѣтъ такой страны.

Но вотъ теперь у каменныхъ стѣнъ со старинными со снами, возлѣ этой дикой Лапландіи я со всею горечью души чувствую, какъ неправы были эти взрослые люди.

Страна, которую ищутъ дѣти, есть, но только она безъ имени, безъ территоріи.

\* \* \*

Такъ вездѣ, но въ дорогѣ особенно ясно: стоитъ направить свое вниманіе и волю къ определенной цѣли, какъ сейчасъ же появляются помощники.

Въ виду Лапландіи я стараюсь возстановить то, что знаю о ней. Сейчасъ-же мнѣ помогаютъ мѣстные люди: ба-тюшка, пробывшій среди лопарей двадцать лѣтъ, купецъ скупавшій у нихъ мѣха, поморъ и бывалый странствующій армянинъ. Всѣ выкладываютъ мнѣ все, что знаютъ. Я спрашиваю, что придетъ въ голову. Припоминается длинный и смѣшной споръ ученыхъ: бѣлые лопари или черные? Одинъ путешественникъ увидитъ брюнетовъ и назоветъ всѣхъ лопарей черными, другой блондиновъ и назоветъ всѣхъ бѣлыми.

Почему они, думаю я, не спрашиваютъ мѣстныхъ людей, изъ сосѣдней народности. Попробовать этотъ методъ.



„Черные они или бѣлые?“ спрашиваю я одного купца. Онъ смѣется. Станный вопросъ! Всю жизнь видѣлъ лопарей, а сказать не можетъ, какіе они.

„Да они-же всякіе бываютъ, „отвѣчаетъ онъ, наконецъ“, какъ и мы. И лицомъ къ намъ ближе. Вотъ самоѣды, тѣ не такіе, у нихъ между глазами широко, вѣдь говорятъ же самоѣдское рыло. А у лопарей лицо вострое“.

Потомъ онъ говоритъ про то, что женки у нихъ маленькія. Рассказываетъ про жизнь ихъ.

„Жизнь! Лопская жизнь! Лопскіе порядки маленькіе, у нихъ все съ собой: олень, да собака, да рыбки поймаютъ. Сколотить вѣжу, затопить комелекъ, повѣсить котелокъ, вотъ и вся жизнь.“

„Не можетъ быть, смѣюсь я помору, чтобы у людей жизнь была лишь въ ѣдѣ, да въ оленяхъ. Любятъ, имѣютъ семью, поютъ пѣсни.“

Поморъ подхватываетъ:

„Какія пѣсни у лопина! Они что работаютъ, на чемъ ѣздятъ, то и поютъ. Былъ-ли то олень, поютъ какой олень, невѣста, такъ въ какомъ платьѣ. Вотъ мы теперь ѣдемъ, онъ и запоетъ: ѣдемъ, ѣдемъ.“

Опросивъ помора, я принимаюсь за батюшку.

„Лопари, говоритъ онъ, уноровчивы.“

„Что это?“

„Норовъ хорошій. Придешь къ нимъ, сейчасъ это и такъ и такъ усаживаютъ. И семью очень любятъ, дѣтей. Дѣтьми, такъ что можно сказать, тѣшатся. Уноровчивые люди. Но только робки и пугливы. Въ глаза прямо не смотрятъ. Чуть стукнешь весломъ, сейчасъ уши наострятъ. Да и мѣста то какія: пустыня, тишь.“

Лапландія находится за полярнымъ кругомъ, думаю я, лѣтомъ тамъ солнце не заходитъ, а зимой не восходитъ и въ тьмѣ сверкаютъ полярные огни. Не оттого-ли и люди тамъ пугаются. Я еще не испытывалъ настоящихъ солнеч-

ныхъ ночей, но и то отъ Бѣломорскихъ бѣлыхъ ночей уже чувствую себя другимъ: то взвинченнымъ, то усталымъ. Я замѣчаю, что все живетъ здѣсь иначе, у растений такой напряженный зеленый цвѣтъ: вѣдь, они совѣмъ не отдыхаютъ, молоточки свѣта стучать въ зеленые листья и день и ночь. Вѣроятно, тоже и у животныхъ, и у людей. Этотъ батюшка, какъ онъ себя чувствуетъ?

„Ничего, ничего отвѣчаетъ онъ, это привычка. И не замѣчаемъ...“

„Вы какъ?“ спрашиваю я куща...

„Тоже ничего... Вотъ только говорятъ, будто подрядчикъ одинъ нанялъ рабочихъ на югѣ отъ солнца до солнца.

Всѣ хохочуть: поморъ, купецъ, батюшка, армянинъ.

„Не вѣрьте никому про полуночное солнце, говорить мнѣ странствующій армянинъ. Никакого этого солнца нѣту“.

„Какъ нѣту?“

„Какое тамъ полуночное солнце... солнце и солнце, какъ и у насъ на Кавказѣ“.

\* \* \*

**12 Июня.**  
**Кандалакша.**

Я за полярнымъ кругомъ. Если взойти на „Крестовую гору“, то можно видѣть полуночное солнце, но мнѣ нельзя уставать: утромъ я выйду въ Лапландію: изъ 230 верстѣ разстоянія отъ Кандалакши до Колы значительную часть придется пройти пѣшкомъ.

Я много думаю объ этомъ полуночномъ солнцѣ и о темныхъ ночахъ. Лягу, закрою глаза, станетъ темно... Какъ странно то, что я теперь въ Лапландіи, а въ этой русско-корельской деревушкѣ нѣтъ ни одного кочевника. На границѣ двухъ народностей всегда-же есть переходные типы. Но тутъ только русскіе и корелы. И тѣмъ загадочнѣе кажется этотъ мой путь черезъ горную Лапландію. Въ Кандалакшѣ ни

одного лопаря, ни одного оленя. Кажется, я въ дверяхъ панорамы: за спиной улица, но вотъ я сейчасъ возьму билетъ, подойду къ стеклу и увижу совсѣмъ другой, не похожій на нашъ, мѣръ.

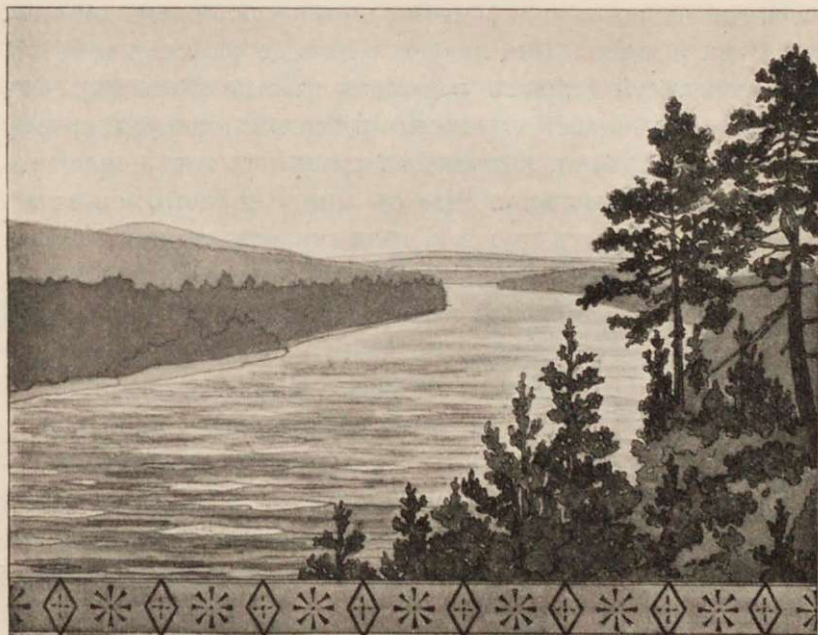
Хозяинъ-поморъ помогаетъ мнѣ набивать патроны на куропатокъ и глухарей. Нѣсколько штукъ мы заряжаемъ пулями на случай встрѣчи съ медвѣдемъ и дикимъ оленемъ.

\* \* \*

**13 Юня.**

**Рѣка Нива и  
Озеро Имандра**

Изъ нѣдръ Лапландіи, изъ большого горнаго озера Имандра въ Кандалакшу сплошнымъ водопадомъ въ тридцать верстъ длиною несется рѣка Нива. Путь пѣшеходовъ лежитъ возлѣ рѣки въ лѣсу. Другой, строящійся путь для экипажей проходитъ въ сторонѣ отъ рѣки. Нѣкоторое время мы съ проводникомъ





идемъ по этой второй дорогѣ. Потомъ я ухожу отъ него къ Нивѣ поискать тамъ птицъ. Мы разстались и лѣсъ обступилъ меня, молчаливый, чужой. Какой бы ни былъ спутникъ, но онъ говорить, улыбается, кричитъ. Но вотъ онъ ушелъ и вмѣсто него начинается говорить и это пустынное безлюдное мѣсто. Ни одного звука, ни одной птицы, ни малѣйшаго шелеста, даже шаги не слышны на мягкомъ мху. И все-таки что-то говорить... Пустыня говорить...

Хорошо и больно. Хорошо, потому что въ этой тишинѣ ожидаешь такую свѣтлую, чистую правду. И больно, потому что внезапно изъ далекаго прошлаго выбѣгаютъ сѣренькія мысли, какъ маленькіе хвостатые звѣрки.

Эта сѣверная природа потому и волнуетъ, потому такъ и тоскуетъ, что въ ней глубокая старость, почти смерть вплотную стоитъ къ зеленой юности, перешептывается съ ней. И одно не бѣжить отъ другого.

Такъ я иду и, наконецъ, слышу шумъ, будто отъ поѣзда, невольно ожидаю, что свистокъ прорѣжетъ тишину. Это Нива шумитъ. Она является мнѣ въ рамкѣ деревьевъ, въ перспективѣ старыхъ высокихъ варокъ (холмовъ). Она мнѣ кажется дикимъ страннымъ ребенкомъ, который почему то жгетъ себѣ руки, выпускаетъ кровь изъ жилъ, прыгаетъ съ высокихъ балконовъ. Что съ нимъ сдѣлать, съ этимъ ребенкомъ, думаютъ круглая, голая головы старцевъ у края рѣки. И ползутъ отъ одной головы къ другой сѣрныя мысли, какъ просыпающійся въ горахъ туманъ. Или это туманъ такъ ползетъ, какъ мысли. Не знаю, но лапландскія вараки совѣмъ головы старцевъ, туманъ, какъ старыя мысли, а рѣка-водопадъ ненормальный ребенокъ.

Я иду возлѣ Нивы въ лѣсу, иногда оглядываюсь назадъ, когда угадываю, что съ какого нибудь большого камня откроется видъ на ряды курящихся холмовъ и на длинный скатъ потока, уносящаго въ Бѣлое море безчисленные бѣлые кораблики пѣны.

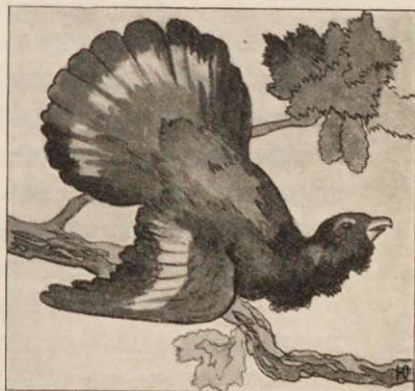
Комаровъ нѣтъ. Мнѣ столько говорили о нихъ и ни одного. Я могу спокойно всматриваться, какъ ели и сосны у подножья холмовъ стовариваются бѣжать навверхъ, какъ они бѣгутъ на горы. Вотъ, вотъ возьмутъ приступомъ гору. Но почему то неизмѣнно у самой верхушки мельчаютъ, хирѣютъ и всѣ до одной погибаютъ.

Бываетъ такъ, что, когда я такъ стою, вдругъ изъ подъ ногъ вылетаетъ съ крикомъ птица. Это обыкновенная куропатка, обыкновенный крикъ ея. Но тутъ въ тишинѣ незнакомаго лѣса при нервномъ говорѣ рѣки-водопада я слышу въ ея крикѣ не то дикій смѣхъ, не то предупрежденіе о безпощадности рока. Я стрѣляю въ это желто-бѣлое пятно, какъ въ сказочную колдунью, и часто убиваю.

Иду все впередъ и впередъ. Тишина лѣса и бѣснованія Нивы и ожиданіе взлета птицъ, похожихъ на лапландскихъ чародѣевъ, все это придумано для меня. Отъ всего этого во мнѣ будто натягивается струна, выше и выше, и вотъ уже нѣтъ звуковъ: ноги и тѣло вѣроятнo идутъ, но самъ я гдѣ-то порхаю. Каждую частицу себя ощущаю, но самъ не знаю гдѣ. Поймать бы, уловить, описать это разбросанное въ лѣсу существо человѣка. Но это невозможно.

Вдругъ съ страшнымъ трескомъ прямо изъ подъ моихъ ногъ вылетаетъ глухарь и сейчасъ-же другой.

Эта птица для меня была всегда загадочной и недоступной. Разъ, давно, я помню ночь въ лѣсу въ ожиданіи пѣсни этого царя сѣверныхъ лѣсовъ. Помню, какъ въ ожиданіи пѣсни просыпались болота, сосны и какъ потомъ въ низинѣ на маленькомъ чахлому деревцѣ птица вѣромъ раскинула хвостъ, будто боролась за темную ночь въ ожиданіи восходящаго



солнца. Я подошелъ къ ней близко, почти по грудь въ холодной весенней водѣ. Но что-то помѣшало и птица улетѣла. Съ тѣхъ поръ я больше не видѣлъ глухаря, но сохранилъ о немъ воспоминаніе, какъ о какомъ-то одинокомъ таинственномъ геніѣ ночи. Теперь двѣ громадныя птицы взлетѣли изъ подъ ногъ при полномъ солнечномъ свѣтѣ. Я прихожу въ себя только послѣ того, какъ птицы исчезаютъ за поворотомъ рѣки у высокой сосны. Онѣ тамъ вѣроятно сѣли въ траву, успокоятся немного и выйдутъ къ рѣкѣ пить воду.

Вотъ тутъ только, тутъ и происходитъ, наконецъ, то таинственное переселеніе меня за тысячелѣтія назадъ. Этотъ моментъ неуловимъ. Неизвѣстно, когда онъ наступитъ. Это мгновеніе будто снопъ зеленаго свѣта, цѣлый потокъ огромныхъ исцѣляющихъ силъ. Пусть надъ нами охотниками смѣются культурные люди, пусть она имъ кажется невинной забавой. Но для меня это тайна, такая же какъ вдохновеніе, творчество. Это переселеніе внутрь природы, внутрь того міра, о которомъ культурный человѣкъ стонетъ и плачетъ. Мнѣ кажется, что такъ же долженъ чувствовать себя убѣжавшій изъ клѣтки звѣрь. Подбѣжить къ лѣсу, остановится, задумается и пустится въ чащу.

Я звѣрь, у меня все приемы звѣря. Изгибаюсь, перескакиваю съ кочки на кочку, зорко гляжу на сухіе сучки подъ ногами. Сейчасъ, когда я вспоминаю объ этомъ, я чувствую во рту почему-то вкусъ хвои, запахъ ея и запахъ сосновой коры. И неловкость въ локтяхъ. Почему? Да вотъ почему. Сосны куда-то исчезли и я уже не иду, а ползу по какимъ-то колючимъ и острымъ препятствіямъ къ намѣченному дереву. Я доползаю, протягиваю ружье впередъ, взвожу курокъ и медленно поднимаю голову.

Рѣки нѣтъ, птицъ нѣтъ, лѣса нѣтъ, но за то передъ глазами такой покой, такой отдыхъ. Я забываю о птицахъ, я понимаю, что это все смѣло не то. Я не говорю себѣ это Имандра, горное





озеро. Нѣтъ, я только пью это вѣчное спокойствіе. Можетъ быть и шумить еще Нива, но я не слышу.

Имандра это мать, молодая спокойная. Быть можетъ и я когда нибудь здѣсь родился, у этого пустыннаго спокойнаго озера, окруженнаго чуть видными черными горами съ бѣлыми пятнами. Я знаю, что озеро высоко надъ землей, что тутъ теперь солнце не сходитъ съ неба, что все здѣсь прозрачно и чисто и все это потому, что очень высоко надъ землей, почти на небѣ.

Никакихъ птицъ нѣтъ. Это лапландскіе чародѣи сдѣлали такъ, чтобы показать свою мрачную Похіолу съ прекрасной стороны.

На берегу съ песка поднимается струйка дыма и возлѣ нея нѣсколько неподвижныхъ фигуръ. Это, конечно, люди, звѣри не разводятъ же огонь. Это люди, они не уйдутъ въ воду, если къ нимъ подойти. Я приближаюсь къ нимъ, неслышно ступаю по мягкому песку. Вижу ясно: котелокъ виситъ на рогаткѣ, вокругъ него нѣсколько мужчинъ и женщинъ. Теперь мнѣ ясно, что это люди, вѣроятно лопари, но такъ непривычна эта свѣтлая прозрачность и тишина, что все кажется: если сильно и неожиданно крикнуть, то эти люди непременно исчезнутъ, или уйдутъ въ воду.

„Здравствуйте!“

Всѣ повертываютъ ко мнѣ головы, какъ стадо въ лѣсу, когда къ нему подходитъ чужая собака, похожая на волка.

Я разглядываю ихъ: маленькій старичекъ, совсѣмъ лысый, старуха съ длиннымъ острымъ лицомъ, еще женщина съ ребенкомъ, молоденькая дѣвушка кривымъ финскимъ ножомъ чистить рыбу, и два мужчины, такіе-же, какъ русскіе поморы.

„Здравствуйте!“

Мнѣ отвѣчаютъ чисто по русски.

„Да вы русскіе?“

„Нѣтъ, мы лопари.“

„А рыбки можно у васъ достать?“

„Рыбка будетъ.“

Старикъ встаетъ. Онъ совсѣмъ маленькій карликъ съ длиннымъ туловищемъ и кривыми ногами. Встаютъ и другіе мужчины, повыше ростомъ, но тоже съ кривыми ногами.

Идутъ ловить рыбу. Я за ними.

Такой прозрачной воды я никогда не видалъ. Кажется, что она должна быть совсѣмъ легкой, невѣсомой. Не могу удержаться, чтобы не попробовать: холодная, какъ ледъ. Всего двѣ недѣли, говорятъ мнѣ, какъ Имандра освободилась отъ льда. Холодная вода и потому, что съ горъ — на лѣво горы Чуна-тундра, направо чуть видны Хибинскія — непрерывно все лѣто стекаетъ тающій снѣгъ.

Мы скользимъ на лодкѣ по прозрачной водѣ въ прозрачномъ воздухѣ. Лопари молчатъ. Надо съ ними заговорить: „Какая погодка хорошая!“

„Да, у Святого Духа погоды хорошія!“

И опять молчатъ. Хорошая погода, но какая-то странная. Вѣроятно такой день былъ послѣ потопа, когда только начала сбывать вода. Вся эта грѣшная земля, тамъ внизу, залита водой, остались только эти черныя верхушки горъ съ бѣлыми пятнами. Все успокоилось, потому что все умерло.

И смертную тишину насквозь пронизали лучи вѣчнаго солнца. Нашъ ковчегъ скользитъ въ тишинѣ. Вода, небо, кончики горъ. Хорошо бы теперь выпустить голубя! Быть можетъ онъ принесетъ зеленую вѣтвь. Нѣтъ, еще рано, все это скрыто тамъ въ глубинѣ прозрачной воды.

Достаю мелкую монету и пускаю въ воду. Она превращается въ зеленый свѣтящійся листикъ и начинается тамъ порхать изъ стороны въ сторону. Потомъ дальше въ глубинѣ она свѣтится изумруднымъ свѣтомъ и не исчезаетъ. Ея зеленый глазокъ смотритъ оттуда изъ затопленныхъ садовъ и лѣсовъ сюда наверхъ въ страну незаходящаго солнца.

Можетъ быть теперь выпустить голубя?

Какъ-бы хорошо съ высоты спуститься туда куда нибудь внизъ въ густую перепутанную траву между яблонями въ темную, темную ночь...

„Пбучь, пбучь!“ вдругъ говоритъ старикъ гребцу.

„Что это значить?“

„Это значить: поскорѣй ѣхать.“

И сейчасъ-же еще:

„Сѣгъ, сѣгъ!“

Это значить, узнаю я, ѣхать тише.

Мы у „продольника“, которымъ ловятъ рыбу, и теперь начинаемъ его осматривать. Это длинная веревка, опущенная на дно, со множествомъ крючковъ. Одинъ гребетъ, а другой выбираетъ веревку съ крючками и все приговариваетъ свое: „поучь-поучь, сѣгъ-сѣгъ!“

Въ этомъ горномъ озерѣ за полярнымъ кругомъ должна водиться какая нибудь особенная рыба. Я, какъ многіе охотники съ ружьемъ, не очень люблю рыбную ловлю, но здѣсь съ нетерпѣніемъ жду результата. Долго приходять только пустые крючки. Наконецъ, что то зеленое, совсѣмъ какъ моя монета, свѣтится въ глубинѣ, и то расширится до огромныхъ размѣровъ, то сузится въ ленту.

„Поучь-поучь!“ кричу я радостно.



Всѣ смѣются. Это вовсе не рыба, а кусочекъ бѣлой „наживки“ на крючкѣ.

„Сѣгъ-сѣгъ!“ печалуюсь я.

И опять всѣ смѣются.

Теперь я понимаю въ чемъ дѣло, принимаю команду на себя и повторяю: „поучь-поучь, сѣгъ-сѣгъ!“

Лопари радуются, какъ дѣти, вѣрно имъ скучно молчать на этомъ пустынномъ озерѣ.

Потомъ мы вытаскиваемъ одну за другой серебристыя, большія рыбы.

Голецъ — родъ форели, обитатель полярныхъ водъ.

Кумжа — почти такая-же, какъ семга.

Палія...

Все рѣдкія, дорогія рыбы.

„А эта какъ называется... Сигъ?“

Старикъ молчитъ, хмурится, чѣмъ-то напуганъ, оглядываетъ насъ.

„Поучь - поучь“, говорю я. Но мое средство не дѣйствуетъ. Испуганный старикъ отрываетъ отъ себя пуговицу, привязываетъ къ сигу, пускаетъ въ воду и что-то шепчетъ.

Что бы это значило?

Но лопарь молчитъ. Темная спина рыбы быстро исчезаетъ въ водѣ, но пуговица долго порхаетъ вниз, какъ свѣтлая изумрудная бабочка.

Что бы это значило? Вотъ она Похиюла, страна чародѣевъ и карликовъ. Начинается!

Только послѣ двухъ-трехъ десятковъ драгоценной форели и кумжи устанавливаются у насъ прежнія добрыя отношенія. Покончивъ съ осмотромъ перемета, мы плывемъ обратно къ берегу, гдѣ виднѣется дымокъ отъ костра.

Подъѣзжаемъ. Тѣ-же самые люди, въ совершенно такихъ же позахъ, сидятъ не шевелятся, даже котелокъ по-прежнему виситъ на рогаткѣ. Что-же это они дѣлали цѣлыхъ два часа. Осматриваю: у дѣвушки на колѣнахъ нѣтъ рыбы.

Значить, за это время они съѣли рыбу и теперь, насытившись, попрежнему смотрятъ на пустынную Имандру.

„Поучь-поучь! привѣтствую я ихъ.

Всѣ смѣются мнѣ. Какъ просто острить въ Лапландіи!

Теперь варить уху изъ форели. Вотъ она, вотъ она жизнь съ котелкомъ у костра. Вотъ она дивная свободная жизнь, которую мы искали дѣтьми. Но теперь еще лучше, теперь я все замѣчаю, думаю. И хороше-же на Имандрѣ, въ ожиданіи ухи изъ форели!

Я достаю изъ котомки свой котелокъ. Это обыкновенный синій эмалевый котелокъ. Но какой эффектъ! Всѣ встаютъ съ мѣста, окружаютъ мой котелокъ и быстро говорятъ по своему о немъ. Потомъ, пока дѣвушка своимъ кривымъ ножомъ чиститъ для меня рыбу, всѣ попрежнему усаживаются вокругъ костра. Котелокъ переходитъ отъ одного къ другому, какъ дивная невиданная вещь. Но у меня еще есть карандашъ въ оправѣ, складная чернильница, ножъ и англійскія удочки-блесны на всякую рыбу. Вещи переходятъ отъ одного къ другому. Когда кто нибудь долго задерживаетъ, я говорю: „поучь“. Тогда всѣ смѣются и вещь быстро совершаетъ полный оборотъ вокругъ костра съ котелкомъ. Это что-то въ родѣ игры въ веревочку, но только въ Лапландіи на берегу Имандры.

Если не забыть съ собой лавроваго листа и перцу, то уха изъ форели въ Лапландіи глубоко, безконечно вкусна. Я ѣмъ, а молодая лапландка-хозяйка указываетъ мнѣ на розовые и желтые куски рыбы въ котелкѣ и угощаетъ:

„Волочи, волочи, ѣшь!“

За это я даю ей лавровый листикъ. Она его нюхаетъ, лижетъ и передаетъ другимъ. Всѣ удивляются листику и такъ ясно, такъ очевидно довольны, что я, растянувшись на песокъ у костра, глотаю кусокъ за кускомъ ихъ вкусную рыбу.

\* \* \*

### По Имандрѣ.

Путь по Лапландіи отъ Кандалакши до Колы остался тотъ же, какъ во времена Новгородской колонизации. Совершенно такъ же шли и Новгородцы на Мурманъ, и до послѣдняго времени рыбаки-покрученники изъ Поморья.

Теперь въ разныхъ мѣстахъ пути выстроены избы, станціи, возлѣ каждой станціи живетъ группа лопарей и занимается частью охотою на дикихъ оленей въ Хибинскихъ горахъ, частью рыбною ловлей въ озерахъ и немного оленеводствомъ.

Чтобы узнать хоть сколько нибудь мѣстную жизнь, нужно непремѣнно отклониться отъ традицій путевода, нужно создать себѣ непредусмотрѣнныя тамъ препятствія и побѣдить ихъ. Это мое правило.

Какъ бы провести тутъ время по своему, думаю я. Проѣхать этотъ путь и познакомиться немного съ жизнью людей, съ природой... Не пуститься-ли черезъ Хибинскія горы къ оленеводамъ? Тамъ поселиться на время въ вѣжѣ...

Мы долго совѣщаемся объ этомъ съ старикомъ Василюемъ, почти рѣшаемъ уже отправиться черезъ Хибинскія горы, но сынъ его не совѣтуетъ. Лопари перекочевали оттуда, и мы можемъ напрасно потерять недѣлю. Мало по малу складывается такой планъ. Мы поѣдемъ на Олений островъ по Имандрѣ, тамъ живетъ другой сынъ Василя, стережетъ его оленей, тамъ мы проживемъ немного и отправимся въ Хибинскія горы на охоту.

Вѣтеръ дуетъ намъ походный. Зачѣмъ бы ѣхать со мной всему семейству, лишній проводникъ стоитъ денегъ. Я совѣтую старику остаться. Онъ упрощиваетъ меня взять съ собой.

„Денегъ, говоритъ онъ, можно и не взять, а вмѣстѣ веселѣ.“

Какъ это странно звучить. Вотъ уже сколько я ѣду и не разу не слыхалъ этого... Приглядываюсь къ старику,



ищу русскую хитрецу... ничего нѣтъ... какое-то легкомысленно-мечтательное выраженіе, будто и не старикъ.

Мы ѣдемъ всѣ вмѣстѣ. Двое гребутъ. Вѣтеръ слегка помогаетъ. Лодка слегка покачивается. Передо мной на лавочкѣ сидятъ женщины: старуха и дочь ея. Лица ихъ совсѣмъ не русскія. Если бы можно такъ просто рѣшать этнографическіе вопросы, то я сказалъ бы, что старуха еврейка, а дочь японка, маленькая, смуглая со скошеннымъ прорѣзомъ глазъ. Черные глаза смотрятъ загадочно и упорно; моргнуть, словно насильно, и опять смотреть и смотреть долго, пока не устанутъ, и снова моргнуть. На головѣ у нея лапландскій „шамширь“, похожій на шлемъ Афины Паллады, красный. Мы ѣдемъ какъ разъ противъ солнца, лодку слегка покачиваетъ и я вижу, какъ блестящій странный уборъ дѣвушки мѣняется съ солнцемъ мѣстами. Это дочь Похиолы, за которой шли сюда герои Калевалы.

Немного неприятно, когда смотрятъ въ глаза и ничего не говорятъ. Я замѣчаю на уборѣ дѣвушки нѣсколько жемчужинъ. Откуда онѣ здѣсь? Приглядываюсь, трогаю пальцемъ.

„Жемчугъ! Откуда у васъ жемчугъ?“

„Набрала въ ручѣ“, отвѣчаетъ за нее отецъ. „У насъ есть жемчужины по сто рублей штука“.

„И платятъ?“

„Нѣтъ, не платятъ, а только такъ говорятъ“.

„Какой прекрасный жемчугъ, говорю я, дочери Похиолы, какъ вы его достаете.“

Вмѣсто отвѣта она достаетъ изъ кармана грязную бумажку и подаетъ.

Развертываю: нѣсколько крупныхъ жемчужинъ. Я ихъ беру на ладонь, купаю въ Имандрѣ, завертываю въ чистый листикъ изъ записной книжки и подаю обратно.

„Благодарю, хорошіе жемчугъ.“

„Не надо... тебѣ“.

„Какъ!“

Боязливо гляжу на старуху, но она важно и утвердительно киваетъ головой, Василий то-же одобряетъ. Я принимаю подарокъ и, выждавъ нѣкоторое время, *service pour service*, предлагаю дѣвушкѣ превосходную англійскую дорожку - блесну. Дѣвушка сияетъ, старуха опять важно киваетъ головой, Василий то-же, Имандра смѣется. Мы спускаемъ обѣ дорожки въ воду: я съ одной стороны, а дочь Похіолы съ другой и ожидаемъ рыбу. Всѣ говорятъ, что тутъ рыбное мѣсто и непременно должна пойматься.

Скоро показывается лѣсистый берегъ, мы ѣдемъ вдоль него и лопари, ознакомившись со мною, не стѣсняясь, безпрерывно что-то болтаютъ на своемъ языкѣ. Время отъ времени я перебиваю ихъ и спрашиваю, о чемъ они говорятъ. Они говорятъ то о круглой „варакъ“ на берегу, то о впадинѣ съ снѣгами въ горахъ, то о сухой соснѣ, то о большомъ камнѣ. Тамъ былъ убитъ дикій олень, тамъ на деревѣ было подвѣшено его мясо, тамъ нашли свою важенку съ телятами. Это такъ, какъ мы, идя по улицѣ, разговариваемъ о знакомыхъ домахъ, ресторанахъ, о лицахъ, которыя почему-то непременно встрѣчаются всегда на одномъ и томъ же мѣстѣ. Имъ все здѣсь извѣстно, все разнообразно, но я схватываю только величественныя контуры горъ, только длинную стѣну лѣсовъ и необозримую гладь озера.

Мнѣ и некогда разглядывать мелочи. Вниманіе поглощено всесторонне. Нужно держать на готовѣ бичеву, потому что при малѣйшемъ толчкѣ я долженъ ее пустить и задержать лодку, иначе рыба оборветъ якорекъ. Нужно фотографировать, нужно спрашивать у лопарей разныя названія и записывать, нужно держать ружье на готовѣ: мало-ли что можетъ выйти изъ лѣса къ водѣ.

Вдругъ на носу лодки у лопарей необычайное волненіе, говорятъ шепотомъ, берутся за ружья, указываютъ мнѣ на бѣлый клочекъ снѣга далеко впереди у самаго берега.

„Дикій олень!“

Я поскорѣ свертываю бичеву, вглядываюсь, замѣчаю движенія бѣлой точки. Немного поближе, и разбираю: бѣлый олень съ недоразвитыми рогами. Василий долго прицѣливается изъ своей берданки и вдругъ опускаетъ ружье, не выстрѣливъ. У него явилось подозрѣніе, что это „кормной“ (ручной) олень. Если бы подалеже, въ горахъ, признался онъ мнѣ, то ничего, можно и кормного за дикаго убить, а тутъ нельзя, тутъ сейчасъ узнаютъ чей олень по мѣткѣ на ухѣ. Мы подѣзжаемъ ближе, олень не бѣжитъ и даже подступаетъ къ берегу. Еще поближе и всѣ смѣются, радуются: олень свой собственный. Мы превзошли Тартарена изъ Тараскона. Это одинъ изъ тѣхъ оленей, которыхъ Василий пустилъ въ тундру, потому что на островѣ мало ягеля (олений мохъ). Я готовлю фотографическій аппаратъ и снимаю бѣлаго оленя на берегу Имандры, окруженнаго елями и соснами.

Снявъ фотографію, я прошу подвезти меня къ оленю, но вдругъ онъ поворачивается своимъ коротенькимъ хвостомъ,





перепутываетъ свой пучекъ сучьевъ на головѣ съ вѣтвями лапландскихъ елей, бѣжить, пружинится на мху, какъ на рессорахъ, и исчезаетъ въ лѣсу. Немного спустя мы видимъ его уже выше лѣса на голой скалѣ, едва замѣтной точкой.

„Комаръ обижаетъ! говоритъ Василій, попилъ воды и опять бѣжить наверхъ, въ тундры.“

Это происходитъ гдѣ-то около Бѣлой губы Имандры.

Тутъ мы должны бы и остановиться, дальше меня должны везти другіе лопари. Но, выполняя свой планъ, мы ѣдемъ немного дальше на Оленій островъ. Здѣсь я опять спускаю въ воду дорожку, потому что, какъ говоритъ Василій, здѣсь непременно поймается кумжа.

Спускаю блесну, она вертится, блеститъ какъ рыбка, далеко видна въ прозрачной водѣ Имандры. Спускаю саженой на тридцать, остальная бичева остается смотанной на вертушкѣ, вставленной въ отверстіе для уключины. Не проходитъ минуты, сильный толчекъ вырываетъ мою бичеву изъ рукъ, катушка сразу разматывается.

Я не могу себѣ представить, чтобы рыба такъ сильно толкнула и потому кричу лопарямъ:

— „Стойте, стойте, зацѣпилось, оборвалось!“

„Рыба, рыба, подтягивай!“ отвѣчаютъ они.

Подтягиваю, но тамъ ничего не сопротивляется, очевидно блесна зацѣпилась за камень и теперь освободилась.

Я говорю объ этомъ лопарямъ. И они сомнѣваются, но все-таки не берутся за весла и смотреть вмѣстѣ со мной.

Вдругъ, въ десяти шагахъ отъ лодки показывается надъ водой огромный рыбій хвостъ; отъ неожиданности онъ мнѣ кажется не меньше китоваго. Рыба бунтуетъ, и снова уноситъ всю бичеву въ воду. Большіе круги расходятся по Имандрѣ.

„Кумжа, кумжа! говорятъ лопари, мотай.“

И вотъ опять, какъ въ началѣ пути при видѣ глухарей, мое „я“ цѣликомъ уходитъ въ глубину природы, быть мо-

жетъ именно въ ту страну, которая грезится въ дѣтскихъ сновидѣніяхъ.

Я вожусь съ этой рыбой цѣлый часъ. Борюсь съ ней, и часъ кажется секундой и секунда тысячелѣтіемъ. Наконецъ я ее подтягиваю къ борту, вижу ея длинную черную спину. Какъ теперъ быть, какъ вытащить? Пока я раздумываю, лапландка вынимаетъ изъ за пояса ножъ, ударяетъ имъ въ рыбу и, громадную, серебряную, обѣими руками втаскиваетъ въ лодку.

Капельки крови на живой убитой твари меня часто беспокоятъ и, бываетъ, портятъ охоту. Но тутъ я не замѣчаю этого: я владѣю рыбой и счастливъ обладаніемъ.

Мнѣ такъ хочется узнать, сколько въ ней вѣса, вкусна ли она, хочется установить ея значеніе, какъ моей собственности. Кажется, больше пуда вѣсомъ, а лопари говорятъ полпуда. Я спорю. Они соглашаются и смѣются.

„А что лучше, спрашиваю я, кумжа или семга?“

„Какая кумжа, какая семга. Все-таки семга лучше, семга, семга и есть. Ты скажи кумжа и сигъ, вотъ такъ“...

Тутъ я вдругъ вспомнилъ о той рыбѣ, которую старикъ поймалъ въ началѣ и привязалъ къ ней пуговицу. „Какая это рыба?“

„Это сигъ,“ говоритъ онъ и тускнѣетъ. Сигъ не можетъ на крючокъ пойматься, сиговъ сѣтью ловятъ. Отецъ мой тоже поймалъ такъ сига и потонулъ. А за нимъ и мать...“

„Потонула?“

„Нѣтъ, Божьей смертью померла. Двоихъ принесла, такъ Богъ такихъ любить. Сиротой бился, бился.“

Мнѣ хочется спросить еще, что значитъ пуговица, но не рѣшаюсь, вѣроятно, жертва водяному.

„Есть водяной царь или нѣтъ?“ спрашиваю я окольнымъ путемъ.

„Водяной царь! Какъ же, есть... Вѣдь, молимся же мы: царь небесный, царь земной.“

„И водяной?“ изумляюсь я.

„Нѣтъ, водяного нѣтъ въ молитвахъ, а только есть же царь небесный, царь земной, значить, есть и водяной.“

Я разспрашиваю Василия дальше о его вѣрованіяхъ, онъ оказывается убѣжденнымъ христіаниномъ. Съ тѣхъ поръ какъ св. Трифонъ пришелъ въ Лашландію, всѣ лопари христіане. Сначала плохо приняли Трифона, за волосы даже его таскали. А потомъ и смирились, но Господь наказалъ лопарей за святого и они стали плѣшивыми. Тутъ Василій въ доказательство снялъ свою шапку и показалъ свою лысину.

Но гдѣ-то и до сихъ поръ, рассказываетъ Василій, вѣрятъ лопари не въ Христа, а въ „чудь“. Есть высокая гора, откуда они бросаютъ въ жертву богу оленей. Есть гора, гдѣ живетъ колдунъ (нойдъ) и туда приводятъ къ нему оленей. Тамъ рѣжутъ ихъ деревянными ножами, а шкуру вѣшаютъ на жерди. Вѣтеръ качаетъ ее, ноги шевелятся. И если есть мохъ или песочекъ внизу, то олень какъ будто идетъ... Василій не разъ встрѣчалъ въ горахъ такого оленя. Совсѣмъ, какъ живой!.. Страшно смотрѣть. А еще бываетъ страшнѣй, когда зимой на небѣ засверкаетъ огонь и раскроются пропасти земныя и изъ гробовъ станетъ выходить чудь...

Василій рассказывалъ еще много страшнаго и интереснаго про чудь...

Рассказываетъ сказку о томъ, какъ лопарь захотѣлъ попасть на небо, настругалъ стружекъ, покрылъ рогожей, сѣлъ на нее, поджегъ костеръ. Рогожа полетѣла и лопарь попалъ на небо.

Я слушаю приключенія лопаря на небѣ и вдругъ понимаю Василия, понимаю почему онъ болтливъ, почему онъ, хоть и старикъ, но глаза у него такіе легкомысленныя.



**15-го Юня.  
Олений островъ.**

Возлѣ берега на Оленьемъ островѣ мы испугали глухаря. Я успѣлъ его убить. Скорѣе найти его въ травѣ, скорѣе подержать въ рукахъ.

Выхожу на берегъ, но меня встрѣчаетъ туча комаровъ и мошекъ. Бѣгомъ, скорѣй найти птицу, и въ лодку. Но я спотыкаюсь о какіе-то сухіе сучья, камни, кочки. Комары меня ѣдятъ, какъ рой пчелъ. Мелькаетъ мысль, что и заѣсть могутъ, что это дѣло серьезное. Я поднимаюсь и съ позоромъ безъ птицы бѣгу къ лодкѣ. Глухаря досталъ одинъ изъ лопарей.

Обогнувъ островъ, мы подъѣзжаемъ, наконецъ, къ тому мѣсту, гдѣ должна быть вѣжа (лапландское жилище). Я замѣчаю ихъ двѣ: одна маленькій черный колпачекъ аршина въ два съ половиной высоты, другая повыше и подлиннѣе.

„Одна, говоритъ Василій, для людей, а другая для оленей, какая побольше для оленей, потому и олень побольше человѣка.“

Теперь комары насъ преслѣдуютъ и на водѣ; кажется, всѣ сколько ихъ есть на островѣ устремились къ намъ въ лодку. Истязаніе такъ сильно, что я непрерывно отмахиваюсь, непрерывно уничтожая сотни на своемъ лицѣ, не имѣю мужества достать на днѣ моей котомки сѣтку „накомарникъ“, которымъ я запасся еще въ Кандалакшѣ. Пока я ее нашель бы и приспособилъ, все равно, комары съѣли-бы меня.

А лопари съ искусанными въ кровь лицами и руками терпѣливо и спокойно выносятъ испытаніе и даже разсказываютъ, что за каждаго убитаго комара до Ильина дня Богъ прибавляетъ рѣшето новыхъ, а послѣ Ильина убавляетъ и тоже по одному рѣшету за комара.

Выскакиваю изъ лодки и стремглавъ несусь къ вѣжѣ, едва смѣя открывать глаза; открываю дверцы; и вмѣсто людей вижу въ полутемной вѣжѣ оденьи рога. Я попалъ въ

оленью вѣжу. Звѣри не боятся. Я разглядываю ихъ. Такъ понятны здѣсь эти кривые сучки — рога. Здѣсь, въ Лапландіи, столько кривыхъ линий: кривые, опущенные внизъ сучья елей, кривыя сосны, кривыя березки, кривыя ноги лопарей, башмаки съ изогнутыми вверхъ носками. Тутъ есть бѣлые, есть сѣрые олени, есть совсѣмъ маленькіе телята. Вся компанія штукъ въ тридцать...

Человѣческая вѣжа — маленькая пирамидка, немного выше меня изъ досокъ, обтянутыхъ оленьими шкурами. Открываю дверцу и влѣзаю. Дверца съ силой, своею тяжестью, захлопывается за мною.

Пока я разглядывалъ оленей, лопари уже всѣ собрались въ вѣжу, между моими знакомыми спутниками я узнаю еще одного молодого лопаря и женщину. Въ этой вѣжѣ они всѣ одинаковы, всѣ сидятъ на оленьихъ шкурахъ у огня съ чернымъ котелкомъ. Мнѣ даютъ мѣсто на шкурѣ, я усаживаюсь, какъ и они, и, какъ и они, молчу. Отдыхаю отъ комаровъ у дыма. Потомъ начинаю разглядывать.

Вовсе не такъ плохо, какъ описываютъ. Воздухъ хорошій, вентиляція превосходная. Вотъ только неудобно сознавать, что нельзя встать и необходимо сидѣть.

Съ одной стороны огня я замѣчаю отгороженное мѣсто, покрытое хвоей, тамъ сложены разныя хозяйственныя принадлежности. Это то самое священное мѣсто, черезъ которое не смѣетъ перешагнуть женщина.

Отдохнувъ немного, старуха принимается щипать глухаря, а остальные всѣ на нее смотрятъ. Начинаю разговоръ съ кривого башмака Василя. Разспрашиваю названіе одежды, утвари и все записываю. На оленяхъ ѣздятъ, оленей ѣдятъ, на ихъ шкурѣ спятъ, въ ихъ шкуры одѣваются. Кочующіе лопари. Почему васъ называютъ кочующіе? спрашиваю я ихъ.

„А вотъ потому кочующіе, говорятъ мнѣ, что одинъ живетъ у камня, другой у Ягильнаго бора, третій у Желѣзной вараки. Весной лопарь около рѣкъ промышляетъ

семгу, придетъ Ильинъ день, переселится на озера, въ половинѣ сентября опять къ рѣчкамъ. Около Рождества въ погость, въ пыргъ. Потому кочующіе, что лопарь живетъ по рыбѣ и по оленю. Въ жаркое время олень отъ комара подвигается къ океану. Лопарь за нимъ. Такъ ужъ намъ Богъ показалъ, онъ править, онъ Создатель“.

Я узнаю тутъ-же, что здѣсь у Имандры живутъ не настоящіе олениводы, здѣсь пускаютъ оленей на волю въ горы, а занимаются больше охотой на дикихъ оленей и рыбной ловлей.

Пока хозяйка чиститъ глухаря и устраиваетъ его въ котелкѣ надъ огнемъ, мнѣ рассказываютъ эту охоту на дикихъ оленей, которая, впрочѣмъ, скоро совсѣмъ исчезнетъ со свѣта.

Лопарь выходитъ въ горы съ собакой и ирвасомъ (оленьемъ-самцомъ) и ищетъ стадо оленей. Въ это время года у дикихъ оленей „рехка“, особенная жизнь: олень (ирвасъ) становится страшнымъ звѣремъ, шея у него надувается и дѣлается почти такой же толщины, какъ туловище. Сильный старый самецъ собираетъ себѣ въ лѣсу стадо важенокъ, стережетъ ихъ и не подпускаетъ другихъ. Но въ лѣсу за нимъ слѣдятъ другіе ирвасы. Чуть только онъ ослабѣетъ, другой начинаетъ съ нимъ борьбу. Вотъ тутъ-то лопарь и идетъ на охоту. Собака подводитъ къ стаду. Домашній ирвасъ идетъ на встрѣчу дикому. Прячасъ за оленя, лопарь подходитъ къ дикарю, убиваетъ одного и потомъ стрѣляетъ въ растерявшееся стадо. Мясо спускается въ озеро, „квасится“ тамъ, а лопарь идетъ за другимъ стадомъ. Осенью по талому снѣгу лопарь катитъ въ горы на своихъ „чункахъ“ и достаетъ изъ воды мясо.

Пока варятся глухарь и уха, Василий рассказываетъ мнѣ жизнь лопарей. Другіе





всѣ слушаютъ внимательно, иногда вставляють замѣчанія. Женщины молчатъ, скромныя и почтенныя, какъ у Гомера, заняты своимъ дѣломъ. Одна слѣдитъ за ухой и глухаремъ, другая оленьими жилами шьетъ каньги (башмаки), третья слѣдитъ за огнемъ.

Жизнь охотниковъ разсказана. Теперь смотрятъ на меня: какая моя жизнь? Но какъ о ней спросить, этого никто еще не смѣетъ. У нихъ охота, олени, лѣсъ, что у меня?

„А есть ли въ другихъ державахъ лѣсъ? слышу я голосъ съ той стороны костра.

„Есть.“

„На ужь!“

Общій знакъ удивленія, что и у насъ есть лѣсъ.

Потомъ другой вопросъ: есть ли горы? И опять тоже: „на ужь.“ Потомъ разговоръ, совсѣмъ какъ въ настоящихъ гостинныхъ, переходитъ на политику. Знають о Государственной Думѣ, даже выбирали депутата, но только русскаго, а не лопаря. Я возмущаюсь: русскіе, которые такъ безжалостно спаиваютъ и обирають лопарей, начиная съ временъ появленія здѣсь Новгородскихъ дружинниковъ, представляютъ лопарей въ Думѣ. Распрашиваю ближе. Оказывается, кто-то раньше за нихъ уже рѣшилъ, кого выбрать.

Пили вы при этомъ, спрашиваю я, угощали васъ?

„Пили, какъ же, хорошо выпили,“ отвѣчаетъ Василій съ своимъ легкомысленнымъ видомъ.

„А вотъ если бы меня выбрали, продолжаетъ онъ, я бы тихонечко на ушко Государю Императору шепнулъ, какъ лопари живутъ.“

Что же ты бы ему шепнулъ? спрашиваю я, думая о томъ хохлѣ, который представляетъ Царя всегда съ кускомъ сала.

Что-бы ты шепнулъ ему?

„А что вотъ у насъ въ озерѣ сигаовъ много, копитъ бы ихъ на казенный счетъ и отправлять въ Питеръ.“

„Да я бы сумѣлъ что шепнуть!“

Что бы имъ дать, думаю я, представляя себя на мѣстѣ Императора, которому шепнулъ лопарь на ушко. Христіанскую проповѣдь? Но это уже использовано... Лопари теперь христіане. Св. Трифонъ прославился, какъ просвѣтитель лопарей. Печенгскій монастырь богатѣлъ и разорялся, и опять сталъ богатѣть. Но лопари все такіе-же, и еще бѣднѣе, еще несчастнѣе, потому что русскіе и зырянскіе хищники легче могутъ проникать къ христіанамъ, чѣмъ къ язычникамъ. Отдать ихъ на волю прогресса? Построить желѣзную дорогу и дать образованіе. Какъ-то жалко безъ дикаго народа въ государствѣ. Кто знаетъ, можетъ быть для усмиренія бездушнаго прогресса государству необходимо сохранить кочующій народъ, навести тамъ справку въ случаѣ чего.

Я вспоминаю о грандіозномъ предпріятіи соединить Великій океанъ съ Сѣвернымъ Ледовитымъ, Портъ-Артуръ съ Александровскомъ, и о томъ что тутъ предполагалась желѣзная дорога. Но вѣдь это не для нихъ.

При чемъ тутъ лопари?

„А какъ же, говоритъ мнѣ Василій: „и лопари тогда поѣдутъ въ Петербургъ со своими сѣнами“.

Василій смѣется, радуется какъ ребенокъ этой воображаемой возможности, смѣются и другіе, даже женщины, радуюсь и я, потому что удовлетворень, какъ гражданинъ: убито заразъ два зайца. Вотъ только образованіе. Но и образованіе какъ нибудь такъ тоже неожиданно придетъ.

„А выучить лопаря“, замѣчаетъ кто-то, „онъ тоже будетъ такимъ“.

Какимъ? спрашиваю я.

Въ отвѣтъ на это мнѣ рассказываютъ легенду объ образованномъ лопарѣ. Одинъ лопарь поѣхалъ съ оленями въ Архангельскъ и потерялъ тамъ мальчика. Продавъ оленей, онъ возвратился въ тундру безъ ребенка. Между тѣмъ маленькаго лопаря нашли, воспитали, образовали,

онъ сталъ докторомъ и есть слухъ, что гдѣ-то хорошо лечить людей.

„Вотъ и лопарь“ закончилъ рассказчикъ, „а сдѣлался докторомъ“.

Я заражаюсь настроеніемъ лопарей. Подъ этимъ деревяннымъ колпачкомъ съ единственнымъ отверстіемъ вверху для дыма культурный прогрессивный міръ мнѣ вдругъ начинаетъ казаться безконечно прекраснымъ, просторнымъ и величественнымъ, какъ небесный сводъ.

И я — несомнѣнная частица этого міра!

Мнѣ хочется, что нибудь сказать хорошее этимъ несчастнымъ людямъ у костра. Что бы сказать?

Что у насъ лучше всего? Конечно, звѣздная лѣтняя ночь.

У насъ, говорю, послѣ дня теперь наступаетъ ночь, темная, зимой-же у насъ бываетъ тоже и день и ночь“.

Смотрю на часы и говорю еще:

„Сейчасъ у насъ если погода хорошая, то звѣзды горятъ, мѣсяцъ свѣтитъ“.

Мои слова производятъ большой эффектъ. Женщины интересуются; одной непонимающей по-русски переводятъ мои слова. Теперь уже вся гостиная занята мной. Всѣ меня теперь долго и подробно разглядываютъ. Это тотъ періодъ сближенія гостей съ хозяевами въ провинціальной семьѣ, когда женщины вступаютъ въ бесѣду, когда дѣти осмѣливаются заговорить. Сама почтенная хозяйка начинаетъ бесѣду:

„Есть у тебя дѣточки?“

„Есть.“

„Но!“ не довѣряетъ она.

Я подтверждаю и даже описываю, какія они.

„На ужъ!“ удивляется старуха и переводитъ своей, непонимающей по-русски, сосѣдкѣ. Всѣ теперь говорятъ по-лапландски. Мнѣ кажется, что они говорятъ о томъ, что



вотъ, какъ это удивительно: такой необыкновенный человекъ, а тоже можетъ, какъ и они, какъ и всякія животныя, размножаться.

Что-же тутъ особеннаго, вмѣшиваюсь я, наконецъ, въ непопятный мнѣ разговоръ. Вѣроятно, здѣсь русскіе даже женятся на лапландкахъ.

„Нѣтъ! нѣтъ! отвѣчаютъ мнѣ всѣ въ одинъ голосъ, какой же русскій возьметъ лопку, одно слово, что лопка!“

Это совершенно противоположно тому, что я слышалъ. У меня, наконецъ, въ карманѣ письмо отъ одного батюшки, прожившаго двадцать лѣтъ въ Лапландіи къ сыну женатому на лопаркѣ. На письмѣ даже адресъ: потомственному почетному гражданину К—у.

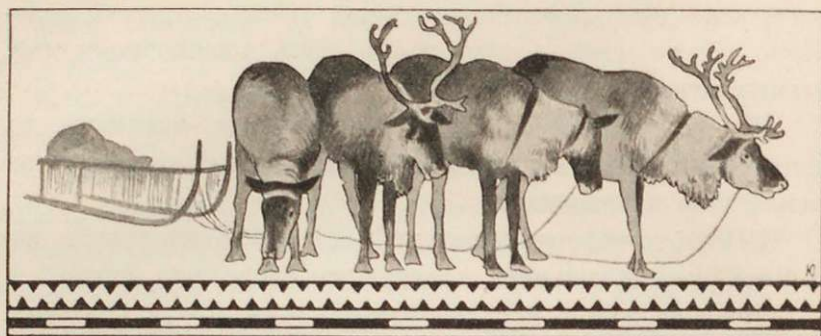
„Какъ же такъ... вотъ, говорю я, и называю фамилію.“

„Такъ это лопарь, какой же онъ русскій,“ отвѣчаютъ мнѣ.

„Почетный гражданинъ, сынъ священника.“

„Это все равно, онъ лопарь, рыбку ловить, оленей пасеть. Онъ лопарь.“

Я теперь понимаю: моя сверхъестественность основана не на внѣшнемъ видѣ, не на костюмѣ, не на образованіи, а просто на неизвѣстныхъ для нихъ занятіяхъ, противоположныхъ ихъ дѣлу. Мнѣ это становится еще болѣе понятнымъ, когда такими-же сверхъестественными людьми оказывается и одинъ отставной шкиперъ и одинъ мелкій телеграфный чиновникъ. Оба претенденты на руку Варвары Кобылиной. Про эту невѣсту мнѣ рассказывали еще на Бѣломъ морѣ. Она дочь богатаго лопаря. Живутъ они въ тундрѣ, пасутъ большое стадо оленей. Отецъ подыскиваетъ дочкѣ жениха, такого-же какъ она лопаря, потому что одному трудно управляться съ большимъ стадомъ оленей. Тутъ ему пришлось вмѣстѣ съ дочерью довольно долго быть въ Архангельскѣ для продажи оленей. И въ это время единственная и любимая дочь лопаря сразу влюбилась въ



двухъ русскихъ: въ шкипера и въ телеграфнаго чиновника. Были и еще претенденты — тысяча оленей стоитъ десять тысячъ рублей — но она полюбила только двухъ. Едва, едва отецъ увезъ ее. Теперь плачетъ, тоскуеть въ тундрѣ, еле жива.

„Ну, мыслимое ли дѣло лопкѣ замужъ за русскаго выходить“, заговорили всѣ послѣ разказа, и рѣшительно всѣ согласились.

Разговоръ о романѣ въ тундрѣ такой увлекательный для женщинъ и для меня. Мнѣ хорошо здѣсь и будто я не въ лопарской семьѣ — въ пустынь, а гдѣ нибудь въ большомъ, незнакомомъ городѣ въ единственномъ знакомомъ миломъ домѣ.

Хозяйка забываетъ о глухарѣ. Но онъ неожиданно напомнилъ о себѣ самъ. Его нога приподнимаетъ крышку котелка и сталкиваетъ ее въ огонь, вода бѣжитъ, шишитъ. Глухарь поспѣлъ.

Это напоминаетъ мнѣ, что въ котомкѣ у меня для лопарей припасена водка и лопари большіе охотники до нея.

„Пьете водку?“

„Нѣтъ, не пьемъ.“

А глаза просятъ. Я наливаю стаканчикъ и подношу, какъ меня учили, сначала хозяйкѣ. Секунду колеблется для приличія, потомъ беретъ рюмку, привѣтствуетъ меня сло-

вами: „ну, пожелаю быть здоровымъ“, и торжественно выпиваетъ. За ней подъ рядъ выпиваютъ всѣ мужчины и женщины, и всѣ съ одинаковой торжественной миной привѣтствуютъ меня: „ну, пожелаю быть здоровымъ.“ Доходитъ очередь до молоденькой лапландки, похожей на японку. Я вижу, какъ она мучится, колеблется и съ отвращеніемъ выпиваетъ глотокъ. Стаканчикъ совершаетъ еще оборотъ вокругъ костра, и опять останавливается у японки. Она умоляетъ меня глазами; то же и мать.

„Значить не надо?“ спрашиваю я.

„Нельзя! говорить старуха, надо выпить, отъ гостя руки нельзя не принять“.

„Вотъ какой странный обычай! Я не зналъ. Извини“.

„Можетъ быть и вамъ не надо?“ спрашиваю я почтенную мать.

„Нѣтъ намъ надо“, отвѣчаетъ она и, пожелавъ мнѣ быть здоровымъ, выпиваетъ и за дочь и за себя. Немного спустя, когда мы всѣ сидимъ вокругъ досокъ съ глухаремъ и ѣдимъ, кто ножку, кто крылышко, кто что, хозяйка преобразается, ея строгое, окаменѣвшее лицо оживаетъ, глаза бѣгають, губы вытягиваются.

„Ау-уа-уа-кыть! Уа-уа-уа-кыть!“

Я понимаю: это лопландская пѣсня, спѣть которую я долго и напрасно просилъ въ лодкѣ. Но это такъ не похоже на пѣсню, скорѣе это что то въ чайникѣ или въ котелкѣ урчить и, смѣшавшись съ дымомъ, уносится въ отверстіе на верху.

„Уа-уа...“

Пѣсня оканчивается неожиданнымъ восклицаніемъ: „Кашкараы!“

Что бы это значило?

Василій охотно переводитъ:

„Мимо еретицы ѣдетъ Иванъ Ивановичъ...“

„Какъ, неужели же и у васъ есть Иванъ Ивановичъ?“ сомнѣваюсь я въ вѣрности перевода.



„Вездѣ есть Иванъ Ивановичъ,“ отвѣчаетъ Василій, Евванъ-Евванъ-ыльть, значить, Иванъ Ивановичъ“. И продолжаетъ:

„Бдетъ Иванъ Ивановичъ мимо еретицы, мимо страшной еретицы въ Кандалакшу и думаетъ, что она не выскочить. Плыветъ Иванъ Ивановичъ, ногами править, руками гребетъ, миленькой чулочки везетъ, бѣлые чулочки, варежки съ узорами. А еретица какъ выскочить и закричитъ: Иванъ Иванычъ, Иванъ Иванычъ кашъ-кишъ-карары!“

„Что-же съ Иваномъ Ивановичемъ стало?“

„Ничего, на этомъ пѣсня кончается.“

Послѣ домашняго концерта доска очищается отъ пищи и на ней появляется засаленная колода картъ. Сдають всѣмъ по пяти.

„Не дурачки ли это?“

„Дурачки“.

„Такъ сдавайте-же и мнѣ!“

Мнѣ съ удовольствіемъ сдають, я играю разсѣянно и остаюсь дуракомъ.

Такого эффекта, такого взрыва смѣха я давно, давно не слыхалъ. Смѣется Василій, смѣются женщины, смѣются всѣ лопари, а старуха долго не можетъ сдать картъ, только начнетъ, посмотреть на меня и ляжетъ вмѣстѣ съ картами на доску.

Удивительное счастье остаться дурачкомъ въ Лапландіи! Вообще быть имъ не хорошо... но тутъ. Я пытаюсь еще разъ остаться, но ничего не выходитъ, и сколько я потомъ не стараюсь, все не могу, все находится кто-нибудь глупѣ меня.

За игрой въ дурачки забываю о главномъ своемъ интересѣ въ Лапландіи: увидѣть полуночное солнце. Мнѣ напоминають о немъ нѣсколько капель дождя, пролетѣвшихъ въ отверстіе нашей вѣжи.

Дождь, говорю я. Опять не видать мнѣ полуночнаго солнца!

„Дождь, дождь, отвѣчаютъ лопари. Скорѣй куваксу стронть!“

Кувакса это особая походная вѣжа, палатка. Ее можно сдѣлать изъ паруса. Василий уже давно мнѣ говорилъ про нее и обѣщаль, что спать я на островѣ буду лучше чѣмъ дома и онъ знаетъ такое средство, что ни одинъ комаръ не посмѣетъ пролѣзть въ мою куваксу.

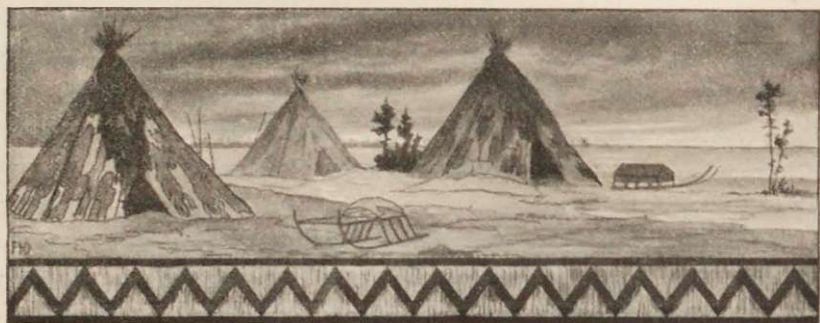
Черезъ нѣсколько минутъ палатка готова, маленькая такая, чтобы лечь одному. Я устраиваюсь на теплыхъ оленьихъ шкурахъ, покрываюсь простыней и шкурой. Славно. Тепло. Хорошо дышится. Я начинаю раздумывать о своихъ впечатлѣніяхъ, выискивать связь между ними. Какой-то странный запахъ, похожій не то на курительную бумагу, не то на угарь, не то на дѣвующую вату перебиваетъ мои мысли. Что бы это значило? Запахъ сильнѣе и сильнѣе, дымъ ѣстъ глаза. Всакаиваю, оглядываю палатку, и замѣчаю въ углу ея черный дымящійся котелокъ. Нѣсколько гнилушекъ или сухихъ грибовъ курятся и наполняютъ палатку этимъ ѣдкимъ дымомъ. Я понимаю: это сюрпризъ Василия, это выполненіе обѣщанія, что ни одинъ комаръ не заберется ко мнѣ. Не рѣшаюсь выставить котелокъ на дождь и тѣмъ обидѣть любезнаго хозяина. Высовываю для развѣдки голову. Какіе теперь комары... Дождь... Олени одинъ за другимъ выходятъ изъ своей вѣжи къ лѣсу.

Они заполняютъ весь треугольникъ между моей, лопарской и своей вѣжами, пробуютъ пощипать траву, но ничего не находятъ, и одинъ за другимъ исчезаютъ въ лѣсу. Теперь яставляю котелокъ на дождь, опять устраиваюсь, слушаю, какъ барабанять капли по палаткѣ, слушаю взрывы веселаго дѣтскаго смѣха изъ лопарской вѣжи. Все еще играютъ въ дурачки.

Общее мнѣніе мѣстныхъ людей, что этотъ народъ вырождается, вымираетъ. Ученые спорять. По этому дѣтскому смѣху мнѣ кажется, что они непременно должны вырождаться,

вымирать. Такъ не смѣются взрослые люди, а дѣти развѣ могутъ бороться? Пройдетъ еще сколько-то лѣтъ и здѣсь не останется ни одного лапландца.

Гдѣ то я читалъ, что лопари должны исчезнуть съ лица земли безслѣдно, что ихъ жалкую жизнь не возьмется воспѣть ни одинъ поэтъ, что „последній изъ могиканъ“ невозможенъ въ Лапландіи. И такъ странно думать, что вотъ почти на краю свѣта эти забытые всеѣмъ міромъ люди могутъ смѣяться такимъ невиннымъ дѣтскимъ смѣхомъ. Непремѣнно государственнымъ людямъ нужно позаботиться объ охранѣ кочующаго народа. И пусть потомъ, когда люди въ городахъ разучатся смѣяться, кочующіе люди ихъ станутъ учить.



**Солнечныя ночи въ  
Хибинскихъ горахъ.**

„Вставайте, бужу я лопарей,  
Вставайте!“

Но они спятъ, какъ убитые,  
все въ одной вѣжѣ.

„Вставайте же!“

Въ отвѣтъ мнѣ изъ подъ склонившихся къ землѣ лапъ ближайшей ели показывается лысая голова карлика.

„Василій это ты? Какъ ты здѣсь?“

Старикъ спалъ ночь подъ еловымъ шатромъ. Тамъ сухо, совсѣмъ какъ въ вѣжѣ. Лапландскія ели часто имѣютъ



форму вѣжи. Вѣроятно они опускаютъ внизъ свои лапы для лучшей защиты отъ холодныхъ океанскихъ вѣтровъ.

Пока разводятъ костеръ, грѣютъ чайникъ и варятъ уху, закусываютъ, собираются, проходитъ много времени, наступаетъ уже день, начинаютъ кусать комары, возвращаются олени, солнце грѣетъ. Но и день здѣсь не настоящій, солнце не приноситъ съ собой звуковъ въ природу, сверкаетъ слишкомъ ярко, но холодно и остро, и зелень эта какъ-то слишкомъ густая, неестественная. День не настоящій, а какой-то хрустальный. Эти черныя горы будто старые окаменѣлыя звѣри. На Имандрѣ вообще много такихъ каменныхъ звѣрей. Вотъ высунулся изъ воды моржъ, тюлень, вотъ растянулся по пути нашей лодки большой черный китъ.

„Волса-Кедеть!“ показываетъ на него лопарь и прислушивается.

Всѣ тоже, какъ и онъ, поднимаютъ весла и слушаютъ. Булькаютъ удары капель съ весель о воду и еще какой-то неровный плескъ у камня, похожаго на кита. Это легкій приборъ перекачиваетъ бѣлую пѣну черезъ гладкую спину „кита“ и оттого этотъ неровный шумъ, и такъ ярко блеститъ мокрый камень на солнцѣ.

„Волса-Кедеть шумитъ!“ говоритъ Василій.

Меня раздражаетъ эта медлительность лопарей, хочется ѣхать скорѣе. Я во власти той путевой инерции, которая постоянно движетъ впередъ. Лопари меня раздражаютъ своимъ равнодушiемъ къ моему стремленiю.

„Ну такъ что-же такое, отвѣчаю я Василю, шумитъ и шумитъ.“

„Да ничего... Такъ... шумитъ. Бываетъ передъ погодой, бываетъ такъ.“

Ему хочется мнѣ что-то рассказать.

Волса-Кедеть, значить, китъ-камень, отцы говорятъ, это колдунъ...“

И рассказываетъ преданiе:

„Возлѣ Имандры сошлись два колдуна и заспорили. Одинъ говоритъ: можешь ты звѣремъ обернуться? Другой отвѣчаетъ: звѣремъ я не могу обернуться, а нырну китомъ и ты не увидишь меня, уйду въ лѣсъ. Обернулся и въ воду. Немного не доплылъ до берега и показалъ спину. Колдунъ на берегу увидалъ, крикнулъ. Тотъ и окаменѣлъ.“

Такое преданіе о китѣ.

„А вотъ этотъ моржъ?“ спрашиваю я.

„Нѣтъ, это камень.“

„А птица?“

„Тоже такъ... камень. Вотъ у Кольской губы, тамъ есть люди окаменѣлые. Колдунья тащила по океану островъ, хотѣла запереть имъ Кольскую губу. А кто-то увидалъ и крикнулъ. Островъ остановился, колдунья окаменѣла и всѣ люди въ погостѣ окаменѣли....“

Мы ѣдемъ ближе къ горамъ. Мнѣ кажется, что если хорошенько крикнуть теперь, то и мы, какъ и горы, непременно окаменѣемъ. Я изо всей силы духа кричу. Горы отзываются. Лопари съ поднятыми вверхъ веслами каменѣютъ и слушаютъ эхо.

Подшутить-бы надъ ними? У ногъ моихъ на днѣ лодки большой камень-якорь съ веревкой. Беру этотъ камень и прямо возлѣ дѣвушки бросаю его въ Имандру. Бухъ!

Я не сразу понялъ въ чемъ дѣло. Вижу только дѣвушка стоитъ рядомъ, что она схватилась за ножъ, но ее удержали. Въ водѣ плаваютъ весла.

Лапландка отъ испуга пустила въ меня весломъ, промахнулась, хотѣла зарѣзать, но ее удержали и теперь съ ней истерика.

„Нашихъ женокъ, укоризненно говоритъ мнѣ Василій, нельзя пугать. Наши женки пугливыя. Могла-бы и бѣда быть...“

Немного спустя дѣвушка приходитъ въ себя, а лопари, какъ ни въ чемъ не бывало, смѣются. И просто, какъ анекдотъ, рассказываютъ мнѣ такой случай:

Русскій солдатъ вошелъ въ пырть. Дома никого не было, только женка сидѣла съ ребенкомъ у котелка. Солдатъ тоже присѣлъ и сталъ смотрѣть въ огонь. Служивому захотѣлось пошутить съ женкой, показалъ ей пальцами на языкъ пламени въ комелькѣ и громко крикнулъ: Куропать! Лапландка бросила ребенка въ огонь, и съ ножомъ накинута на солдата. Пока этотъ увертывался отъ ударовъ и успѣлъ схватить ее, ребенокъ сгорѣлъ совершенно.

И еще былъ случай, рассказываетъ старуха... И вотъ еще... А вотъ въ Ловозерскомъ погостѣ... А вотъ въ Кильдинскомъ... Мнѣ рассказываютъ множество такихъ случаевъ и все приговариваютъ: „наши женки пугливыя.“

„Отчего это?“ спрашивалъ я.

„Богъ знаетъ.“

Послѣ всѣхъ этихъ рассказовъ мнѣ не хочется больше шумѣть и кричать. Мнѣ кажется, что если я теперь крикну еще разъ, то всѣ эти окаменѣвшіе звѣри, рыбы и птицы испугаются, проснутся и отъ этого будетъ что-то такое, отчего сейчасъ страшно, но что это неизвѣстно.

„Въ горахъ, говоритъ Василій, есть озера, гдѣ лопарь не посмѣетъ слова сказать и весломъ стукнуть. Вотъ тамъ есть такое озеро: Вардъ-озеро.“

Онъ показалъ рукой на мрачное ущелье Имъ-Егоръ. Это ущелье—разсѣлина въ горахъ, входъ внутрь этой огромной каменной крѣпости Хибинскихъ горъ.

Туда мы и отправимся завтра на охоту за дикими оленями, но сегодня мы заѣдемъ въ Бѣлую губу. Тамъ живутъ лопари въ пыртахъ, живетъ телеграфный чиновникъ, у котораго можно достать масла и хлѣба.

\* \* \*

У подножія мрачныхъ Хибинскихъ горъ, похожихъ на декорачію къ Дантовскому аду, возлѣ Имандры, живетъ



маленькій чиновникъ. Онъ похожъ на крошечный винтикъ отъ часоваго механизма: такъ высоки горы и такъ онъ малъ.

Судьба его закинула сюда въ эту мрачную страну и онъ покорился и сталъ жить. Онъ имѣетъ какое-то отношеніе къ предполагавшейся здѣсь желѣзной дорогѣ, къ этому грандіозному плану соединенія Великаго океана съ Ледовитымъ. Планъ давно рухнулъ наверху. Но внизу дѣло по инерціи продолжается и винтикъ сидитъ на своемъ мѣстѣ.

Въ своемъ путешествіи я боюсь мѣстныхъ людей и особенно чиновниковъ. Они всѣ заинтересованы лично въ этой жизни и смотрятъ на нее изъ своего маленькаго окошечка, то обиженные и раздраженные, то самодовольные и самоувѣренные. Всѣ они глубоко убѣждены, что мы, сторонніе люди, ничего не видимъ и, чтобы видѣть, нужно, какъ они, завинтиться на десятки лѣтъ.

Я читалъ гдѣ-то, что всѣ путешественники считаютъ лопарей взрослыми дѣтьми, простодушными, довѣрчивыми, а всѣ мѣстные люди лукавыми и злыми. Почему это?

Если-бы я былъ ученый, я считался бы со взглядомъ тѣхъ и другихъ, но я не ученый, не имѣю специальныхъ цѣлей и больше всего дорожу лишь правдой своихъ настроеній.

Я иду къ чиновнику за мукой и масломъ, и побаиваюсь его, потому что ревниво оберегаю свой собственный независимый взглядъ, добытый изъ одинокаго общенія съ природой и лопарями. Оберегаю отъ расхищенія все это милое мнѣ путешествіе, о которомъ мечталъ еще ребенкомъ.

Мы говоримъ съ чиновникомъ сначала о маслѣ и хлѣбѣ, потомъ о картофелѣ, который онъ пробуетъ развести. И какъ то само собой заходитъ рѣчь о лопаряхъ...

„Это дикіе, тупые, жестокіе и злые люди, говоритъ онъ мнѣ, это выродки и скоро вымрутъ.“

„Да вѣдь это недоказано, пробую защищать я, можетъ быть и не вымираютъ.“

„Нѣтъ вымирають“, отвѣчалъ онъ. Вырождаются.“

Спорить нельзя: онъ лучше знаетъ.

Онъ долго бранить лопарей и жалуется на то, какъ тутъ трудно жить культурному человѣку зимой, когда солнце даже не восходитъ. Тьма, изъ подъ полу дуетъ... Жутко...

Я чувствую себя такъ, будто никуда не ѣздивъ, и отъ скуки сужу и пересуживаю съ кѣмъ-то лопарей. Смутно даже чувствую себя неправымъ передъ этимъ винтикомъ, вѣдь его завинтили насильно. И я спасся отъ этого только потому, что добрая бабушка испекла для меня волшебный колобокъ. Выхожу на воздухъ, меня встрѣчаетъ горящая гладь спокойнаго горнаго озера.

Сосну часокъ и буду слѣдить за всѣмъ, что случится этой загадочной солнечной ночью.

Станціонная изба устроена по типу лопарскаго пырта. Въ ней есть камелекъ, лавки, окна. Лопари къ моему пріѣзду всѣ собрались въ избу и сидятъ теперь на лавкахъ въ ожиданіи меня. Въ избѣ дымъ. Это отъ комаровъ; хотять ихъ убить. Я ложусь на лавку, хочу соснуть часокъ, хочу остаться одинъ. Но они всѣ, человѣкъ десять, молча разсматриваютъ меня, чего то ждуть. Я не рѣшаюсь попросить ихъ выйти и ложусь, надѣясь, что они поймутъ. Но они не понимаютъ, и смотрятъ, и смотрятъ. Миѣ хочется имъ сказать, кри-



кнуть, но я не могу и лежу, смотрю на нихъ, они на меня. Путешествіе мое обрывается.

Какъ и зачѣмъ я попалъ въ Лапландію? Эти люди такіе-же грубые и обыкновенные, какъ наши мужики. Наши пасутъ коровъ, а эти оленей. Какіе это охотники! Но у насъ-то ночь теперь. Какъ хорошо тамъ! Я теперь дома: темно, совсѣмъ темно. Но почему это кто-то неустанно требуетъ открыть глаза. Не открою, не открою. И не надо открывать, а только чуть подними рѣсеницу, увидишь, какъ хороша наша ночь. Я открываю глаза. Вся Имандра въ огнѣ. Солнце. И ночь, которая мнѣ грезилась, — какъ большая черная птица съ огненными перьями, улетаетъ черезъ озеро на Югъ.

Лопарей нѣтъ. Дымъ разошелся, комары мертвые валяются на подоконникѣ.

Только десять вечера, но горы уже спятъ, закрылись бѣлыми одѣялами, Имандра горитъ, разгорается румянцемъ во снѣ, и близится время волшебныхъ видѣній въ странѣ полуночнаго солнца. Что грезится теперь этимъ горамъ? Да, конечно, онѣ и видятъ вотъ то, что я сейчасъ вижу, это все сонъ:

На озерѣ человѣкъ въ челнокѣ. Чего-то ждетъ. Онъ первый здѣсь. А вотъ и деревья и горы подступаютъ къ тихому озеру. Звѣри вышли изъ лѣса, рыбы изъ воды. Мѣсяцъ прислонился у березы. Солнце у окошка замка стало.

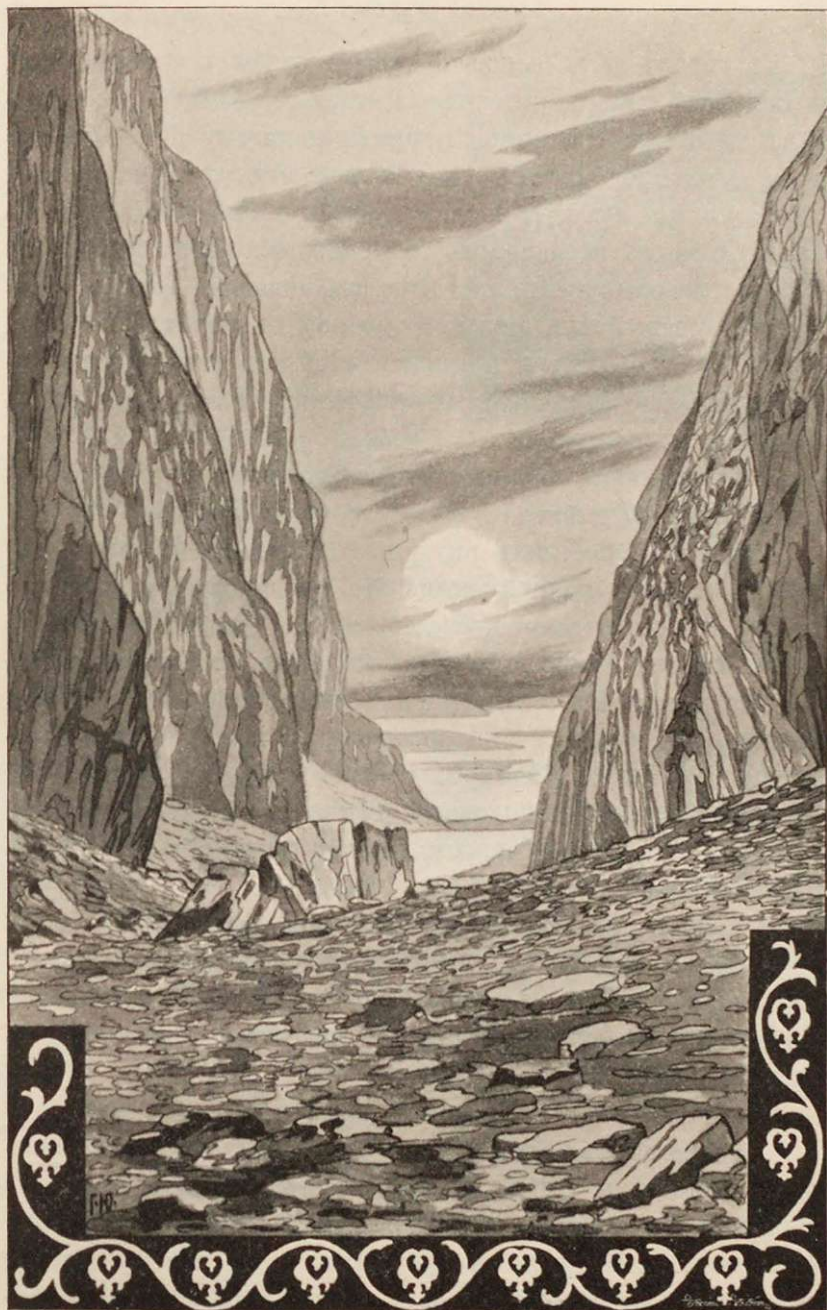
Зазвенѣли струны кантеле. Запѣлъ человѣкъ.

Пѣлъ дѣла временъ минувшихъ, пѣлъ вещей происхожденіе.

---

Просыпаюсь... Солнца не видно въ мое окошко: такъ оно высоко поднялось уже. Опять я не видалъ полуночнаго солнца. Василій сидитъ у камелька и отливаетъ въ деревянную форму пули на дикихъ оленей. Сегодня мы будемъ ночевать въ горахъ и охотиться.





Ущелье Имъ-Егоръ.

Въ горахъ есть какое-то озеро, я забылъ его названіе, къ которому лопари питають суевѣрный страхъ. Это озеро со всѣхъ сторонъ защищено горами и потому почти всегда тихое, спокойное. Высоко надъ водой есть пещера и тамъ живутъ злые духи. Въ этомъ озерѣ множество рыбы, но рѣдко кто осмѣлится ловить тамъ. Нельзя, при малѣйшемъ стукѣ весла злые духи вылетаютъ изъ пещеры. И вотъ одинъ молодой ученый изъ финской ученой экспедиціи собралъ лопарей на это озеро и принялся стрѣлять изъ ружья въ пещеру. Вылетѣли несмѣтныя стаи птицъ черныхъ и бѣлыхъ, но ничего не случилось.

Съ тѣхъ поръ лопари тамъ не боятся стукнуть весломъ и ловятъ много рыбы.

Хорошо-бы побывать внутри этой пещеры и оттуда по-смотрѣть на полуночное солнце. Но это и далеко, и въ самую пещеру почти невозможно добраться. Василій совѣтуетъ удовлетвориться ущельемъ Имъ-Егоръ не менѣе мрачнымъ, но доступнымъ. Въ этомъ ущельѣ мы переночуемъ, войдемъ черезъ него внутрь Хибинскихъ горъ и по Гольцовой рѣкѣ вернемся опять къ Имандрѣ.

Пока мы набиваемъ патроны, готовимъ пищу, собираемся, Имандра уже опять готовится встрѣчать вечеръ и солнечную ночь.

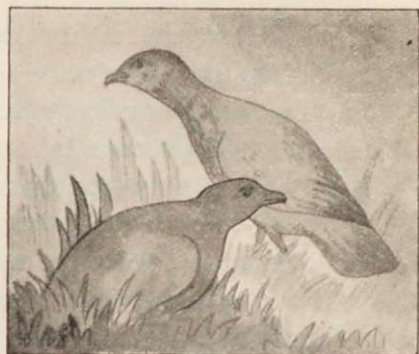
Неужели опять случится что нибудь, почему я не увижу солнечную полночь: дождь, туманъ или просто мы не успѣемъ выбраться изъ лѣса въ горы. Чтобы выбраться изъ ущелья нужно часа два ѣхать на лодкѣ и часа три подниматься въ гору. Теперь шесть.

— Скорѣй, скорѣй! тороплю я Василія.

Скользимъ на лодкѣ по тихому озеру: ни малѣйшаго звука, даже чаекъ нѣтъ. Ущелье видно издали: оно разрѣзаетъ черную камешную гряду наверху. Снизу съ озера оно вовсе не кажется такимъ мрачнымъ, какъ рассказываютъ: просто это ворота, входъ въ эту черную крѣпость. Гораздо

таинственнѣе и мрачнѣе этотъ лѣсъ у подножія горъ. Тѣ мертвыя, но лѣсъ-то живой и все-таки будто мертвый.

Мы причаливаемъ къ берегу, входимъ въ лѣсъ: гробовая тишина! Въ немъ нѣтъ того зеленого радостнаго сердца, о которомъ тоскуетъ бродяга, нѣтъ птицъ, нѣтъ травы, нѣтъ солнечныхъ пятенъ, зеленыхъ просвѣтовъ. Подъ ногами какія-то мягкія подушки, за которыми нога ощущиваетъ камень, будто заросшія мохомъ могильныя плиты.



Съ нами идутъ въ горы двое лопарей: Василиій съ сыномъ, остальные разводятъ костеръ у берега Имандры, садятся вокругъ костра начинаютъ играть въ карты. Завтра они встрѣтятъ насъ въ устьѣ Гольцовой рѣки.

Я надѣваю сѣтку отъ комаровъ, отъ этого лѣсъ становится еще болѣе мрачнымъ. Съ плиты на плиту, выше и выше мы поднимаемся по этому сѣверному кладбищу. Дальше и дальше взрывы смѣха лопарей, играющихъ въ дурачки. Развѣ тутъ можно смѣяться! Это странный, жуткій смѣхъ.

Мы вступаемъ въ глубь лѣса съ ружьями, заряженными пулями и дробью. Мы тутъ можемъ встрѣтить каждую минуту медвѣдя, дикаго оленя, росомаху, глухарей навѣрно встрѣтимъ, сейчасъ-же встрѣтимъ. Но я даже и не готовлю ружье. Я повторяю давно заученные стихи:

„Пройдя полшуты своей жизни.

Въ минуту унынья вступилъ

Я въ дѣвственный лѣсъ“.

Это входъ въ Дантовъ Адъ. Не знаю, въ какомъ мы кругу.

Комары теперь не поють, какъ обыкновенно, предательски жалобно, а воютъ, какъ легіоны злыхъ духовъ. Мой маленькій



Виргилій съ кривыми ногами, въ кривыхъ башмакахъ не идетъ, а скачетъ. У него вся шея въ крови. Мы бѣжимъ, преслѣдуемые діаволами Дантова Ада.

Въ чащѣ иногда бываютъ просвѣты, бѣжить ручей, возлѣ него группа деревьевъ, похожихъ на яблонный садъ. И нужно подойти вплотную къ нимъ, чтобы понять въ чемъ дѣло: это березы здѣсь такъ растутъ, совсѣмъ какъ яблони.

У одного такого ручья мы замѣчаемъ тропинку, какъ разъ такую, какія у насъ прокладываютъ богомольцы и другіе пѣшеходы у краевъ полей. Это оленья тропа. Теперь мы бѣжимъ по этой тропѣ въ расчетѣ встрѣтить гонимаго комарамъ оленя. Но я совсѣмъ не думаю объ охотѣ, мнѣ почему-то кажется, что эту тропу непременно проложили богомольцы, что тамъ наверху есть монастырь. Мнѣ приходитъ въ голову опять та солнечная гора, о которой я думалъ на берегу Бѣлаго моря и на Голгофской горѣ Соловецкаго монастыря. Вотъ она теперь, эта вершина. Какъ только мы выбѣжимъ изъ лѣса, тутъ и будетъ конецъ всего, голыя скалы и сіяніе незаходящаго солнца. Я совсѣмъ не думаю ни о птицахъ, ни о звѣряхъ. Вдругъ передъ нами на тропу выбѣгаетъ птица, куропатка, и быстро бѣжить не отъ насъ, а къ намъ. Какъ это ни странно, ни поразительно для меня, невидавшаго ничего подобнаго, но, подчиняясь той атавистической силѣ, которая на охотѣ мгновенно передѣлываетъ культурнаго человѣка въ дикаго, я взвожу курокъ и навожу ружье на бѣгущую къ намъ птицу.



Василій останавливаетъ меня.

„У нея дѣтки, нельзя стрѣлять, надо пожалѣть.“

Куропатка подбѣгаетъ къ намъ, кричитъ, трепещетъ крыльями по землѣ. На крикъ выбѣгаетъ другая такая-же. Обѣ птицы о чемъ-то совѣтуются: одна бѣжитъ прямо въ лѣсъ, а другая впередъ по тропѣ и оглядывается на насъ; будто зоветъ куда-то. Мы остановимся, она остановится. Мы идемъ и она катится впереди насъ по тропѣ, какъ волшебный колобокъ. Такъ она выводитъ насъ на полянку, покрытую травой и березками похожими на яблони. Остановливается, оглядываетъ насъ, киваетъ головой и исчезаетъ въ травѣ. Обманула, завела насъ на какую-то волшебную полянку съ настоящей, какъ и у насъ, травой, и съ яблонями и исчезла.

— Вотъ она, смотри, вотъ тамъ пробирается, смѣется Василій. Я присматриваюсь, и вижу, какъ за убѣгающей птицей остается слѣдъ шевелящейся травы.

— Назадъ бѣжитъ къ дѣткамъ. Нельзя стрѣлять. Грѣхъ!

Если-бы не лопарь я-бы убилъ куропатку и не подумалъ-бы о ея дѣтяхъ. Вѣдь законы охраняющіе дичь дѣйствуютъ тамъ, гдѣ она переводится, ихъ издаютъ не изъ состраданія къ птицѣ. Когда я убиваю птицу, я не чувствую состраданія. Когда я думаю объ этомъ... Но я не думаю. Развѣ можно думать объ этомъ. Вѣдь это-же убійство и не все-ли равно убить птицу одну или съ дѣтьми, больше или меньше. Если думать, то нельзя охотиться. Охота есть забвеніе, возвращеніе къ себѣ первоначальному, туда гдѣ начинается золотой вѣкъ, гдѣ та прекрасна страна, куда мы въ дѣтствѣ бѣжали и гдѣ убиваютъ, не думая объ этомъ и не чувствуя грѣха. Откуда у этого дикаря сознаніе грѣха? Узналъ-ли онъ его отъ такихъ праведниковъ, какъ Св. Трифонъ, или такъ уже заложена въ самомъ человѣкѣ жалость къ птенцамъ. Какъ то странно, что охотничій инстинктъ во мнѣ начинается такой чистой поэтической любовью къ солнцу и зеленомъ

листьямъ и къ людямъ, похожимъ на птицъ и оленей, и непремѣнно оканчивается, если я ему отдамся вполне, маленькимъ убійствомъ, каплями крови на невинной жертвѣ. Но откуда эти инстинкты? Не изъ самой-ли природы, отъ которой далеки даже и лопари?

Подъ свистъ комаровъ я раздумываю о своемъ непоколебимомъ, очищающемъ душу охотничьемъ инстинктѣ, а на оленью тропу время отъ времени выбѣгаютъ птицы, иногда съ большими семьями. Разъ даже изъ подъ еловаго шатра выскочила съ гнѣзда глухарка, встрепанная, растерянная, сѣла въ десяти шагахъ отъ насъ и смотритъ какъ ни въ чемъ не бывало, будто большая курица.

— „Ну убей, что-же убей, показываетъ мнѣ на нее Василій.“

„Такъ грѣхъ, у ней дѣти...“

„Ничего, чтожъ, грѣхъ... бываетъ и такъ пройдетъ, убилъ и убилъ.“

Лѣсъ становится рѣже и рѣже, деревья ниже. Мы вступаемъ въ новый кругъ Дантова ада.

Сзади насъ остается *тайбола* — лѣсной переходъ — а впереди *тундра*. Это слово мы усвоили себѣ въ самоѣдскомъ значеніи: большое не оттаивающее до дна болото, а лопари имъ обозначаютъ, напротивъ, совсѣмъ сухое, покрытое оленьимъ мохомъ мѣсто.

Здѣсь мы хотимъ отдохнуть, развести огонь, избавиться хоть немного отъ воя комаровъ. Черезъ минуту костеръ пылаетъ, комары исчезаютъ и я снимаю сѣтку. Будто солнце вышло изъ за тучъ, такъ стало свѣтло. Внизу Имандра, на которой теперь выступаетъ много острововъ, за ней горы Чуна-тундра съ бѣлыми полосами снѣга, будто ребрами. Внизу лѣсъ, а тутъ тундра покрытая желтозеленымъ ягелемъ, какъ залитая луннымъ свѣтомъ поляна.

Ягель это сухое растеніе. Оно растетъ, чтобы покрыть на нѣсколько вершковъ скалы, лѣтъ десять. И вотъ этой





маленькой березкѣ можетъ быть уже лѣтъ двадцать, тридцать. Вотъ ползетъ какой-то сѣрый жукъ, вѣроятно, онъ тоже безъ крови безъ соковъ, тоже не растеть. И тишина, тишина. Медленная чуть тлѣющая жизнь. Тутъ непременно долженъ бы быть монастырь, непременно должны бы жить монахи. Эта сухая жизнь не возмутитъ даже и самаго строгаго аскета. Если и тутъ онъ замѣтитъ вотъ эту залетѣвшую сюда зачѣмъ-то бабочку, то можно подняться выше. Немного дальше начинаются голыя черныя скалы. Превзойти ихъ никому нельзя. Тутъ гдѣ-то живетъ смерть, притаилась гдѣ нибудь въ тѣни, слилась со скалами и не показывается, пока здѣсь постоянный свѣтъ. А когда настанетъ зимняя ночь, выйдетъ и засверкаетъ полярными огнями.

Святой Трифонъ спасался на одной изъ такихъ горъ дальше, ближе къ океану. Онъ назвалъ эти горы „сѣверными ребрами.“

Отдохнули у костра, и идемъ выше по голымъ камнямъ. Ущелье Имъ-Егоръ теперь уже не кажется прорѣзомъ въ горахъ. Это огромныя черныя узкія ворота. Если войти въ нихъ, то непременно увидимъ одного изъ дантовыхъ звѣрей...

Еще немного спустя мы внутри ущелья. Дантовой пантеры нѣтъ, но за то изъ снѣга—тутъ много снѣга и камней—поднимается олень и пробѣгаетъ черезъ все ущелье внутрь Хибинскихъ горъ. Стрѣлять мы не рѣшились, потому что отъ звука можетъ обрушиться одна изъ этихъ неустойчивыхъ призматическихъ колоннъ.

Мы проходимъ по плотному, слежавшемуся снѣгу черезъ ущелье въ надеждѣ увидѣть оленя по ту сторону, но тамъ лишь необозримое пространство скалъ, молчаливый окаменѣвшій океанъ.

---

Десять вечера.

Мы набрали внизу много моха и развели костеръ, потому что здѣсь холодно отъ близости снѣга. Такъ мы пробудемъ ночь, потому что здѣсь нѣтъ ни одного комара, а завтра рано утромъ двинемся въ путь. На небѣ ни одного облачка. Наконецъ-то я увижу полуночное солнце. Сейчасъ солнце высоко, но все-таки есть что-то въ блескѣ Имандры въ тѣняхъ горъ вечернее.

А у насъ на югѣ послѣдніе солнечные лучи малиновыми пятнами горять на стволахъ деревьевъ, и тѣмъ, кто въ полѣ, хочется поскорѣй войти въ лѣсъ, а тѣмъ, кто въ лѣсу, выйти въ поле. У насъ теперь приостанавливается время, одинъ за другимъ смолкаютъ соловьи, и черный дроздъ послѣдней пѣсней заканчиваетъ зорю. Но черезъ минуту надъ прудами закружатся летучія мыши и начнется новая, особенная ночная жизнь...

Какъ-же здѣсь? Буду ждать.

---

Лопари и не думаютъ о солнцѣ, пьютъ чай, очень довольны, что могутъ пить его безгранично: я подарилъ имъ цѣлую четверку.

„Солнце у васъ садится? спрашиваю я ихъ, чтобы и они думали со мной о полуночномъ солнцѣ.

„Закатается. Вонъ за ту вараку. Тамъ!“

Указываютъ рукой на Чуны—тундру. Это значитъ, что они жили внизу у горы и не видѣли за ней незаходящаго солнца. Въ это „комарное время“ они не ходятъ за оленями и не видятъ въ полночь солнца.

---

Что то дрогнуло на солнцѣ. Вѣроятно погасъ первый лучъ. Миѣ показалось, будто кто-то крикнулъ за ущельемъ въ горахъ и потомъ заплакалъ, какъ ребенокъ.

Что это?

У лопарей есть повѣрье: если дѣвушка родить въ пустынѣ, то ребенокъ будетъ плакать и просить у путниковъ о крещеніи.

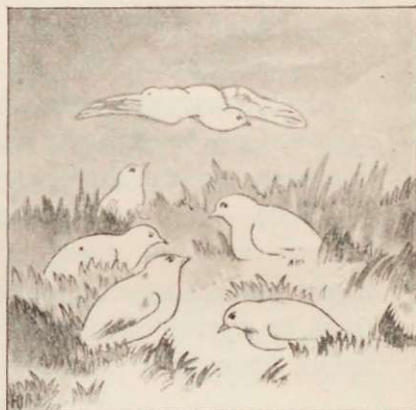
Можетъ быть этотъ ребенокъ и плачетъ?

А можетъ быть это ихъ божество! У нихъ есть свой плачущій богъ. Злой духъ настигъ дѣвушку въ пустынѣ, овладѣлъ ею и оттого родился богъ, который вѣчно плакалъ. Можетъ быть это богъ пустыни плачетъ?

— Что это? Слышите?

— Птица! Куропатъ!

Это вѣроятно крикнула полярная куропатка. Но въ тишинѣ, при красномъ свѣтѣ потухающаго солнца такъ легко ошибиться.



Послѣ одиннадцати. Одинъ лучъ потухаетъ за другимъ.

Лопари напились чаю и вотъ, вотъ заснуть, и я самъ борюсь съ собой изъ всѣхъ силъ. Нужно непременно заснуть, или произойдетъ что-то особенное. Нельзя же сознать себя безъ времени! Не могу вспомнить какое сегодня число.

— Какое сегодня число?

— Не знаю.

— А мѣсяць?

— Не знаю.

— Годъ?

Улыбаются виновато. Не знаютъ. Миръ останавливается.



Солнце почти потухло. Я смотрю на него теперь и глазамъ вовсе не больно. Большой красный мертвый дискъ. Иногда только шевельнется, взбунтуется живой лучъ, но сейчасъ же потухнетъ, какъ конвульсія умирающаго. На черныхъ скалахъ всюду я вижу такіе же мертвые красные круги.

Лопари смотрять на красный отблескъ ружья и говорятъ на своемъ языкѣ, спорять.

— О чемъ вы говорите, о солнцѣ или о ружьѣ?

— О солнцѣ. Говоримъ, что сей годъ лучше идетъ, можетъ и устоится.

— А прошлый годъ?

— Закаталось. Вонъ за ту вараку.

Будто разумная часть моего существа заснула и осталась только та, которая можетъ свободно переноситься въ пространства, въ довременное бытіе.

Вотъ эту огромную черную птицу, которая сейчасъ пересѣкаетъ красный дискъ, я видѣлъ гдѣ-то. У ней большія перепончатая крылья, большіе когти. Вотъ еще, вотъ еще. Одна за другой мелькають черныя точки. Это не птицы, это время проходить тамъ внизу надъ грѣшной землей у людей,

окруженныхъ душными лѣсами. Или это люди бѣгутъ одинъ за другимъ по улицѣ непрерывно долгіе годы? Они бѣгутъ по двумъ протянутымъ веревочкамъ впередъ, впередъ. А я смотрю на нихъ въ окошко, вижу, какъ злой карликъ съ кривыми ногами хочетъ выдернуть веревочки. Какъ жутко смотрѣть, и какъ страшно. Что-то будетъ? Люди не могутъ безъ этого жить. Вотъ одна веревочка, вотъ другая и все перемѣшалось, все столкнулось, кровь, кровь, кровь...



Это не сонъ, это блужданіе освобожденнаго духа при красномъ, какъ кровь, полуночномъ солнцѣ. Вотъ и лопари сидятъ у костра, не спятъ, но тоже гдѣ-то блуждаютъ.

— Вы не спите?

— Нѣтъ.

— Какія это птицы тамъ пролетѣли по солнцу? Видѣли вы?

— Это гуси летятъ къ океану.

---

Солнце давно погасло, давно я не считаю времени. Вездѣ: на озерѣ, на небѣ, на горахъ, на стволѣ ружья разлита красная кровь. Черные камни и кровь.

Вотъ если-бы нашелся теперь гигантскій человѣкъ, который возсталъ бы, зажегъ пустыню по новому, по своему. Но мы сидимъ, слабые, ничтожные комочки, у подножія скаль. Мы безсильны. Намъ все видно наверху этой солнечной горы, но мы ничего не можемъ...

И такая тоска въ природѣ по этому гигантскому человѣку!

---

Нельзя записать, нельзя уловить эти блужданія духа при остановившемся солнцѣ. Мы слабые люди, мы ждемъ и просимъ, чтобы засверкалъ намъ лучъ, чтобы избавилъ насъ отъ этихъ минутъ прозрѣнія.

Вотъ я вижу, лучъ заигралъ.

— Видите вы? спрашиваю, я лопарей.

— Нѣтъ.

— Но сейчасъ опять сверкнулъ, видите?

— Нѣтъ.

— Да смотрите же на горы. Смотрите, какъ онѣ свѣтлѣютъ.

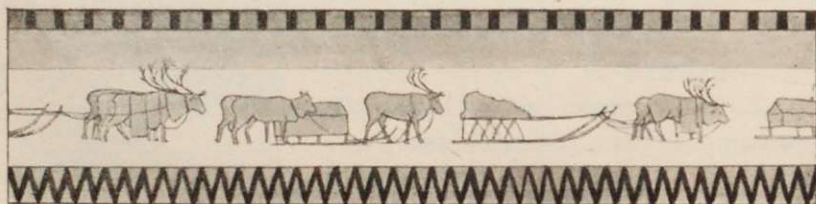
— Горы свѣтлѣютъ. Вѣрно! Вотъ и заиграло солнышко!

— Теперь давайте вздремлемъ часика на два. Хорошо?

— Хорошо, хорошо! Надо заснуть. Тутъ хорошо, комаръ не обижаетъ. Пospимъ, а какъ солнышко станетъ на свое мѣсто, такъ и въ путь.

Послѣ большого озера Имандра до города Колы еще цѣлый рядъ узкихъ озеръ и рѣкъ. Мы идемъ то „тайболой“, то ѣдемъ на лодкѣ. Чѣмъ ближе къ океану, тѣмъ климатъ мягче отъ теплаго морского теченія. Я это замѣчаю по птицамъ. Внутри Лапланди онѣ сидятъ на яйцахъ, а здѣсь постоянно попадаются съ выводками цыплятъ. Но, можетъ быть, я ошибаюсь въ этомъ и раньше не замѣчалъ птенцовъ, потому что былъ весь поглощенъ страстью къ охотѣ. Тутъ что ни шагъ, то выводокъ куропатокъ и тетеревей, но мы не стрѣляемъ и питаемся рыбой. Проходитъ день, ночь, еще день, еще ночь, солнце не сходитъ съ неба, постоянный день. Чѣмъ ближе къ океану на сѣверъ, тѣмъ выше останавливается солнце надъ горизонтомъ и тѣмъ ярче оно свѣтитъ въ полночь. Возлѣ океана оно и ночью почти такое же, какъ и днемъ. Иногда проснешься и долго не поймешь: день теперь или ночь. Летаютъ птицы, порхаютъ бабочки, беспокоится потревоженная лисицей мать-куропатка. Ночь или день? Забываешь числа мѣсяца, исчезаетъ время...

И такъ вдругъ на минуту станетъ радостно отъ этого сознанія, что вотъ можно жить безъ прошлаго и что-то большое начать. Но ничего не начинается, пустыня покоится и мертвый глазъ вѣчно стоитъ надъ горизонтомъ, зорко слѣдить, какъ бы ктонибудь изъ мертвыхъ здѣсь не возсталъ.





ЧАСТЬ II.

---

КЪ ВАРЯГАМЪ.

---



## Глава IV

### Свиданіе у Қанина носа.

9-го Іюля.  
На пристани.

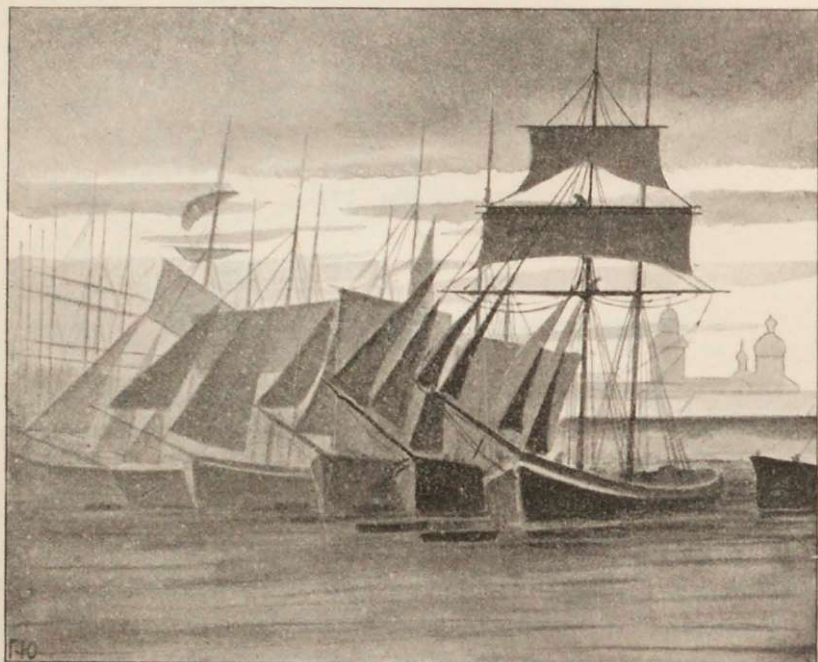
Я опять въ Архангельскѣ, на берегу Двинской дельты, у того самаго камня, гдѣ весной, въ маѣ, остановился мой волшебный колобокъ. Опять тутъ тѣ-же три розстані: въ Соловецкѣ — Лапландію, въ самоѣдскую тундру и въ океанъ. Опять тѣ-же люди: моряки и богомольцы. Я уже прошелъ теперь путь съ богомольцами. Теперь еще опредѣленнѣе, чѣмъ раньше, все ихъ странствованіе мнѣ представляется поклоненіемъ той черной безликой иконѣ, на которой безпокойно дрожить отраженіе пламени. И полуночное солнце мнѣ кажется лампадой, зажженной надъ мертвой пустыней.

Хочется простыхъ ощущеній, общенія съ обыкновенными и свободными людьми.

Множество парусныхъ шкунъ будить во мнѣ множество воспоминаній, переносить меня въ тѣ времена, когда иллюзіи Майнъ-Ридовскихъ романовъ казались легко осуществимыми возможностями: стоило только убѣжать. Въ эти, не такъ счастливыя, какъ кажется, но все-таки дорогія и милыя времена, я всегда и всюду плавалъ на парусномъ суднѣ. Но потомъ исчезали иллюзіи, легко граціозное парусное судно уплывало въ невѣдомую призрачную даль, а здѣсь вблизи вмѣсто него пыхтѣлъ буржуазный скептикъ пароходъ...

И вотъ я снова на опушкѣ зеленого лѣса...





И вотъ я снова на опушкѣ зеленого лѣса...

На Архангельской набережной весело: сколько тутъ мачтъ настоящихъ парусныхъ судовъ!

Трещать канаты, надуваются паруса, десятки шкунъ приплываютъ и уходятъ въ море, сотни стоятъ у берега на якоряхъ, красиво раскачиваются и отражаются въ спокойной водѣ.

Тутъ люди не старѣютъ душой: я вижу пожилого почтеннаго человѣка на самомъ кончикѣ шпигеля; онъ завязываетъ веревочки и вотъ вотъ бухнетъ въ воду. Вижу совсемъ сѣдого старца, похожаго на Николая Угодника; онъ свѣсилъ ноги съ борта и распѣваетъ веселую пѣсню съ бутылкой въ рукѣ. Про малышей и говорить нечего: тѣ такъ и сплываютъ по мачтамъ.

Читаю надписи на судахъ: св. Николай, св. Николай и такъ безъ конца. Почему бы это, думаю, и припоминаю,

что Николай Чудотворецъ имѣлъ власть надъ моремъ. Вспоминаю, что въ былинѣ „Садко“ онъ даже спускается къ водяному и выручаетъ Новгородскаго купца. Ясно, почему моряки называютъ свою „посуду“ въ честь этого угодника. Но мнѣ просто хочется поговорить съ моряками и я спрашиваю ихъ:

„Почему вы называете свои суда Николаями?“

Меня сейчасъ же обступаютъ, смѣются и поясняютъ:

— „А вотъ потому Николаемъ называемъ, что какъ выйдешь въ окіянь, да поднимется погодушка, да зачнутъ какъ *взводни* (волны) горами ходить, такъ тутъ и станешь поминать Николу Угодника, тутъ и примешься его за бока грызть, а потому и называется св. Николай. Поѣзжай, попробуй, и ты вспомнишь, небось забыть.“

Пояснить мнѣ, смотреть на меня, хохочетъ и еще чловѣкъ десять хохочать. Я тоже смѣюсь. А они все приго-



вариваютъ: „попробуй-ка, попробуй.“ Потомъ другъ за другомъ рассказываютъ, какъ ихъ трепало море. Одинъ хватается за канатъ, упирается ногами въ камень, показываетъ, какъ онъ держитъ руль въ бурю, а другіе смѣются, заливаются смѣхомъ и каждый готовитъ новый рассказъ.

— „Попробуй-ка, попробуй!“

— „А возьму, да и попробую...“ говорю я.

— „Что-жь это можно — серьезно отвѣчаютъ мнѣ моряки. Попросишь, любой капитанъ возьметъ на море“.

И въ самомъ дѣлѣ, приходитъ мнѣ въ голову, разъ уже я задумалъ узнать жизнь сѣвернаго человѣка, то прежде всего нужно познакомиться съ моремъ.

„Какъ-бы это устроить, чтобы вышло не долго?“ спрашиваю я...

„Очень просто,“ отвѣчаетъ мнѣ молодой человѣкъ, загорѣлый съ синими морскими глазами, очень просто, поѣдете со мной въ океанъ на десять сутокъ ловить рыбу. Вотъ и узнаете нашу морскую жизнь. У меня судно хотя и паровое, „траулеръ“, но экипажъ весь съ парусныхъ судовъ...“

Молодой человѣкъ капитанъ, хозяинъ небольшого англійскаго парового рыбацкаго судна, перваго траулера въ Россіи на сѣверномъ Ледовитомъ океанѣ. Каждые десять сутокъ онъ совершаетъ рейсъ въ океанъ и ловитъ рыбу приблизительно у Канина носа.

Я радуюсь его предложенію, какъ ребенокъ, мнѣ кажется, будто я бѣгу въ Америку. Я, конечно, согласенъ.

— „Но только помните, говоритъ мнѣ капитанъ, если съ вами приключится морская болѣзнь, то высадить васъ ни куда не можемъ; развѣ въ Тиманскую тундру къ самоѣдамъ.“

— „Ничего, отвѣчаю я, ничего...“

— „Вотъ и попробуешь,“ смѣются опять моряки, „попробуй-ка, попробуй.“ И все жмутъ мнѣ на прощанье руку,



хотя и незнакомые. Какіе незнакомые! Я, конечно, врядъ-ли узнаю ихъ при встрѣчѣ, — но они меня навѣрно узнаютъ и помнить:

— „Да вотъ на пристани ты спрашивалъ, почему мы свою посуду по Николаю Угоднику называемъ... Ну, какъ же, попробовалъ, знаешь теперь“?

\* \*  
\* \*

### Бѣлая ночь.

— „Это не путешествіе, это романъ, да еще съ великой княгиней Ольгой“ — сказалъ мнѣ на дняхъ мой знакомый, выслушавъ мой рассказъ о поѣздкѣ въ океанъ.

— „Да, отвѣтилъ я, если бы только Ольга была настоящая Ольга“...

Но вотъ мой рассказъ.

Условившись съ капитаномъ траулера, я отправился къ себѣ въ гостиницу. Служитель внесъ въ мой пыльный номеръ самоваръ, пожелалъ спокойной ночи и закрылъ дверь. — Я остался вдвоемъ съ самоваромъ. Это одиночество въ пути такъ пріятно волнуетъ. Завтра встрѣтятся интересные новые люди, завтра захватитъ новая незнакомая жизнь, но сегодня вотъ этотъ пыльный номерокъ... и ни одного знакомаго во всемъ городѣ, кромѣ капитана.

На потолокъ, на стѣнахъ густая пыль и паутина, сверху спускается паукъ и, испуганный паромъ самовара, спѣшитъ наверхъ. Беру письма и читаю одно за другимъ, самъ пишу, не замѣчаю, какъ мало по малу останавливается день, наступаетъ свѣтлая лѣтняя архангельская ночь. Одно письмо меня раздражаетъ, я разрываю его на мелкіе клочки и открываю окно, чтобы выбросить. И тутъ замѣчаю, что уже ночь, тихо, свѣтло, совсѣмъ какъ днемъ свѣтло, но все измѣнилось, потому что все остановилось. Пускаю въ воздухъ листки бумаги, они слетаютъ внизъ; слышно, какъ странно шелестить, падая на камни, и останавливаются, и глядятъ мол-

чаливые, но еще болѣе непріятные для меня тамъ внизу, чѣмъ тутъ, въ гостиницѣ. Я со злобой смотрю на нихъ, они на меня.

Вдругъ съ трескомъ открывается окно возлѣ меня... Вдрагиваю, пронизанный иголками ужаса, вижу рядомъ съ собою человѣческую голову...

Ничего особеннаго. Просто жилецъ изъ сосѣдняго номера заинтересовался моими бумажками и открылъ окно.

— „Вы меня испугали...“

— „Извините...“

И мы оба смотримъ на бумажки. Но бѣлюю ночью, когда все молчитъ, совѣмъ уже неловко такъ рядомъ сидѣть и молчать.

— „Вы куда ѣдете?“ — спрашиваетъ онъ.

— „Къ Канину носу.“

— „А вы?“

— „На Новую землю.“

Мы разговариваемъ одними словами, одними настроеніями и черезъ пять минутъ мой новый знакомый переходитъ ко мнѣ.

Наше общеніе призрачно такъ же, какъ эта бѣлая ночь. Быть можетъ, завтра мы разстанемся, какъ чужіе люди, и никогда не встрѣтимся. Но сейчасъ мы близки, мы готовы открыть другъ другу все, что есть на душѣ.

Мой знакомый ѣдетъ тѣмъ же путемъ, какъ и я, на Новую землю на большомъ прекрасномъ пассажирскомъ пароходѣ „Великая княгиня Ольга“, а я на маленькомъ св. Николаѣ. Мы предполагаемъ возможность нашей встрѣчи въ океанѣ и радуемся этому. Онъ зоологъ, ѣдетъ изучать птицъ. Онъ не простой ученый, а поэтъ своего дѣла, романтикъ. Цѣлое лѣто онъ будетъ на Новой землѣ въ палаткѣ въ совершенномъ одиночествѣ.

— „Тамъ есть нѣсколько самоѣдовъ, говоритъ онъ, кажется, поселенныхъ тамъ правительствомъ, и только... Они мнѣ помогутъ при охотѣ на звѣрей и птицъ.“

Онъ увлекается и приглашаетъ меня въ свой номеръ, показывааетъ металлическое блюдо, въ которомъ онъ будетъ себѣ варить уху, кашу, жарить птиць; показывааетъ палатку, нѣсколько мѣховыхъ вещей, ружье...

— „И все? спрашиваю я.“

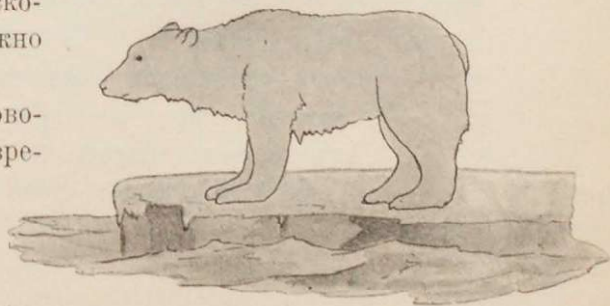
— „И все... улыбается онъ... Такъ вотъ и буду жить“...

Онъ улыбается мнѣ такъ, будто стыдится, что съ него спала одежда ученаго, взрослого и остался мальчикъ, которому хочется позабавиться съ ружьемъ на пустынномъ полярномъ островѣ.

И мнѣ снова, какъ и въ первый разъ на Архангельской пристани, кажется, что времена капитана Гаттераса возвращаются. Мнѣ чудится, что это не случайный дорожный знакомый, а одинъ изъ моихъ маленькихъ школьныхъ друзей, съ которыми я когда то пробовалъ удрать въ невѣдомую, дивную страну...

Мы долго говоримъ о сахарѣ и сухаряхъ... Сколько ихъ нужно, чтобы прожить три мѣсяца на Новой землѣ? Это сложное вычисленіе. И брать ли съ собою солонину? Зачѣмъ брать, когда на Новой землѣ живутъ несмѣтныя стаи гусей, водится множество оленей, попадаются бѣлые медвѣди. Убить одного оленя, и хватить надолго: на Новой землѣ, кажется, нѣтъ бактерій гніенія, значить, мясо сохранится долго. А можно-ли на тюленьемъ жиру поджарить гусей? Вотъ вопросъ! Да гусей-же можно жарить въ собственномъ жиру! И мы оба вспоминаемъ, что въ дѣтствѣ насъ почему то мазали гусинымъ саломъ, кажется, отъ простуды. А потомъ еще есть рыбій жиръ, тресковый, на немъ тоже можно жарить.

Такъ мы долго говоримъ, потерявшись во времени, забывая о движеніи ночи, свѣтлой





Архангельской, не мигающей звѣздами. Комнаты наши рядомъ. Разойдясь потомъ, мы все еще переговариваемся.

Трудно заснуть такою ночью... Не спится... Мнѣ вспоминается то время, когда мы дѣти, оставивъ свои ранцы съ книжками въ городскомъ саду подъ кустомъ, пустились по рѣкѣ на лодкѣ въ какую то невѣдомую, прекрасную страну.

Какъ она называлась? силюсь я вспомнить. Мы называли ее Америкой, но иногда и Азіей, и Австраліей... Это была страна безъ территоріи, безъ названія, населенная дикарями, которыхъ мы должны побѣдить, добрыми и злыми животными, растеніями съ широкими зелеными листьями... Мы плыли на лодкѣ и изгибистая рѣчка то открывала, то закрывала зеленыя ворота. Ночью, нашей ночью, звѣздной, мы вышли на лугъ и стали рубить саблями высокій тростникъ, совѣмъ будто сражаясь съ дикарями... Тростникъ мы побросали въ лодку, а на лугу зажгли костеръ и пробовали изжарить на вертелѣ убитую чайку... Но тутъ на лугу кто-то еще развелъ огонекъ и усѣлся, большой, черный, спиной къ намъ, бороною къ огню. И кто-то совѣмъ близко шевельнулся въ травѣ и сталъ подползать... Мы бросились къ лодкѣ, усѣлись на сухой тростникъ, отплыли на середину рѣки. Но съ луга къ берегу все ползли и ползли, шелестѣли и высматривали насъ изъ травы...

За стѣной не спитъ, зѣваетъ и перевертывается съ боку на бокъ мой новый товарищъ. Я вспоминаю, что забылъ посоветовать ему очень важное въ дорогѣ, безъ чего невозможно ѣсть самоѣдскую уху: взять съ собой перцу и лавроваго листа.

— „Вы не спите?“

— „Нѣтъ, завѣшиваю окно: свѣтло, непривычно...“

— „Захватите перцу и лавроваго листу.“

— „Ахъ да, вотъ спасибо. О чемъ вы думаете?“

— „О какой то дивной странѣ, куда мы въ дѣтствѣ бѣжали.“

И рассказываю.

— „А какъ же страна называлась?“

— „Страна безъ названія, смѣюсь я ему, безъ территоріи.“

— „Я тоже хотѣлъ туда удрать,“ говоритъ онъ.

— „Почему же не удрали?“

— „Такъ что-то... А жаль, не удрали. Теперь сталь естественникомъ, территорія всякой страны изучена до точности... Теперь ужъ не убѣжишь... Тогда нужно было, а не теперь. Да, знаете? И пропасть бы тамъ что ли, какъ нибудь такъ совсѣмъ...“

— „Ну, ужъ нѣтъ,“ говорю я, „вотъ съѣздимъ еще на Новую землю, въ океанъ. Покойной ночи, завтра мы съ вами разстанемся и непременно встрѣтимся у Канина носа, подумайте: свиданіе св. Николая и Великой княгини Ольги у Канина носа!“

\* \* \*

## Отъездъ.

Такъ начался романъ „св. Николая“ и „Великой княгини Ольги.“ Ночью въ сумеркахъ, мы рѣшали ихъ судьбу, какъ античные боги на Олимпѣ, а оба судна стояли рядомъ у берега: Ольга еще молчаливая, а Николай взволнованный, на парахъ. Когда на другой день мы подошли къ нимъ, чтобы попросить капитановъ о встрѣчѣ у Канина носа, моряки бесѣдовали съ картой въ рукъ на палубѣ Ольги. Намъ и не нужно было просить, они уже говорили объ этомъ свиданіи. На Ольгѣ ѣхало нѣсколько туристовъ и туристокъ, и капитанъ хотѣлъ имъ доставить удовольствіе: посмотрѣть траулеровый ловъ рыбы въ океанѣ. А капитанъ Николая, какъ человѣкъ практичный, просилъ привезти ему соли, потому что на суднѣ ея было мало, а времени для покупки и нагрузки ея не оставалось.

Съ циркулемъ въ рукѣ они блуждали по океану и устанавливали точку встрѣчи. Кажется, миль тридцать за Канинымъ носомъ въ океанѣ.

— „Встрѣтимся, встрѣтимся,“ говоритъ намъ одинъ.

— „Вотъ только, если туманъ,“—сомнѣвается другой.

— „Почаще свистѣть и услышимъ.“

— „А если прокинетъ теченіемъ въ туманъ? Только врядъ-ли туманъ будетъ.“

Въ это время подошли и туристы — нѣсколько дамъ и мужчинъ; они хотятъ прокатиться на Новую землю и просятъ капитана показать имъ помѣщеніе на „Ольгѣ“. Мы спускаемся внизъ въ удобныя пассажирскія каюты, пробуемъ садиться на мягкіе пружинные диваны, вездѣ такъ хорошо, удобно. Одна изъ дамъ, въ черномъ плащѣ и съ дорожной сумочкой черезъ плечо, подняла крышку піанино и взяла аккордъ... Эти звуки почему-то надолго остались во мнѣ. Веселый разговоръ съ дамами и звуки піанино совсѣмъ не шли къ новоземельскому настроенію моего новаго пріятеля...

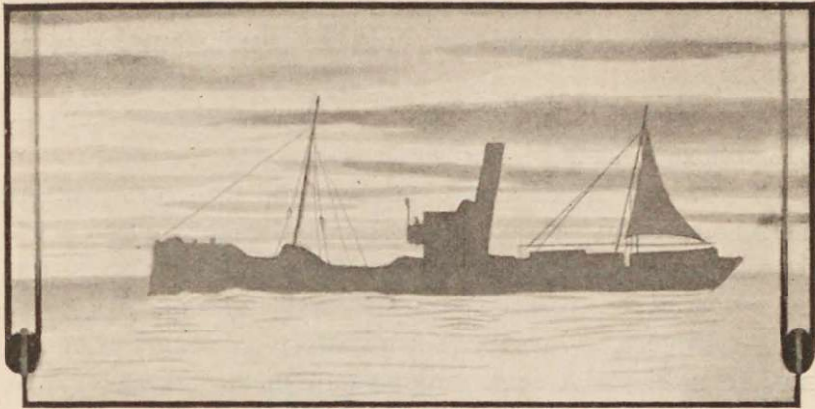
— „Пойдемте, — шепнулъ онъ мнѣ, — осмотримъ „Николая,“ да и время намъ ѣхать.“

— „Ничего, — утѣшаю я его, — они же не останутся на Новой землѣ.“

— „Да, но все-таки хотѣлось бы болѣе подходящее введеніе, этимъ можемъ мы насладиться и дома“.

По узенькой дощечкѣ, рискуя по непривычкѣ свалиться въ воду, мы взобрались на бортъ „Николая“. На палубѣ капитанъ, все еще въ своемъ джентльменскомъ костюмѣ, и чело-вѣкъ пятнадцать поморовъ-матросовъ сустились, готовясь къ отъѣзду. Капитанъ сталъ намъ показывать свой пароходикъ и рассказывать его біографію: родился въ Англіи, дѣтство и начало юности провелъ на родинѣ и въ своей лучшей порѣ, восьми лѣтъ, явился въ Россію; старѣютъ траулеры быстро: въ 30 лѣтъ уже дряхлые старики, вотъ потому нужно пользоваться временемъ и совершать поѣздки





въ океанъ черезъ каждые десять дней. Капитанъ намъ разсказалъ, что пароходикъ вовсе не такъ сильно качаетъ, какъ можно думать судя по его сравнительно небольшимъ размѣрамъ (110 футовъ), потому что онъ сидитъ глубоко, на 14 футовъ, при нагрузкѣ углемъ до 6.000 пудовъ. Такая нагрузка всегда одинакова, потому что по мѣрѣ сжиганія угля прибавляется вѣсъ пойманной рыбы. Капитанъ объяснялъ намъ еще технику лова рыбы, но я плохо слушалъ, потому что предстояло видѣть это цѣлыхъ десять дней; я все разсматривалъ интересныя загорѣлыя лица моряковъ-поморовъ.

Потомъ мы прошли въ кухню и оттуда по темной, почти отвѣсной лѣстницѣ спустились внизъ, въ каюту. Тамъ мнѣ показалось лучше, чѣмъ я ожидалъ, только немного тѣсно-вато. Комнатка, шаговъ въ пять въ длину и ширину, освѣщается сверху иллюминаторомъ. По серединѣ неподвижный столъ и надъ нимъ висячая лампа. Стѣнами этой комнатки служатъ дверцы шкафовъ, въ которыхъ помѣщаются койки машиниста, помощника машиниста, штурмана; у капитана съ его братомъ юнгой отдѣльный, болѣе просторный двухмѣстный шкафъ, освѣщенный сверху иллюминаторомъ. Одна изъ этихъ коекъ предназначалась мнѣ. Здѣсь, на кормѣ,

помѣщается привилегированная часть экипажа, а въ носовой части судна, въ совершенно такой же каютѣ, устраиваются матросы.

— „Славно, завидую вамъ,“ — сказалъ мнѣ зоологъ, — вотъ только покачаетъ же васъ!“

И мнѣ отъ этихъ словъ показалось, что тутъ какъ-то особенно пахнетъ, и какъ-то странно въ такой, слабо освѣщенной сверху, комнаткѣ, погруженной въ воду; вотъ-вотъ она качнется.

— „Ничего,“ — отвѣтилъ капитанъ, — „большія суда еще сильнѣе качаетъ. А если шторма не будетъ, такъ и хорошо, какъ покачиваетъ, будто въ люлькѣ.“

Тутъ я замѣтилъ, что у меня выскочила запонка и покатила по полу. Я сталъ искать ее, но не могъ найти. Веѣ мы искали долго и все таки не находили. Наконецъ, капитанъ сказалъ:

— „Некогда, господа, пора ѣхать. Ничего, найдется потомъ, молоко изъ лодки не выльется...“

— „Какое молоко?“ — не догадался я.

— „Это такая поговорка у насъ,“ — засмѣялся онъ. — „Бабы съ острововъ молоко возятъ въ Архангельскъ, онѣ, вѣрно, и выдумали, а теперь у насъ такъ всѣ говорятъ. Пойдемте, господа, пора ѣхать.“

Я еще разъ окинулъ глазомъ эту подводную комнатку, изъ которой и въ самомъ дѣлѣ молоку никакъ нельзя вылиться, и стало будто немного неприятно, жутко: десять сутокъ качаться въ океанѣ, жить въ этой, странно освѣщенной комнаткѣ съ морскимъ запахомъ. Вотъ говорятъ, пришло мнѣ въ голову, о свободной жизни моряковъ; и тутъ такая маленькая, качающаяся камера... Но это было только одно мгновеніе. На палубѣ насъ встрѣтило солнце, просторъ широкой рѣки и суета матросовъ...

Зоологъ пожалъ намъ руку и сошелъ на берегъ. За нимъ сейчасъ-же убрали трапъ.

„Николай“ свистить, шипить. Но „Ольга“ съ группой туристовъ молчить.

„До свиданья! — кланяюсь я имъ...“

„До свиданья, — отвѣчаютъ они мнѣ.“

— „Отдай лебедку! Бухту скинь! Отдай вязки! Якорь чистъ?“

— „Чистъ.“

— „До свиданья,“ — кричатъ намъ и машутъ платками.

— „У Канина носа!“ — отвѣчаю я имъ.

Зоологъ съ туристами скоро исчезаютъ за баркой, видна только дама въ черномъ плащѣ на носу парохода.

Мы поднимаемъ флагъ, дѣлаемъ „Ольгѣ“ салютъ. Она намъ отвѣчаетъ.

— До свиданья, „Княгиня Ольга!“

— До свиданья „Св. Николай!“

\* \* \*

## По Маймаксѣ.

Я почему то раньше представлялъ себѣ, что Архангельскъ лежитъ у самаго моря, совершенно забывъ треугольникъ Двинской дельты, въ 35 верстѣ длиною съ запада и въ 50 верстѣ съ востока. Тутъ множество острововъ, множество протоковъ, такъ что разобраться въ лабиринтѣ безъ карты совершенно невозможно. Кое гдѣ по этимъ островамъ виднѣются деревеньки, первые поселки новгородцевъ въ странѣ сѣверной чуди, какъ указано въ путеводителѣ. Но большинство ихъ не занято, многіе такъ болотисты, что и совершенно негодны для поселенія.

— „Что тутъ птицы бываютъ!“ — рассказываетъ мнѣ матросъ Матвѣй, здоровенный, коренастый, курносый новоземельскій охотникъ. „Птицы тутъ великое множество: утки, гаги, гуси прилетаютъ.“



Этотъ Матвѣй мнѣ прежде всѣхъ бросился въ глаза и понравился своимъ открытымъ и веселымъ лицомъ. У него въ рукѣ звѣробойное ружье, норвежскій ремингтонъ, съ которымъ онъ не разстается.

— „Тутъ на морѣ всякая штука можетъ встрѣтиться,— поясняетъ онъ мнѣ,— заяцъ морской, нерыпа, бѣлуха, косатка.“

— „Неужели же такихъ огромныхъ животныхъ, какъ косатка и бѣлуха, можно убить пулей?“ — сомнѣваюсь я.

— „Точку надо знать“, — говоритъ онъ, — „въ сердце попасть, тогда убьешь. Только вотъ тонуть. Застрѣлишь, взреветъ и потонетъ, рѣдко захватишь.“

Замѣтивъ мое сомнѣніе въ томъ, что онъ можетъ пулей попасть въ движущуюся точку, Матвѣй прицѣливается въ летящую чайку и стрѣляетъ. Большая морская чайка съ темными крыльями и съ бѣлоснѣжной шеей спотыкается въ воздухъ и падаетъ въ воду.

А Матвѣй все такъ же спокойно, отъ полноты здоровья, улыбается, какъ и до выстрѣла. И мнѣ кажется, что такіе удачные выстрѣлы можно дѣлать, когда въ душѣ нѣтъ ни одной малѣйшей царапинки, когда тамъ все просто, спокойно растетъ и разогрѣтое выпираетъ наружу.

— „Жарко мнѣ“, — говоритъ Матвѣй, — „не привыкли мы къ жарѣ“, — и снимаетъ свой пиджакъ. И другіе снимаютъ. Всѣмъ жарко. Но мнѣ совсѣмъ не жарко, я даже не понимаю, какъ можно при этомъ остренькомъ яркомъ сѣверномъ солнцѣ чувствовать жару.

Пока мы ѣдемъ по извилистой узкой рѣчкѣ Маймакеѣ, я знакомлюсь со всѣмъ экипажемъ и фотографирую интересующія меня лица. И какъ же любятъ эти простые люди фотографироваться!.. Мнѣ кажется даже, что въ основѣ этого лежитъ что то серьезное, въ родѣ того, какъ для насъ написать книжку, оставить вообще по себѣ слѣдъ, объективироваться. И въ самомъ же дѣлѣ, вотъ хотя бы этотъ ста-

рикъ въ ирландскихъ брюкахъ, котораго здѣсь называютъ всѣ дядей; на лицѣ этого старика написано, что онъ разъ десять тонулъ и его спасали, и разъ десять онъ спасалъ и что если онъ булькнетъ въ воду, то кромѣ минутныхъ кружковъ на водѣ ничего не останется. А то вотъ я его сфотографирую и онъ повѣситъ портретъ въ „чистой“ комнатѣ надъ столикомъ съ тюлевой скатертью. На него будутъ смотрѣть изъ угла преподобные Зосима и Савватій и птица Сирень, а съ потолка вырѣзанный изъ дерева и окрашенный въ синюю краску голубеночекъ, „въ родѣ какъ бы Святой Духъ.“ И такъ въ этой чистой комнатѣ, куда заглядываютъ хозяева только въ торжественныхъ случаяхъ, будетъ висѣть старикъ-поморъ, потомъ сынъ съ женой и съ дѣтьми. Постепенно возникнетъ любопытнѣйшая семейная галлерея, въ этой чистой комнатѣ съ тюлевыми занавѣсками и старинными образами.

Вотъ почему, знакомый немного съ архангельскимъ бытомъ, я съ удовольствіемъ снимаю такихъ людей. Старикъ въ ирландскихъ брюкахъ застѣнчивъ. Онъ мнется, топчется, искоса поглядываетъ на меня, наконецъ, подходитъ и спрашиваетъ: „Почемъ?“ — и не я пріѣду ли къ нему въ Мудьюгу и не сниму ли я его съ супругой.

— „Зачѣмъ тебѣ?“ — спрашиваю я.

— „Какъ зачѣмъ, а то такъ помрешь и никто о тебѣ не узнаетъ.“

Я навожу аппаратъ, но онъ пугается, ему надо расчесать волосы, смазать ихъ масломъ, чтобы было „честь честью.“ Онъ долго возится внизу и является наверхъ съ пробормотомъ посрединѣ, тѣмъ самымъ человѣкомъ, который поражаетъ насъ на фотографіяхъ величайшей искусственностью позы и напряженностью лица. Я его фотографирую, онъ испытываетъ глубочайшую благодарность и садится, добрый, возлѣ меня на канатахъ. Немного молчитъ и спрашиваетъ:

— „Откулешній?“

— „Изъ Петербурга.“

— „А родина?“

Я назвалъ. Онъ помолчалъ.

— „А по какому же ты дѣлу ѣздишь?“

— „Карточки снимаю.“

— „Тѣмъ и занимаешься?“

— „Тѣмъ и занимаюсь.“

Опять мы молчимъ.

— „А жена есть?“

— „Есть.“

— „И дѣточки есть?“

— „Есть.“

— „Ну, слава Богу,“ — говоритъ онъ, наконецъ, вполне удовлетворенный и съ открытой душой.

Я подвергаю дядю такому-же допросу. Онъ изъ Мудьюги, торговой бѣломорской деревни, недалеко отъ Двинской губы, на Зимнемъ берегу. Зажиточные поморы этой деревни вѣдутъ торговлю съ Норвегіей, плаваютъ туда на тѣхъ самыхъ шкунахъ, которыя я видѣлъ съ Архангельской пристани. Изъ Мудьюги вышло много очень смѣлыхъ и зажиточныхъ, или, какъ выражается дядя, „прожиточныхъ“ мореходовъ. Капитанъ траулера тоже изъ Мудьюги и оказывается племянникомъ моего старика. — Такъ вотъ откуда ирландскія брюки, — думаю я. Но нѣтъ, дядя ихъ купилъ самъ въ Англіи. Почти всѣ матросы нашего судна бывали за границей, у всѣхъ въ костюмахъ есть слѣдъ вліянія Европы. Между первобытными дядей и Матвѣемъ и джентльменомъ, вполне европейцемъ, капитаномъ, цѣлая лѣстница. Мнѣ хочется понять этотъ переходъ, взять что нибудь среднее, и я знакоплюсь съ юношей юнгой, братомъ капитана. Онъ ученикъ шкиперской школы, совѣмъ мальчикъ на видъ, но выполняетъ всѣ обязанности матроса. У него бездна желаній, онъ могъ бы побывать уже въ Лондонѣ и Парижѣ, ему уже предлагали мѣста на иностранныхъ судахъ съ жалованьемъ



50 кронъ въ мѣсяцъ, но братъ не выпускаетъ его изъ подъ своей опеки. — А вы откуда? — спрашиваетъ онъ меня. Я называю. — „Тамъ соловьи поютъ, видали вы соловьевъ? А Парижъ видѣли, а Италию?“ Къ намъ подходитъ другой юнга, постарше, этотъ уже вездѣ бывалъ и имѣетъ видъ необычайной самоувѣренности. Онъ спрашиваетъ меня, въ какомъ журналѣ ему помѣстить свое сочиненіе. Оно еще не начато, но будетъ написано непрерывно, онъ изложитъ все, что знаетъ объ океанѣ. Молодой человекъ оказывается очень интереснымъ и энергичнымъ. Онъ рассказываетъ мнѣ, сколько онъ перенесъ невзгодъ прежде чѣмъ попалъ въ шкиперское училище и сдѣлался тамъ первымъ ученикомъ.

— „Прежде всего я былъ кокомъ, то есть, по вашему, поваромъ.“

— „Вотъ такимъ?“ — сказалъ я ему, указывая въ кухню на молодого парня, страшно грязнаго, съ раскрытымъ ртомъ и пальцемъ въ носу.

— „Нѣтъ,“ — засмѣялся онъ, — „это вологодскій кокъ, они приходятъ изъ Вологодской губерніи и привыкаютъ къ морю уже взрослыми. А я природный поморъ и началъ плавать на парусномъ суднѣ мальчикомъ. На шкунѣ кокъ долженъ все дѣлать, не только пищу готовить. Чуть что не изладишь, тутъ тебѣ сейчасъ волосянка. Тутъ ужъ не станешь вотъ такъ пальцемъ ковырять. Бывало, въ повѣтеръ хозяинъ проснется, почешется, потянется, встанетъ, посмотритъ на море, зѣвнетъ: „побережникъ! Ванька, ставь самоваръ!“ Еще почешется: „Подожди, не надо.“ И опять завалится. Проснется: „Гдѣ самоваръ? Я тебѣ сказалъ самоваръ ставить!“ И волосянка. — „Ставь!“ — кричитъ. Побѣжишь ставить. „Стой! Дай квасу!“ Таскаютъ, таскаютъ, то пищу готовить, то рыбу солить, то паруса сшивать. И нѣтъ отдыху, хоть повѣтеръ, хоть штормъ. Рѣдкій дойдетъ до штурмана или капитана, а то такъ пропадаютъ всю жизнь въ матросахъ. Нужно очень бойкимъ быть!“

Онъ опять указалъ мнѣ на вологодскаго кока и засмѣялся.

— „Ну, далеко ли уйдетъ такой человѣкъ. Да и мнѣ бы сидѣть вѣки-вѣчные матросомъ, если бы самъ за умъ не взялся. Отдалъ меня батюшка, покойникъ, въ Соловецкій монастырь годовикомъ. Осмотрѣлся я тамъ. Кончился срокъ. Нѣтъ, говорю, батюшка, не стану я такъ по вашему жить. Да и ушелъ изъ дому. Вотъ такъ и наладился. Обѣздить весь свѣтъ, ѣздить и съ англичанами, и съ норвежцами, и съ нѣмцами, бывалъ на звѣриномъ промыслѣ на Новой землѣ, знаю все морское дѣло и вотъ теперь первымъ ученикомъ кончаю, осталось одно лѣто практики.“

А батюшка его, думаю я, былъ, навѣрно, вотъ такимъ, какъ этотъ дядя въ ирландскихъ брюкахъ, такимъ же крѣпкимъ корнемъ, считавшимъ за великій грѣхъ высунуться изъ подъ земли, державшимся всю жизнь за какія то свѣтлыя точки тамъ, въ темнотѣ, и все укрѣплявшимся и коренѣвшимся, пока не настали другія времена.

— „Край нашъ богатый, непочатый,“ — продолжаетъ юноша, — „море наше кишитъ звѣремъ, только возьмись, приложи руки. Старики наши, вотъ хоть этотъ дядя, на льдинахъ плавали за звѣремъ. Развѣ можно такъ промышлять! Себя не жалѣли, не понимали. Они вотъ такъ плаваютъ по океану на льдинѣ, пока ихъ вѣтеръ къ берегу принесетъ. И рады, если по 200 по 300 рублей на брата выручатъ. А англичане и норвежцы тутъ же съ своихъ судовъ имъ черезъ голову стрѣляютъ и десятки тысячъ увозятъ.“

Я слушаю юношу и думаю о томъ, какой высшій предѣлъ возможности его развитія здѣсь, чѣмъ оно удовлетворится, какъ кончится его карьера.

И будто въ отвѣтъ мнѣ тають узкіе берега Маймаксы и открывается безкрайная даль Бѣлаго моря...

## Въ горлѣ Бѣлаго моря.

Я цѣлый день не схожу съ палубы: такъ хорошо на солнечномъ угрѣвѣ, возлѣ дышащаго холодкомъ сѣвернаго моря. А вечеромъ и совсѣмъ нельзя уходить: мы должны въѣхать въ горло Бѣлаго моря, въ ту узкую часть его, которая выводитъ въ океанъ. Мы должны увидѣть Терскій берегъ Лапландіи, должны проѣхать мимо острова Сосновець, черезъ который проходитъ полярный кругъ. Тамъ, въ это время года, солнце уже не садится и можно видѣть полуденное сіяніе. Но дядя обѣщаетъ туманъ и качку. У него примѣта: если супъ пересоленъ, то, значить, будетъ качка и туманъ, а супъ былъ сильно пересоленъ...

Такъ я стою и жду, когда солнце остановится и поднимется наверхъ. Легкій вѣтерокъ NO холодитъ, небольшое волненіе, верхушки волнъ свѣтятся, зеленѣя, и разсыпаются бѣлыми гребешками. Налѣво колышутся какія-то тяжелыя бѣлыя полосы.

— „Это туманъ?“

— „Нѣтъ, не туманъ, это тепло полѣзло съ берега. Вотъ туманъ!“

Старикъ показываетъ рукой прямо, впередъ. Тамъ, далеко, будто подпирая солнце, пушится бѣлая гряда горъ.

— „Гдѣ-же туманъ?“

— „А вотъ эта стѣнка и есть туманъ,“ — показываетъ онъ рукой на пушистыя горы. — „У насъ примѣта: какъ подуетъ полуночникъ (NO), то придетъ туманъ рано или поздно. Обязательно придетъ. Потому придетъ, что этотъ вѣтеръ гонитъ туманъ со льдовъ, съ Новой земли.“

Я всматриваюсь въ стѣнку, она бѣжитъ на насъ, подвигается съ страшной быстротой. Вотъ покраснѣло и сплюснулось солнце, и разошлось, и будто растворилось въ туманѣ. — Окутало сыростью и мертвымъ бѣлымъ мракомъ, дохнуло льдинами Новой земли. И такъ проходитъ долго, долго.



— „Слѣпой туманъ!“ — говоритъ дядя.

— „Гдѣ мы теперь?“ — спрашиваю я.

— „А Богъ знаетъ, гдѣ... Сосновець, вѣрно, уже про-  
ѣхали“...

Онъ рассказываетъ мнѣ объ этихъ мѣстахъ страшныя исторіи. Каждое изъ такихъ именъ, какъ островъ Моржовець, Три острова, мысъ Городецкій, Орловъ, Св. Носъ, въ его душѣ написаны безчисленными кораблекрушеніями, украшены легендами, преданіями.

Въ горлѣ Бѣлаго моря, гдѣ океанская вода встрѣчается съ бѣломорской, образуются опаснѣйшіе водовороты, „сувои“, и дядю много разъ обносило вокругъ Моржовца теченіемъ, или „вѣнчало“, какъ онъ говоритъ. И вѣнчало его не на шкунѣ, даже не на лодкѣ, а на льдинѣ. Этотъ старикъ зимой съ семьєю такими же, какъ онъ, безстрашными товарищами выбираютъ большую льдину, садятся на нее и ѣдутъ такъ по морю, вполне покоряясь стихіи, волѣ Божіей... Льдину носитъ вѣтромъ и теченіемъ, охотники стрѣляютъ морскихъ звѣрей и дожидаются, когда Господь принесетъ ихъ къ берегу. Обыкновенно Господь милуетъ ихъ и оставляетъ въ „своемъ морѣ“. Но, бываетъ, и гнѣвается, и „проноситъ“ сюда, въ горло Бѣлаго моря. Тутъ ихъ „вѣнчаетъ“ вокругъ Моржовца, уноситъ дальше въ океанъ. Остается одна надежда — на Канинъ носъ. Но если и мимо Канина пронесетъ, то тогда всякія земныя помышленія нужно отбросить и положиться на одного Господа Бога. И бываетъ, что ихъ вынесетъ на Новую землю и даже на далекую Печору...

— „Всяко бываетъ, -- говоритъ старикъ, -- всякое Господь посылаетъ испытаніе намъ, грѣшнымъ, на сей землѣ. Когда милуетъ, когда казнить. Намъ-ли знать Его, Господніе, пути. Но только много, много головъ нашихъ тутъ складено. Нѣсть имъ числа... Вотъ тоже Семена лонисъ (прошлый годъ) у Городецака волной стегнуло“...

И онъ рассказываетъ, какъ у Семена разбило въ темную ночь шкуну у Трехъ острововъ, какъ при свѣтѣ волнъ (фосфорическомъ) они съ разбитаго на камняхъ судна увидѣли близко черныя скалы Лапландіи и, привязавъ къ высокой мачтѣ веревку, раскачнувшись, по одному перелезли на берегъ. Рассказываетъ, какъ это судно приливомъ подвинуло къ берегу и какъ они сдѣлали изъ него костеръ, чтобы обогрѣться. Семень-же крѣпко плакалъ, тужилъ, потому что 800 пудовъ семги унесло и судно разбило, а потомъ и вовсе взбѣсился, но его тутъ сѣтями опутали и онъ стихъ у костра.

— „Да гдѣ же мы теперь?“ — спрашиваю я, взволнованный этими рассказами, протестующій и будто сдавленный со всѣхъ сторонъ этой надвигающейся невѣдомой полярной силой. — „Гдѣ мы теперь?“

— „Про то Богъ вѣдаетъ, кругомъ туманъ, слѣпой туманъ...“

\* \* \*

### Жизненная качка.

— „Гдѣ мы?“ — спрашиваю я тревожно капитана, спустившись внизъ.

— „Не знаю“, — говоритъ онъ мнѣ спокойно, „туманъ, вѣроятнo, гдѣ нибудь около Сосновца.“

Онъ совершенно спокоенъ, потому что проѣзжалъ здѣсь сотни разъ и вполне довѣряетъ штурману.

Иллюминаторъ чуть блѣднѣетъ наверху и мнѣ не видно капитана. Знаю только, что онъ лежитъ въ койкѣ, потому что вижу тамъ красный огонекъ его сигары.

Вдругъ я чувствую, что будто наша каютка опрокидывается, что я теряю способность ориентироваться, твердое непоколебимое пространство будто становится жидкимъ и ускользаетъ.

— „А знаете“, говоритъ капитанъ, „тутъ, въ горлѣ моря, непременно качка будетъ. Чувствуете, какъ славно качнуло?“

Я спѣшу лечь на койку и избѣжать этимъ легкаго головокругленія.

А капитанъ, какъ ни въ чемъ не бывало, философствуетъ и рассказываетъ мнѣ свою морскую жизнь. Ему хочется рассказать мнѣ, стороннему человѣку, о себѣ, въ родѣ того, какъ дядѣ сфотографироваться.

— „Наша морская жизнь,“ начинается онъ, „непрерывная качка. Какъ и всѣмъ у насъ, мнѣ пришлось начинать съ кока, но только я съ отцомъ ѣздилъ, это гораздо легче, отецъ жалѣетъ, не очень гоняетъ. Отецъ меня любилъ, а несогласія пошли только послѣ монастыря. Отслужилъ я годъ въ монастырѣ, не очень понравилось, и такъ думаю: надо какъ нибудь пробиться впередъ. Сталъ по своему жить. Отецъ все косился, ворчалъ, а вотъ какъ я поднялся на ноги, да все семейство сталъ кормить, да домъ выстроилъ—замолчалъ. Онъ внизу живетъ по своему, а я наверху по своему. Однако, здорово покачивается, у васъ голова еще не кружится?“

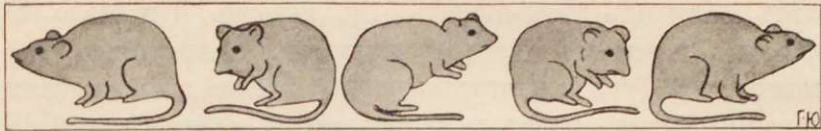
— „Ничего.“

— „Ну, можетъ быть ничего и не будетъ. Бываютъ такіе люди, что не болѣютъ. А меня мальчикомъ такъ сильно море било. Хорошо... Когда сталъ я на ноги, думаю, вотъ бы пароходикъ купить, наживку <sup>1)</sup> развезить мурманскимъ промышленникамъ, какъ въ Норвегіи, а въ штиль можно шкуны буксировать. Нашелся капиталистъ, далъ денегъ и поѣхалъ я въ Норвегію, покупать пароходъ. Знакомый купецъ-норвежець отговариваетъ. Купите, совѣтуетъ мнѣ, траулеровый пароходъ въ Англійи. Зачѣмъ? говорю я,

---

<sup>1)</sup> Наживка—рыбка, вообще все, что насаживается на крючекъ для ловли рыбы.





развѣ въ нашемъ морѣ можно траломъ ловить. У васъ то, говоритъ, и можно. И показалъ мнѣ книгу. Смотрю: три, четыре, пять тысячъ, за рейсъ къ Канину носу. Тутъ я, куда ни шло, взялъ да и зафрахтовалъ норвежскій траулеръ. Сдѣлаю, думаю, опытъ, сначала попробую на чужомъ. И вотъ, подъ норвежскимъ флагомъ, являюсь на Мурманъ. Закинулъ траль. Изорвался. Закинулъ другой. Изорвался. А тутъ еще оборвалъ ярусъ <sup>1)</sup>, промышленники на меня накинулись, что я на иностранномъ пароходѣ, да еще имъ снасть рву, губернатору подали прошеніе, я — телеграмму. Разрѣшили мнѣ ловить, только чтобы не мѣшать промышленникамъ. Тутъ я и убрался къ Канину носу. Закинулъ тамъ. Ничего. Закинулъ еще. Ничего. А время идетъ, вѣдь двѣ тысячи въ мѣсяцъ съ меня брали! Ну, вотъ вамъ и качка, чуть было я тутъ не разорился...

Капитанъ рассказываетъ, а я напрягаю все свое вниманіе, чтобы слушать его и не слушать себя, потому что тамъ внутри совершается какая то возня, будто что то тамъ качается, и даже слегка попискиваетъ...

— „Что это пищитъ?“ — не выдерживаю я, наконецъ, этой борьбы съ собою.

— „Это крысы пищать,“ — отвѣчаетъ капитанъ, „проклятыя англійскія крысы, чертъ-бы ихъ побралъ, не могу извести, какія то особенныя, большія, породистыя. Заткните бумагой дырочку. Нашли? Она у васъ, надъ головой должна быть, заткните получше, а то на койку, бываетъ, выскаки-

<sup>1)</sup> Ярусъ—то же что переметь, которымъ ловятъ рыбу, только большой, въ версту длины и больше.

вають... Это ихъ дѣти пищать. Ну, хорошо. И повезло же мнѣ у Канина потомъ, все оправдалъ и выручилъ еще тысячи двѣ. Тутъ я и отправился въ Англію вотъ за этими крысами. Купилъ пароходъ и ѣду назадъ моремъ зимой въ октябрѣ. Поднялся штормъ страшнѣйшій, било насъ дня три. Штормъ и туманъ. Никакъ опредѣлиться не можемъ. И вотъ тутъ вышла исторія: чуть мы не погибли. При покупкѣ парохода не замѣтилъ я, что лагъ былъ старый. Вы знаете, что такое лагъ? Вертушечка, которую спускаютъ на веревкѣ въ воду и отмѣриваютъ число пройденныхъ верстѣ. Этимъ мы только опредѣляемся. Лагъ былъ старый, непровѣренный, отсчитывалъ меньше, чѣмъ нужно, а штормъ задерживалъ и тоже спутывалъ время. Разсчитываю я по числу верстѣ, что, должно быть, близко Норвегія, и свернулъ къ Лофоденскимъ островамъ. Ѣдемъ, ѣдемъ, ѣдемъ... нѣтъ острововъ. Что за исторія! И уголь выходитъ весь, и не знаемъ, гдѣ мы. Тутъ расчистило туманъ. И такія, скажу вамъ, засверкали сѣверныя сіянія, что въ жизни никогда не видѣлъ. А полярная звѣзда чуть не надъ головой стоитъ. Земля показалась. Какая тутъ можетъ быть земля? Одинъ матросъ, бывалый, узналъ. Это, говоритъ, Медвѣжій островъ. Вотъ вѣдь куда мы заѣхали, чуть полюсь не открыли. Направили пароходъ на Мурманъ и только въ Екатерининскую гавань вступили, послѣднюю соринку угля сожгли и послѣдній сухарь съѣли...“

Капитанъ окончилъ свой разсказъ и помолчалъ. Потомъ началъ говорить такъ искренне, какъ только говорятъ очень близкіе люди или совсѣмъ чужіе.

— „Вотъ я въ своемъ дѣлѣ ужъ, можно сказать, собаку съѣлъ, а не знаю, что завтра будетъ, и мучить это, неужели же это жизнь? Какая это жизнь, какое это дѣло, что вотъ такъ, въ одну минуту, все можетъ перевернуться, какъ лодка. Скажите, что въ вашемъ дѣлѣ... что вы тамъ дѣлаете... въ этомъ ученомъ дѣлѣ тоже такъ?“

Но въ это время меня качнуло сначала къ стѣнѣ, потомъ назадъ по направленію къ крысамъ, потомъ прижало къ краю койки.

Я не могъ отвѣтить такъ же искренне въ тонъ капитану, буркнулъ ему что-то и поднялся наверхъ, на палубу.

\* \*  
\* \*  
\*

### Морская качка.

Нѣтъ ничего, утверждаю, сильнѣй  
и губительнѣй моря.

Крѣпость и самаго бодрого мужа  
оно сокрушаетъ...

(Одиссея).

Да, это качка, настоящая морская качка... И что-то еще будетъ въ океанѣ? Что, если десять дней морской болѣзни? Вотъ поднимается носъ парохода высоко къ небу и бухъ внизъ — въ волну. И на палубѣ кусочки пѣны таютъ, стекаютъ водой. Меня шатаетъ, весь свѣтъ перемѣщается, а я пеловко остаюсь на мѣстѣ одинъ. Матвѣй внимательно смотритъ на меня и говорить сочувственно:

— „Море бьетъ?“

Но я его сочувствія не принимаю. У меня складывается собственная система борьбы съ морской болѣзью. Медикаментовъ со мной никакихъ нѣтъ, да они и бесполезны. Врачи не знаютъ причины болѣзни: одни говорятъ — отъ малокровія, другіе — отъ полнокровія, третьи — отъ нервъ. А мнѣ кажется, что это отъ малодушія; морская болѣзнь врагъ, который интереснѣйшее путешествіе можетъ превратить въ сплошную пытку. И такъ, у меня врагъ, съ которымъ я вступлю въ борьбу и живой не дамъ ему. И прежде всего — никому не стану высказывать своего страха, буду веселымъ.

— „Море бьетъ?“ — спрашиваетъ Матвѣй.

— „Нѣтъ, пустяки.“



— „А видалъ ли ты когда нашу погодушку.“

— „То-ли видалъ!“

Меня опять качаетъ и я едва удерживаюсь за веревку. Матвѣй недовѣрчиво глядитъ на меня. А я, какъ ни въ чемъ не бывало, напѣваю слышанную мною здѣсь пѣсенку: „черная юбка, бѣлая кайма, любила я молодца, а теперь нема.“ Матвѣй мнѣ подтягиваетъ, другой матросъ, третій, и вотъ, среди шума волнъ, въ морѣ веселится матросская пѣсня: бѣлая юбка, черная кайма. Я считаю это побѣдой и иду въ кухню. Тамъ самый дорогой теперь для меня, единственный въ мірѣ понимающій меня человѣкъ, которому можно открыть душу, это кокъ, Вологодскій кокъ, весь грязный, съ раскрытымъ ртомъ, съ большими ушами. Еще съ утра капитанъ сталъ приглядываться къ нему и сказалъ мнѣ: „Опять сами готовить будемъ, море бьетъ. Четвертый уже какъ за лѣто. Какъ выйдемъ въ море, ляжетъ и конецъ, и пролежитъ десять дней. Опытные не идутъ въ коки, а новички болѣютъ. Смотри-и-те, какъ ротъ разинулъ.“ Такъ мнѣ рекомендовалъ капитанъ кока, не понимая, что это самая лучшая для меня рекомендація. И вотъ теперь я, ободренный успѣхомъ у матросовъ, подхожу къ нему и говорю покровительственно:

„Море бьетъ?“

Онъ улыбается мнѣ виновато.

„Тошне-хо-нько.“

„Ничего ничего, — ободряю я его. — Давай учиться ходить.“

Мы начинаемъ съ кокомъ ходить по палубѣ, вѣрнѣе, ползать. Матвѣй замѣчаетъ насъ, смѣется и говоритъ мнѣ:

— „Сегодня поштормуемъ“.

— „Что это значить?“

— „А значить, что когда солнце въ зюдвестъ станетъ, то будетъ штормъ.“

— „А это развѣ не штормъ?“

— „Это не штормъ, это свѣжій вѣтеръ. Вотъ когда песочекъ на палубу выкидывать будетъ, да камешки фунтовые перекачивать, вотъ это штормъ.“

Я шепчу про себя что то очень похожее на молитву и спускаюсь внизъ. Нужно какъ нибудь бороться съ врагомъ. Буду пробовать писать письмо. Беру чернильницу, перо и, хотя мы еще далеко не доѣхали до океана, пишу: „Сѣв. ледов. океанъ, 70° сѣв. шир. и 70° вост. долг. — Вотъ, друзья мои, куда я забрался...“

Вдругъ я вижу, мнѣ чернильница ползеть по столу. Хочу поймать ее, она бѣжитъ скорѣе, падаетъ внизъ и исчезаетъ въ моемъ полураскрытомъ чемоданѣ съ бѣльемъ. Подхожу къ чемодану, но меня бросаетъ въ капитанскую каюту на койку, гдѣ пищать англійскія крысы.

Штормъ! И что теперь съ кокомъ? Скорѣе поднимаюсь вверхъ.

Онъ стоитъ у борта и кланяется морю. „Тошне-хонь-ко“... — еле выговариваетъ онъ виновато, но ободряется при видѣ меня. А я замѣчаю, что у него въ рукѣ чайникъ, и радуюсь: кокъ не забываетъ своихъ обязанностей. Мнѣ вдругъ становится весело: штормъ страшнѣйшій, а вѣдь, въ сущности, со мной ничего не было и кокъ не выпускаетъ изъ рукъ чайника. Я беру кока подъ руку и мы проходимъ по палубѣ, ловко изгибаясь, какъ акробаты, ко всеобщему изумленію матросовъ.

— „Не бьетъ море?“ — говоритъ Матвѣй.

— „Видишь!..“

— „Ну, морякъ!“

Побѣда, полная побѣда! Теперь уже конецъ, теперь я больше не заболѣю. А кокъ? Кокъ тоже не выпускаетъ изъ рукъ чайника.

— „Морякъ, морякъ и есть,“ — приговариваетъ всегда веселый Матвѣй.

<p><b>Святой Носъ.</b></p>
--------------------------------

Послѣ крещенія штормомъ я уже настоящій морякъ и принимаю самое близкое участіе въ судьбѣ нашего маленькаго пароходика. Мы сидимъ съ капитаномъ внизу, пьемъ чай и совѣщаемся. Чайникъ, для безопасности, стоитъ въ деревянномъ ящикѣ, а стаканы мы, конечно, держимъ въ рукахъ. Капитанъ недоволенъ: насъ прокинуло въ туманѣ, унесло съ курса теченіемъ, мы не видали маяка на Орловѣ, не слышали и колокола, не слышали сирены на Городецкомъ мысу. Если такъ будетъ продолжаться, и мы не увидимъ Канина носа, то „Ольгу“ не встрѣтимъ и привеземъ рыбу съ душкомъ. Я, какъ и капитанъ, тоже очень хочу встрѣтить „Ольгу“, потому что рыбное дѣло мнѣ, испытавшему штормъ, становится такимъ-же близкимъ, какъ и капитану. А можетъ быть не рыбное дѣло, можетъ быть, это зоветь уже назадъ аккордъ на піанино, взятый дамой на „Ольгѣ?“ Нѣтъ, нѣтъ, просто рыбное дѣло. Мы пьемъ чай, пока не слышимъ удара колокола. Это смѣна вахты. Сейчасъ придетъ матросъ и позоветъ насъ на смѣну штурману. Матросъ спускается къ намъ.

— „Берега не видно?“ — спрашиваетъ капитанъ.

— „Не кажетъ,“ — отвѣчаетъ матросъ.

— „Компасъ?“

— „Нордостъ.“

— „На лагѣ?“

— „Не смотрѣлъ.“

— „Волна?“

— „Такая же.“

— „Вода?“

— „Океанская.“

— „Какъ океанская?!“

— „Такъ, океанская, зеленая...“

Мы выходимъ на верхъ. По прежнему такія-же черныя волны выкатываются изъ сѣраго тумана. Капитанъ беретъ бѣлую деревянную чурочку, привязываетъ къ ней гвоздь и



пускаетъ въ воду. Чурочка медленно тонетъ и зеленѣетъ, и чѣмъ дальше, тѣмъ ярче и, наконецъ, гдѣ-то совсѣмъ глубоко свѣтится чуднымъ сказочно-заморскимъ свѣтомъ.

— „Вода океанская, зеленая,“ — говоритъ капитанъ и недоумѣваетъ.

Дядя зачерпываетъ немного воды и пробуетъ на вкусъ.

— „Океанскій разсолъ, — говоритъ онъ, — соленый. Попробуй, — предлагаетъ онъ мнѣ. — Нашего бѣломорскаго разсолу для ухи нужно ложки двѣ, а этого одной довольно.“

Мы идемъ въ штурвальную. Дядя смѣняетъ матроса, становится на штурвалъ, а капитанъ отмѣриваетъ что-то на картѣ. Онъ дѣлаетъ предположеніе, что мы теперь находимся какъ разъ на линіи, проведенной отъ Святого Носа къ Канину.

Но я съ этимъ гаданіемъ не мирюсь, и не потому, чтобы боялся опасности, а такъ непріятно, будто попалъ въ неволю, будто вотъ закутали меня, какъ маленькаго, въ тяжелую одежду, уложили въ повозку, и мнѣ нельзя шевельнуть ни ногой, ни рукой, а только пискнуть можно, да и то бесполезно. Кто тутъ слышитъ въ волнахъ? А можетъ быть, тутъ гдѣ нибудь блуждаетъ еще такое же судно, быть-можетъ, совсѣмъ близко.

— „Что, если свиснуть?“ — предлагаю я капитану.

— „Можно, дерните за веревку,“ — соглашается онъ.

Я дергаю. Свистокъ гудитъ, но туманъ съѣдаетъ звукъ и никто не откликается.

— „А что, если сядемъ на подводный камень?“ — спрашиваю я.

— „Будемъ сидѣть. Поѣдимъ всю провизію. Можетъ увидетьъ.“

А можетъ быть и не увидятъ? — думаю я. И не мирюсь, и не могу мириться съ этимъ положеніемъ.

— „Какъ же такъ, — спрашиваю я капитана, — неужели же нельзя какъ нибудь опредѣлиться?“

— „Можно сдѣлать астрономическое опредѣленіе,— отвѣчаетъ онъ,— но у насъ нѣтъ теперь хронометра и секстанта. Обыкновенно мы опредѣляемся у Городецкаго, но теперь насъ прокинуло теченіемъ въ туманъ и гдѣ мы—точно сказать нельзя.“

Дядя замѣчаетъ мое смущеніе и говоритъ:

— „Что это! Вотъ походилъ бы ты на парусной шкункѣ. Тутъ мы идемъ, красуемся... и ничего... А мѣсто опасное, тутъ много судовъ осталось.“

Онъ рассказываетъ, что старики въ его время и вовсе не ѣздили вокругъ Святого Носа на Мурманъ. Они тащили суда по землѣ черезъ Носъ, но вокругъ ѣхать не рѣшались. Они думали, что около Святого Носа въ водѣ живетъ червь и проѣдаетъ суда. А потомъ какой-то святой этого червя заговорилъ и онъ пропалъ и теперь всѣ ѣздятъ вокругъ Носа.

— „Можетъ быть,— говорю я старику,— червь тутъ не при чемъ, а просто старики боялись бурливаго мѣста, гдѣ встрѣчаются теченія, и выдумали червя, а молодые стали посмѣлѣе и суда стали лучше.“

— „Отчего же,— отвѣчаетъ онъ,— можетъ быть и такъ, народъ молодой, правда, посмѣлѣе, но только червь былъ.“

Я не спорю со старикомъ, дѣлаю видъ, будто соглашаюсь. А онъ рассказываетъ еще болѣе невѣроятныя вещи.

— „Есть,— повѣствуетъ онъ,— на морѣ такіе люди, Богъ ужъ ихъ знаетъ, кто они такіе, откуда они придуть, куда они уйдуть, но только вѣтры ихъ слушаются. Какъ-то разъ на Мурманѣ, осенью, когда промысла кончились, вышли промышленники на глядѣнь <sup>1)</sup>, сѣли у креста, глядятъ въ море, дожидаются повѣтери въ Архангельскѣ. А ужъ недѣли двѣ такъ безъ дѣла сидѣли, все дожидались вѣтра походнаго. И женки въ Поморѣ стосковались, ждуть мужей

---

<sup>1)</sup> Высокая гора, съ которой на Мурманѣ промышленники смотрятъ въ море. На глядѣнь всегда ставится большой крестъ.

домой. Но безъ вѣтра на шнякѣ <sup>1)</sup> какъ попадешь. Сидятъ промышленники на гляднѣ у креста, вышивають, ждутъ морского вѣтра. Видятъ сверху, будто въ морѣ судно бѣжить по вѣтру. Забѣжало въ становище, вышелъ на берегъ старикъ, ражій, бѣлый, какъ сметаной облить. Съ камешка на камешекъ идетъ на гляднѣ. — Что за диво, — думаютъ промышленники, — откуда экой старикъ взялся. — Пришелъ, смѣется. — Дураки вы, говорить. Чего вы тутъ сидите, время провожаете. — А ты, умный, говорятъ они, отвези насъ противъ вѣтра. Смѣется старикъ. — А вотъ отвезу, говорить. Ставьте вина. Поставили ему вина, вышили вмѣстѣ, всѣ. — Еще, говорить, ставьте. Еще вышили. — Теперь готовьте лодки. Приготовили лодки, подняли паруса. — Ложитесь спать! — командуетъ. А они, пьяные, какъ легли, такъ и заснули. Просыпаются, Архангельскъ виденъ, и повѣтеръ гонить. Подѣхали къ бару, сразу вѣтеръ перемѣнился, опять прежній задулъ. “

— „А старикъ?“

— „Старикъ пропалъ. Какъ проснулись, такъ больше его и не видѣли...“

### У лага.

Морская качка на меня не дѣйствуетъ, но я не желалъ бы быть всегда въ такомъ состояннн духа. Въ душѣ священная тоска, будто вотъ-вотъ родится великая идея, но на дѣлѣ не удастся связать даже пару самыхъ обыкновенныхъ мыслей. И обидно: очень ужъ близко въ такомъ состояннн духовное къ низменному; вотъ — вотъ все разрѣшится такимъ жалкимъ, плачевнымъ исходомъ.

Я иду на корму: тамъ меньше качаетъ и никого нѣтъ, только Матвѣй сидитъ на канатахъ съ ружьемъ и стережетъ касатку. Подхожу къ борту; надъ самымъ рулемъ свѣщи-

<sup>1)</sup> Промысловая лодка.



ваюсь. Въ такомъ положеніи мнѣ кажется, что я лечу надъ океаномъ совершенно одинъ и парохода нѣтъ вовсе. Я лечу надъ самыми волнами, какъ чайка, и догоняю убѣгающія отъ меня въ туманъ волны. И мнѣ чудится, что океанъ живой и волны живыя. Но въ этомъ огромномъ, крѣпкомъ, живомъ, гдѣ то въ волнахъ, звучитъ жалобный, будто дѣтскій тоненькій пискъ:

Тинь!

— „Что это? — спрашиваю я Матвѣя.

— „Это лагъ звенить, — говоритъ онъ. — Узлы отсчитываютъ... А замѣчаешь ли, какъ волна перепала? Вѣрно вѣтеръ перемѣнится. Чуетъ волна вѣтеръ.“

— „Какъ же волна можетъ вѣтеръ чують?“ — говорю я.

— „А такъ, — отвѣчаетъ онъ увѣренно, — вотъ сейчасъ вѣтеръ такой же, а волна перепала. Отчего это? А вотъ бываетъ, что и вовсе тихо, табакъ просыпъ, къ ногамъ упадетъ, а море качается. Отчего это? Оттого, что оно чуетъ вѣтеръ, чуетъ погоду.“

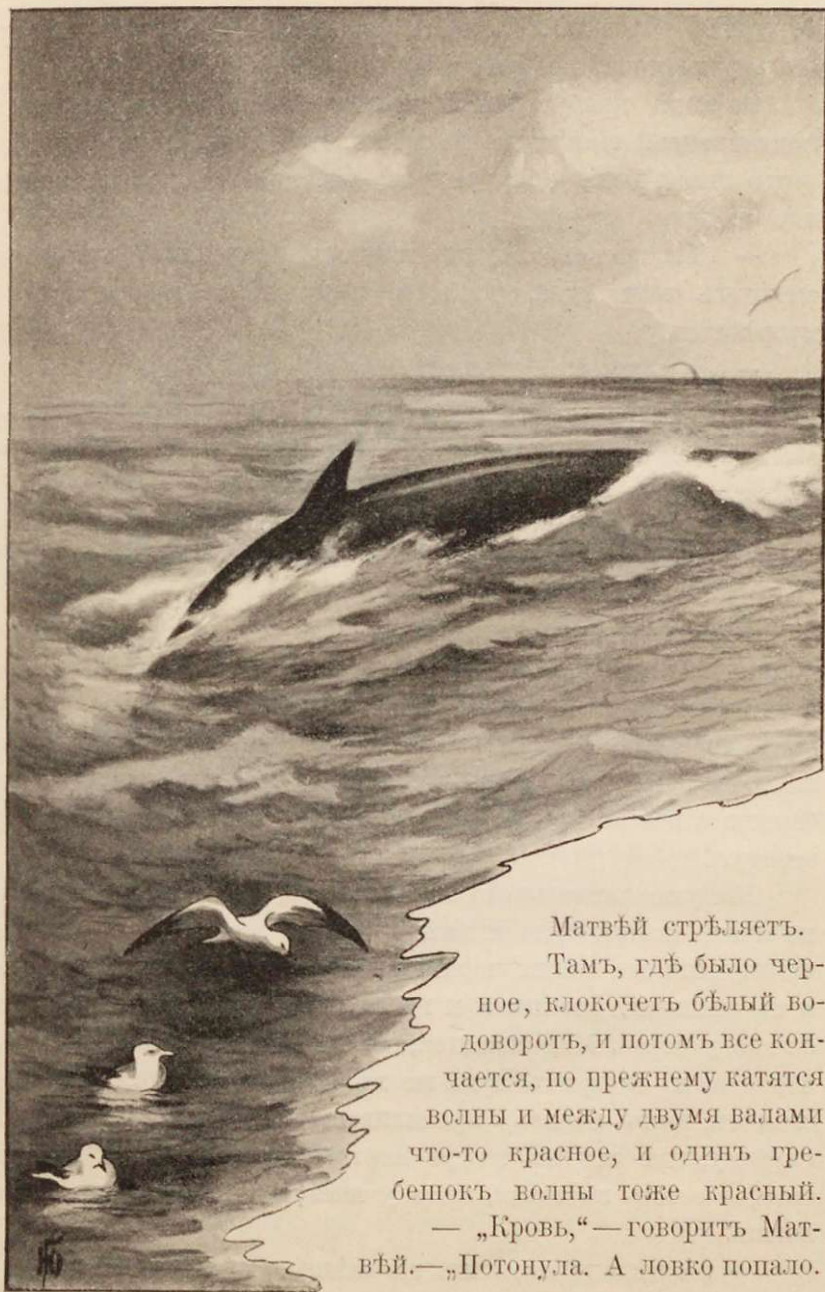
Отчего бы это было? — думаю я, — оттого ли, что океанъ великъ, и волненіе съ одного мѣста передается въ другое, не можетъ же быть, чтобы волна и въ самомъ дѣлѣ сама по себѣ чужала вѣтеръ.

Волны ластятся къ бокамъ парохода, выкатываются изъ тумана черныя, подбѣгаютъ къ борту и разсыпаются бѣлымъ и показываютъ, что внутри ихъ что-то зеленое. Волны живыя, — думаю я, и опять свѣшиваюсь и лечу чайкой надъ океаномъ. И вдругъ изъ большой волны выдвигается огромное черное чудовище, больше и больше, показываетъ черное остріе, и опять исчезаетъ въ водѣ.

— „Касатка, — говоритъ Матвѣй. — Вонъ тамъ сейчасъ опять покажется.“

И наводитъ туда ружье.

И опять раздвигаются волны, опять показывается надъ водой чудовище, будто большая опрокинутая лодка.



Матвѣй стрѣляетъ.  
 Тамъ, гдѣ было чер-  
 ное, клокочетъ бѣлый во-  
 доворотъ, и потомъ все кон-  
 чается, но прежнему катятся  
 волны и между двумя валами  
 что-то красное, и одинъ гре-  
 бешокъ волны тоже красный.  
 — „Кровь,“ — говоритъ Мат-  
 вѣй. — „Потоцула. А ловко попало.

Огромная касатка...“ пудовъ на пятьдесятъ, вотъ какая. Въ сердце попалъ и утонула.“

Во мнѣ пробуждается охотничій инстинктъ, я, какъ прикованный, смотрю на то мѣсто, гдѣ потонула касатка, и, будто вижу, какъ она, умирая, медленно погружается на дно океана.

— „Теперь ее акулы жрутъ, говоритъ Матвѣй, и смотреть тоже туда. Такъ ее и нужно, а то она китовъ подрѣзаетъ.“

— „А китъ же больше?“

— „Больше, а не можетъ противъ нея... Вотъ поди ты... Видѣлъ у ней вострякъ на спинѣ, вотъ имъ и подрѣзаетъ. А китъ рыба хорошая, она къ намъ треску изъ окіяна гонить.“

— „Китъ добрый?“ разсѣянно спрашиваю я...

Матвѣй смѣется.

— „А ужъ этого я не знаю, добрый онъ, или какой. Также кормится, промышляетъ себѣ въ окіянѣ, что ему отъ Бога назначено, рыба ли, звѣрь ли, гадъ ли какой. Также не дуракъ, своего не упуститъ. Но только человѣку онъ очень полезенъ. Первое, звѣрь его боится, гребетъ отъ него къ берегу, а потомъ рыба боится звѣря и тоже плыветъ къ берегу...“

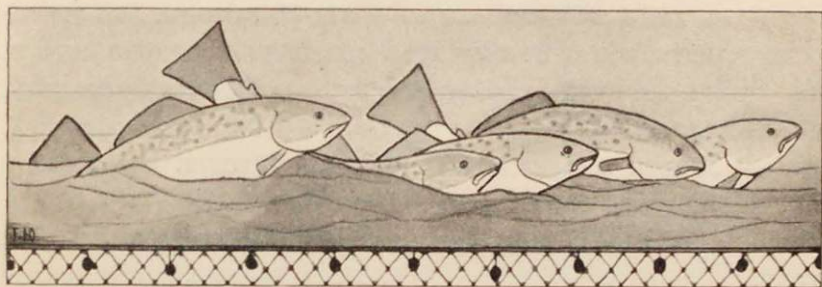
Мы уже давно проѣхали то мѣсто, гдѣ утонула касатка, но я все смотрю туда и мнѣ кажется, что она плыветъ за нами: такія же волны чернѣютъ тамъ подалеже въ туманѣ, и съ зелеными шейками и въ бѣлыхъ шапочкахъ тутъ поближе у борта. Мнѣ кажется, что и Матвѣй тоже думаетъ, что и я, и смотреть туда-же въ глубину. Охотничій инстинктъ, какъ канатъ, притягиваетъ насъ обоихъ туда въ глубину, гдѣ лежитъ теперь мертвая касатка, и гдѣ кипитъ своя, совсѣмъ не такая, какъ у насъ, придонная океанская жизнь.

— „А видаль ли, какъ въ окіянѣ рыбу ловятъ?“



— „Нѣтъ, не видалъ.“

— „Любопытно. Чего чего только тамъ не нахватаятъ со дна: и рыба всякая, и акула попадетъ, и мелочь тамъ разная, ракъ частоланчатый, въ родѣ какъ бы звѣзда, ёжикъ, катушки разныя красненькіе, бѣленькіе. Много всего. Вотъ увидишь. Любопы-ытно. Теперь, надо знать, скоро и прїѣдемъ на Канину отмель.“



### Канина отмель.

Капитанъ и штурманъ совѣщаются о томъ, Канина это отмель или еще нѣтъ. Они спорятъ и все разбираютъ записи изъ дорожнаго журнала. Мнѣ кажется, вопросъ этотъ рѣшить очень просто: сосчитать число пройденныхъ, записанныхъ лагомъ веретъ, отложить циркулемъ на картѣ въ данномъ направленіи, и все. Я вмѣшиваюсь въ разговоръ, беру циркуль и черезъ пять минутъ устанавливаю некую точку. Моряки смѣются.

— „А сколько насъ,—говорятъ они,—отнесло теченіемъ. Положимъ, мы пошли на нордъ, сколько насъ отнесло въ сторону къ нордъ-остъ?“

— „Моряки,—говорю я,—должны знать силу прилива и отлива и сдѣлать поправку.“

— „Этой поправкой мы и заняты. Если бы мы были на одномъ мѣстѣ, то могли бы сдѣлать поправку, но въ раз-

ныхъ мѣстахъ теченіе различно, какъ же мы сдѣлаемъ поправку.“

Я мысленно прощаюсь съ возможностью встрѣтиться съ „Ольгой,“ про себя боюсь даже, что почему нибудь не удастся половить рыбу. Но моряки продолжаютъ совершенно непонятно для меня совѣщаться и, наконецъ, рѣшаютъ, что это и есть начало Каниной отмели. На огромномъ пространствѣ этой отмели, окружающей Канинъ носъ, глубина въ среднемъ, какъ мнѣ сказали, не болѣе 50 сажень. Дно отмели ровное, песчаное и потому тутъ спокойно можно тащить по дну траль, не очень рискуя его порвать. Къ этой отмели мы и стремились.

— „Она и есть, говорить штурманъ, волна дробится.“

А капитанъ все присматривается къ водѣ.

— „Замѣчаете голубыя полосы?“ — спрашиваетъ онъ меня.

Я всматриваюсь, и мнѣ кажется, что у самыхъ бѣлыхъ гребней мелькаютъ голубыя пятнышки...

— „Это, вѣроятно, — объясняетъ мнѣ капитанъ, — вѣтъвъ Гольфштрема, вода въ немъ отличается отъ зеленой океанской воды голубымъ цвѣтомъ. Не знаю, можетъ быть я ошибаюсь, но очень похоже, что это Нордъ-Капское теченіе.“

Я съ величайшимъ уваженіемъ всматриваюсь въ воду этого теченія. Я привыкъ еще съ дѣтства уважать Гольфстремъ, какъ что-то весьма полезное и доброе, я зналъ что безъ Гольфстрема значительная часть Европы превратилась бы въ ледяную Гренландію. Но я никогда не зналъ что Гольфстремъ красивъ, что онъ голубой. И мнѣ кажется полнымъ значенія то, что вотъ мы тутъ, далеко за полярнымъ кругомъ, вблизи вѣчныхъ льдовъ Новой земли, любуемся голубыми блестками, прибѣжавшими сюда изъ тропическихъ странъ. Тутъ непроницаемый туманъ, а тамъ сейчасъ голубое глубокое небо. Я вспоминаю, что гдѣ-то читаль, будто въ

Ледовитый океанъ Гольфштремъ приносить растения съ Антильскихъ острововъ. Спрашиваю моряковъ, не видали ли они чего нибудь въ этомъ родѣ.

— „Нѣтъ, этого не видали“, — отвѣчаетъ дядя, — а вотъ бутылки съ Нордкапа приносить... съ записками. Туристы-англичане бросаютъ бутылки съ записками.“

— „Нѣтъ, — говоритъ капитанъ, — здѣсь плаваютъ бутылки скорѣе мурманской промысловой экспедиціи. Они изслѣдуютъ теченіе.“

Капитанъ рассказываетъ мнѣ о значеніи Гольфштрема для трески. По теченію его треска плыветъ, какъ по огромному корыту, отъ Нордкапа, вдоль Мурмана и, вѣроятно здѣсь заворачиваетъ къ Новой землѣ.

Чтобы убѣдиться окончательно, что это Канина отмель, мы измѣряемъ глубину и изслѣдуемъ грунтъ. Для этого быстро спускаемъ на веревкѣ лоть, смазанный саломъ. Лоть ударяетъ о дно и приноситъ песокъ. Глубина 50 саженией. Канина отмель...

---

Кто хоть одинъ разъ поймалъ въ своей жизни ерша, тотъ уже не городской житель. (Чеховъ).

### Л о в ъ р ы б ы.

Раньше, пока на водѣ было все такъ ново для меня, я не интересовался техникой лова рыбы на траулерѣ. Но теперь, когда черезъ нѣсколько часовъ на палубѣ парохода будетъ видна придонная жизнь океана, становятся интересными всякія мелочи. Самый принципъ оказывается простъ и остроуменъ. Въ воду спускаются на стальныхъ канатахъ два змѣя, большіе, деревянные, окованные желѣзными скрѣпками. Пароходъ движется впередъ и змѣи буквально летятъ въ водѣ, какъ въ воздухѣ, расходясь въ разныя стороны отъ сопротивленія о воду. Къ этимъ змѣямъ,



или, какъ ихъ называютъ, „распорнымъ доскамъ“ прикрѣплена большая крѣпкая сѣть: траль. Расходясь въ стороны, змѣи расширяють отверстіе трала и туда входитъ встрѣчная рыба. Посредствомъ измѣненія длины каната, „троса“, и скорости парохода регулируется глубина опусканія сѣти. На нашемъ траулерѣ нужно было спустить приблизительно двѣ глубины каната, т. е. около 100 сажень, чтобы она шла, какъ требуется, почти по самому дну. Траль, стальные канаты, паровая лебедка, на которую навертываются канаты, система блоковъ, „талій“, для подниманія тяжелой мотни, вотъ и все простое устройство.

Настоящая жизнь на нашемъ траулерѣ началась только, когда мы пріѣхали на Канину отмель.

— „Отдай лебедку!“ — командуетъ капитанъ.

Черныя распорныя доски гремятъ и погружаются въ воду, глубже и глубже.

— „Стопъ!.. Закрѣпи лебедку!.. Полный ходъ!..“

Теперь, когда траль спущенъ, на два на три часа все замираетъ въ ожиданіи. Одинъ только тральщикъ Матвѣй стоитъ на кормѣ, сосредоточенный и серьезный. Онъ держится за стальной канатъ и по немъ, какъ по нерву, чувствуетъ прикосновеніе распорныхъ досокъ ко дну. Онъ долженъ постоянно ощущать эти легкіе толчки трала. Если этого нѣтъ, то, значитъ, траль плыветъ высоко, и рыба не попадаетъ. А если почувствуетъ очень сильный толчекъ, значитъ, траль зацѣпился и нужно кричать машинисту: „Стопъ!“

— „Динь! — звенитъ предупреждающій машину сигналъ о томъ, что черезъ 15 минутъ мы вытащимъ рыбу.

И какъ это странно: въ ожиданіи поднятія трала, вмѣсто того, чтобы представлять себѣ различныхъ океанскихъ чудовищъ, въ родѣ акулъ, касатокъ, бѣлугъ, я нахожу себя далеко отсюда на льду замерзшей рѣки. Я, и нѣсколько простыхъ, но очень почтенныхъ пожилыхъ людей продѣлываемъ во

льду маленькія дырочки и спускаемъ туда нитки съ крючками. Мы стоимъ, дрожимъ, топчемся, чтобы разогрѣть застывшія ноги, у почтенныхъ людей бороды покрываются ледяными сосульками. У одного дергаеть рыба, онъ смѣшно волнуется, схватывается за удочку и тянетъ. И тутъ у него лицо загорается какою то особенною жизнью. Слышно, какъ городъ шумить, кипитъ жизнь, борьба. А вотъ онъ, этотъ почтенный человѣкъ, тянетъ маленькую рыбу и живетъ какой-то своей, совсѣмъ особенной смѣшной жизнью. Онъ, этотъ старикъ, тянетъ рыбу и будто откликается прошедшимъ тысячелѣтіямъ, когда, быть можетъ, его предки бродили у лѣсныхъ ручейковъ. Старикъ тянетъ рыбку и вотъ, черезъ много много лѣтъ передъ цѣлымъ океаномъ воды я вижу ясно эту затянутую тонкими льдинками дырочку, покрытую ледяными сосульками заиндѣвлюю бороду, и что то такое близкое дорогое въ его глазахъ. Вотъ если бы намъ теперь опять сойтись вмѣстѣ, здѣсь, у борта „Св. Николая.“

— „Стопъ! Отдай лебедку!“

Лебедка крутится, канатъ наворачивается, траль приближается. На вахтѣ должно быть только пять человѣкъ, необходимыхъ для поднятія траля, остальные должны бы спать, отдыхать. Но они тутъ все до одного смотрятъ въ воду. И даже кокъ съ разинутымъ ртомъ и чайникомъ въ рукѣ, и машинистъ, кочегаръ, весь черный, выползъ изъ машины. Все молчатъ, ждуть. Откуда то налетѣли птицы... Какъ онѣ почувяли добычу? Раньше я ихъ почти не видѣлъ. Онѣ подплываютъ къ самому пароходу, красивыя, похожія на голубей, но только большія.

— „Какъ онѣ называются?“ — спрашиваю я Матвѣя.

— „А глупыши“, — отвѣчаетъ онъ мнѣ.

— „Какая красивая птица и такое глупое названіе, почему глупыши?“

— „Вотъ почему“, — говоритъ тральщикъ, и бросаетъ въ нихъ обрывками каната. Птицы взлетаютъ и сейчасъ же,

какъ ни въ чемъ не бывало, садятся на то же мѣсто и даже еще ближе подплываютъ къ борту.

— „Глушья онѣ, вишь, не боятся“... — поясняетъ Матвѣй. Теперь отъ насъ не отстанутъ. И потомъ, когда назад поѣдемъ, версть сто за нами летѣть будутъ. Глушья...“

И вотъ показываются изъ воды черныя распорныя доски.

— „Стопъ!“

Доски висятъ въ воздухѣ.

— „Въ ручную!“ — командуетъ капитанъ.

Это значить, что концы сѣти нужно тащить руками, пока не покажется мотня, наполненная рыбой. Мотню, конечно тяжелую, до 300 пудовъ, поднимаютъ блоками.

„Въ ручную!“

И всѣ дѣйствующія лица хватаются за сѣть. Бортъ судна отъ качки то опускается, то поднимается, и матросы, когда опустится бортъ, прижимаютъ грудью сѣть; волна сама уже поднимаетъ ее; рыбаки быстро перехватываютъ и опять припадаютъ грудью и каждый разъ всѣ вглядываются въ глубину: не показалась ли мотня. Моментъ напряженнѣйшаго ожиданія. Не только люди ждуть, но и птицы кольцомъ окружаютъ мѣсто, откуда долженъ выглянуть траль; люди и птицы образуютъ полный почти правильный кругъ. Но мотня еще глубоко, сѣть, черная надъ водой, зеленѣетъ въ водѣ и свѣтится въ глубинѣ, а самой мотни не видно. Показываются пузыри, множество пузырей, вода закипаетъ.

— „Рыба кипитъ!“ — говоритъ кто то.

— „Рыба кипитъ!“ — повторяютъ одинъ за другимъ матросы.

Всплываетъ большая, въ аршинъ длины, бѣлая рыба съ красивой черной полоской на боку. Это пикша, ближайшая родственница трески, оглушенная. На нее бросаются птицы, тукаютъ объ нее своими острыми клювами, плещутся, кричатъ, пищатъ. Дядя беретъ багоръ, вступаетъ съ птицами въ



борьбу и на остриѣ вытаскиваетъ рыбу. Всплываетъ другая, третья, но на нихъ больше не обращаютъ вниманія, потому что въ глубинѣ показывается мотня, огромная, зеленая, всплываютъ какія то странныя нити, кустики, растенія или животныя.

Больше всѣхъ дѣйствуетъ тральщикъ Матвѣй, онъ душа всей этой возни. Мнѣ изъ маленькой стеклянной комнатки, штурвальной, видно, какъ онъ борется съ волной. Я вижу, какъ онъ, весь мокрый, выхватываетъ у волны сѣть, вижу, какъ ближе и ближе подвигается зеленое чудовище. И не выдерживаю своего созерцательнаго положенія. Я бросаюсь въ самый центръ рыбаковъ и хватаюсь за сѣть, слышу, какъ возлѣ меня дышитъ Матвѣй, пыхтитъ капитанъ, но уже не вижу ихъ, я тяну. Тяну и припадаю къ мокрой сѣти грудью и не замѣчаю, что холодная морская вода проникаетъ черезъ жилетъ къ тѣлу и стекаетъ внизъ, наполняетъ сапоги. Лишь бы подвинуть на четверть.

— „Готово!“

Мы припадаемъ къ борту и вглядываемся всѣ молча, дядя, Матвѣй, капитанъ, юнга, всѣ такіе разные люди, но теперь слитые въ одно мокрое, но крѣпкое, наполненное горячей кровью и мясомъ.

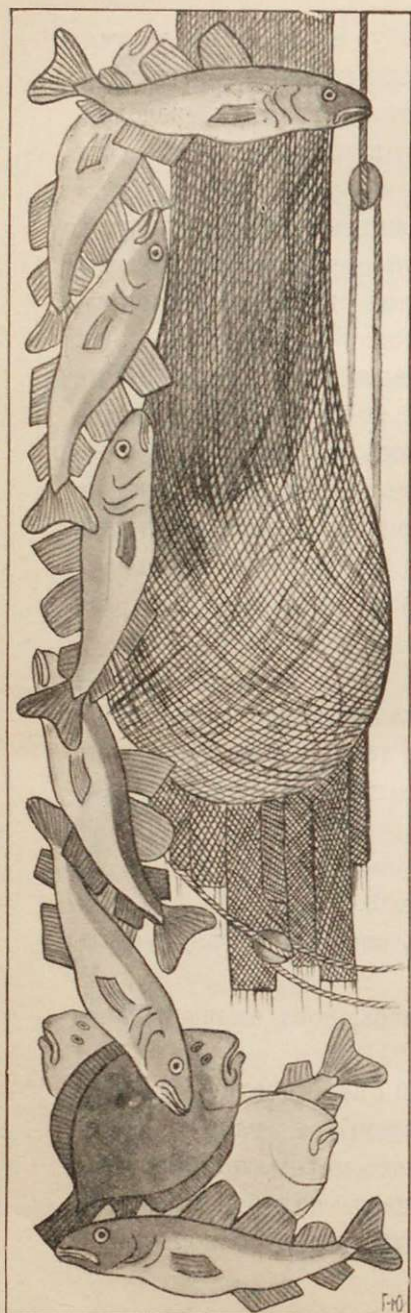
— „Акула!“ — кричитъ дядя.

— „Акула, акула!“ — говорятъ всѣ.

— „Гдѣ акула?“ — тороплюсь я, словно боюсь упустить и отстать.

— „Вонъ лежитъ, вонъ свернулась, вонъ ея пасть, вонъ хвостъ...“

Я приглядываюсь, и въ огромной сѣрой массѣ различаю пасть и крошечный зеленый свѣтящійся глазъ. Намъ подають канатъ. Матвѣй перевязываетъ мотню, прицѣпляетъ ее къ блоку. Лебедка гремитъ, и надъ палубой парохода виситъ большой черный воздушный шаръ, наполненный рыбой.



Бѣгу смотрѣть, что въ немъ, но отъ него исходитъ невыносимый запахъ. Отступаю назадъ. Это не запахъ рыбы. Рыба, въ сравненіи съ этимъ, хорошо пахнетъ. Это особый запахъ морскихъ глубинъ, внутренности моря. Кажется, что на днѣ мы шевельнули кладбище безчисленныхъ морскихъ покойниковъ.

— „Какія нѣжности!“ — удивляется мнѣ капитанъ — „Просто мы губки захватили много, оттого и пахнетъ. Этотъ запахъ хорошій, здоровый, къ нему скоро привыкаешь и даже нравится потомъ.“

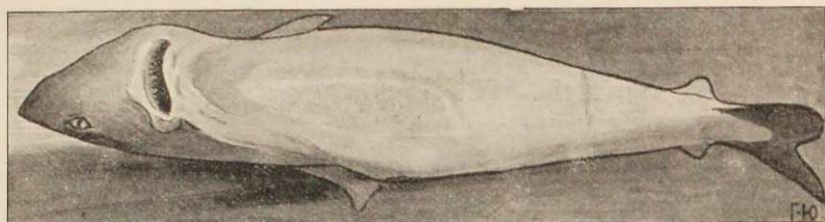
И въ самомъ дѣлѣ, послѣ, на берегу, я вспомнилъ этотъ запахъ почти съ удовольствіемъ. Такъ нравится уютный теплый запахъ животныхъ въ стойлахъ, вызывающій въ памяти дорогія сцены толстовскихъ разсказовъ.

Матвѣй развязываетъ отверстіе внизу мотни, и вотъ, съ особымъ скольльзящимъ звукомъ, какъ ртуть, разсыпается по палубѣ рыба. Сначала трудно что нибудь понять въ этой массѣ, она вся прикрыта сѣрымъ слоемъ губки, только въ срединѣ видна стальная спина, пасть и хвостъ огромной акулы. Но вотъ сквозь толщу пробивается энергичная голова,

пятнистое туловище. Это зуботка, морской волкъ, рыба до пуда въсомъ. Мнѣ кажется, что болѣе выразительнаго подтвержденія о зачатіи зла самой природой, я никогда не получалъ, чѣмъ въ тотъ моментъ, какъ увидалъ эту страшную рыбу старушечью голову съ острыми зубами. Какая же возможна борьба съ этимъ явнымъ зубатымъ зломъ!

Такъ въ морѣ, но на палубѣ находятся болѣе острые зубы. Капитанъ почему то предоставилъ головы зубатокъ матросамъ, а такъ какъ голова стоитъ пятачекъ, то матросы, вооруженные финскими ножами, прежде всего ждутъ появленія изъ сѣрой массы старушечьей головы. И какъ появится, бросаются за ней, утопая по колѣно въ рыбной скольскои массѣ. Кто раньше выхватитъ, тотъ и отрѣжетъ ножемъ злую голову и начинаетъ издѣваться, какъ въ сказкѣ надъ злыми колдуньями: суеть въ ротъ мертвой головѣ рыбу, пасть сжимается, рыба хруститъ. Потомъ даютъ головѣ уцѣпиться за канатъ. И всѣ смѣются, что отрѣзанная голова живетъ. Это забава, отдыхъ рыбаковъ, совсѣмъ и не понимающихъ, какъ это отвратительно. У кого голова, у кого двѣ, у кого три. Но больше всего издѣваются надъ акулой. Она гробъ моряка и вотъ, можетъ быть потому такъ тѣшатся надъ ней. Юнга суеть ей въ пасть топоръ и пасть захлопывается. Туда бросаютъ рыбу, суютъ пѣшню. Старикъ дядя усталъ, присѣлъ на нее отдохнуть, вытираетъ, какъ ни въ чемъ не бывало, потъ съ лица рукавомъ. Потомъ, отдохнувъ, выбираетъ себѣ какую-то рыбку и зачѣмъ-то скребеть ее ножикомъ. Но вдругъ впереди себя, на носу, онъ замѣчаетъ непорядокъ и, забывая, что подъ нимъ не пень, а живое существо, втыкаетъ въ нее ножикъ и бѣжитъ, хлюпая по рыбѣ. Ножъ долго остается воткнутымъ въ рыбу. Акула его, кажется, и не чувствуетъ, такъ она огромна и неподвижна. Она путаетъ всѣ мои представленія объ этой рыбѣ, которая какъ описываютъ, мечется по палубѣ корабля. Быть можетъ это потому, что описываютъ акулъ южныхъ океановъ, а эта акула глу-





боководная и тутъ наверху совершенно лишается способности двигаться. Акула Сѣв. Ледовитаго океана лежитъ на палубѣ, неподвижная, какъ мертвый пласть. Чуть только поводитъ плавникомъ и глядитъ своимъ маленькимъ зеленымъ глазкомъ. И какъ же, вѣроятно, она страшна тамъ, на днѣ океана, темно сѣрая, какъ разъ такого цвѣта, чтобы незамѣтно подкрасться къ добычѣ и показаться сразу огромною сѣроу тѣнью съ зеленымъ свѣтящимся глазомъ. Рыбаки разрѣзаютъ животъ акулѣ, чтобы достать изъ нея цѣнную печень и вотъ выплываетъ цѣлый потокъ мутной жидкости; вмѣстѣ съ жидкостью изъ акулы выкатывается небольшой мертвый тюлень и много рыбы, еще живой; рыбу обмываютъ и присоединяютъ къ остальной, а акулу, вырѣзавъ изъ нея печень, поднимаютъ на блокахъ и пускаютъ обратно въ океанъ. Она медленно погружается въ воду и зеленѣетъ, и въ самой глубинѣ принимаетъ странныя фантастическія формы.

Но это все поэзія. Капитану некогда заниматься такими пустяками. Вооружившись стальнымъ короткимъ крючкомъ, онъ разъ за разомъ втыкаетъ его въ рыбу и разбрасываетъ ее въ стороны по сортамъ. Вотъ треска—кормилица сѣвера—здоровенная рыба, упругая, будто обтянутая въ городское платье деревенская дѣвушка, вотъ родственница ея—пикша, серебристая съ черной полоской и менѣе вульгарная, вотъ сайда, изъ той же породы. Камбала морская соевѣмъ не похожа на рыбу, скорѣе—это морскіе листики, бурые, съ одной стороны, и бѣлые съ другой. Листики летятъ въ одну сторону, треска въ другую. Капитанъ веселый, шу-

титъ, подсчитываютъ итогъ, приблизительно въ 100 пудовъ. Онъ пересматриваетъ рыбу и вдругъ останавливается и машетъ мнѣ рукой: онъ подь слоемъ рыбы замѣтилъ характерную генеральскую голову палтуса. Эта рыба такая же видомъ, какъ камбала, но только черная съ одной стороны и огромная: пудовъ въ пять вѣсомъ. Рыба дорогая, одна обѣщаетъ капитану рублей 50. Онъ любовно треплетъ ладонью мокраго генерала и кричитъ матросу: — „Сдѣлай ему карманъ!“

Это значить какъ-то особенно распластать палтуса. Матросъ дѣлаетъ карманъ, а капитанъ продолжаетъ перешвыривать листики.

Мнѣ, дилетанту, рыболову съ удочкой, едва мирящемуся съ насаживаніемъ червяка, это зрѣлище не особенно пріятно. И вотъ, къ своему величайшему удовольствію, нахожу себѣ товарища, такого же дилетанта, какъ и я. Машинистъ, на корточкахъ, съ ведромъ въ рукѣ, отбираетъ себѣ крабовъ, морскихъ ежей, звѣздъ, забавляется ракомъ отшельникомъ, старается выгнать его изъ раковины. Все это онъ хочетъ засушить и показать своимъ дѣтямъ дома. Я присоединяюсь къ нему, беру ведро и наполняю его разными морскими животными. Всѣ они красныя, зеленыя, желтыя стараются выкарабкаться изъ подь давящей ихъ тяжелой массы рыбы и губки. Я освобождаю ихъ, пускаю въ воду и они, благодарные, начинаютъ мнѣ кивать оттуда своими лапками, усиками и щупальцами. Но моя мирная освободительная работа снова отравляется отвратительнымъ зрѣли-



щемъ. Кокъ, тотъ самый кокъ съ чайникомъ, котораго я ободрялъ во время качки, прицѣпилъ на удочку рыбку, закинулъ въ стаю птицъ и торжествующе тянетъ несчастную на палубу. Я освобождаю птицу, но кокъ недоволенъ и принимается швырять губкой въ глупышей. Это занятіе увлекаетъ матросовъ, и вотъ всѣ они начинаютъ попадать губкой въ птицъ. Крикъ, пискъ, хлопанье крыльевъ, хохотъ матросовъ, запахъ морской глубины и эта масса животныхъ и безграничное пространство воды и мутное пятно солнца надъ океаномъ,— все это мнѣ кажется какой то пляской морскихъ чудовищъ съ рыбьими хвостами, звѣриными копытами и человѣческими головами. Водки бы сюда, но водка не допускается капитаномъ.

\* \*  
\* \*  
\* \*

### Потѣрчина.

Окруженный волнами, силы я всѣ  
истощилъ на невѣрномъ плоту,  
Не вкушая столь долго пищи, по-  
кая и сна. (*Одиссея*).

Мы ставимъ большой поплавокъ съ флагомъ на якорѣ, буй, отмѣчаемъ этимъ найденное рыбное мѣсто и ѣздимъ вокругъ него, вытаскивая траль черезъ каждые два-три часа. И такъ почти цѣлую недѣлю. Рѣдко, рѣдко выглянетъ изъ тумана солнце, посвѣтитъ два-три часа, покраснѣетъ и снова растаетъ въ туманѣ, потому что постоянный NO всегда сопровождается туманами. Наконецъ, наступаетъ давно жданный день: встрѣча съ „Княгиней Ольгой“. Но надежды на встрѣчу мало, потому что мы такъ и не видѣли Канина носа, и не опредѣлились, да и день совсѣмъ туманный. Но, кто знаетъ, можетъ быть и встрѣтимъ, услышимъ свистокъ. Я сижу въ штурвальной, напряженно вглядываюсь въ туманъ, слѣжу за стрѣлкой компаса и время



отъ времени даю свистки на случай встрѣчи съ другимъ пароходомъ.

Какъ-то разъ я вижу, что дядя мнѣ машетъ руками, что-то кричить. Что такое? Свистокъ! Онъ слышалъ свистокъ. Я даю свистокъ, но отвѣта нѣтъ.

— „Ты ослышался, старый?“

— „Нѣтъ-же, своими ушами слышалъ, вонъ тамъ“.

Я вглядываюсь въ то мѣсто, гдѣ онъ слышалъ свистокъ, и мнѣ кажется, что тамъ мелькнуло что-то темное въ туманѣ. Еще и еще. Какая то темная тѣнь колыхнется на волнахъ. Судно, „Ольга“, нѣтъ сомнѣнія, что это „Ольга“.

И какъ я жду! Чтобы понять меня, нужно вотъ такъ, какъ я, проплавать въ океанѣ больше недѣли, нужно спать возлѣ крысинаго гнѣзда при грохотѣ распорныхъ досокъ у самаго уха, нужно промокнуть, пропитаться и пропахнуть рыбой. Вотъ тогда можно меня понять, какъ я жду „Ольгу“. Я вижу, какъ растеть тѣнь судна въ туманѣ. Мнѣ кажется, что я уже слышу аккордъ и вижу даму въ черномъ плащѣ съ дорожной сумкой черезъ плечо. Мгновенно созрѣваетъ планъ: бѣжать отсюда, ѣхать на Новую землю на „Ольгѣ“ и вернуться съ ней въ Архангельскъ. Я даю тревожный свистокъ, мнѣ не отвѣчаютъ, а темное растеть и быстро приближается. Это не судно, это большой китъ плыветь намъ на встрѣчу.

— „Это китъ, дядя?“

Онъ молчитъ и внимательно смотритъ. Матросы тоже бросаютъ чистить рыбу и смотреть на носъ. Дядя идетъ даже къ борту.

— „Китъ?—опять спрашиваю я.

— „Непохоже, долго держится“.

— „А что же это?“

— „Такъ приплышь. Мертвечина. Китъ ли дохлый, касатка, звѣрь или что“...

Приплышь уменьшается вдвое, втрое, словно таетъ въ туманѣ.

Дядя готовить багоръ, чтобы схватить его. Но онъ дѣлается совѣмъ маленькой черной точкой. Дядя смѣется и говорить:

— „Потѣрчина“.

Хватаетъ багромъ, вытаскиваетъ на палубу кусокъ дерева. Это просто насыщенный водою кусокъ дерева, торчкомъ плывущій въ туманѣ, больше ничего.

— „Потѣрчина“,—опять говорить дядя и бережно обтираетъ ее полой.

— „На что она тебѣ?“

— „А отъ клоповъ годится, первое средство“...

И вотъ все, что осталось отъ великой княгини Ольги, созданной океанской иллюзіей: какая то глупая поторчина.

Вдругъ я отчетливо слышу свистокъ, совѣмъ близко. Я отвѣчаю, мнѣ тоже свистять. Съ каждой минутой мы приближаемся, непрерывно свистимъ другъ другу.

Ольга! теперь уже нѣтъ никакого сомнѣнія. Мнѣ кажется, что и „Николай“ совѣмъ ужъ не такъ хрипло свиститъ и будто дрожить отъ радости, стрѣлка компаса совершаетъ чуть не полные обороты, а самъ я рѣшаю определенно бѣжать отсюда.

Судно показывается въ туманѣ, и съ мачтой, и съ трубой. Это уже не поторчина. Но еще мгновение и передъ нами не „Ольга“, а „Николай“, не самый „Николай“, а двойникъ его, абсолютно такой же: съ распорными досками на бокахъ, и съ косымъ парусомъ назади. Мнѣ даже немножко страшно, будто галлюцинація. Но черезъ мгновение „Николай“—двойникъ почти у самага нашего борта. На вышкѣ стоитъ съ рупоромъ въ рукѣ извѣстная всему міру всегда неизмѣнная фигура въ сѣрой клѣтчатою одеждѣ, окаменѣлымъ лицомъ, съ холодными стальными глазами. Англійскій траулеръ. Англичанинъ спрашиваетъ насъ, кто мы, откуда. Мы говоримъ: русскіе, архангельцы. И тогда даже на его деревянномъ лицѣ выражается изумленіе: „Archangel“—протяги-



ваеть онъ. До сихъ поръ у архангельцевъ не было траулера. И хотя тутъ и нейтральныя воды, но все-таки иностранцамъ неловко, очень близко къ границѣ. Англичанинъ задаетъ намъ нѣсколько вопросовъ о рыбѣ и, отъѣхавъ немного, спускаетъ въ воду траль. Немного спустя, мы встрѣчаемъ еще одного англичанина, потомъ еще, потомъ норвежца, и всѣ ѣздимъ вокругъ нашего буя и время отъ времени свистимъ другъ другу въ туманѣ. Наши моряки ворчатъ, они совсѣмъ неосновательно считаютъ эти воды русскими. Но я радъ этимъ сосѣдямъ. Радъ думать, что вотъ, хоть въ океанѣ, нѣтъ этой границы между нашимъ и вашимъ.

Такъ проходитъ день, полный событій, неожиданныхъ встрѣчъ, но „Ольги“ все-таки нѣтъ. Я жду ее весь день до ночи, свищу, мнѣ отвѣчаютъ англійскіе и норвежскіе траулеры, но „Ольги“ нѣтъ. Наше свиданіе не состоялось, и полный самыхъ грустныхъ размышленій о предстоящихъ скучныхъ, одинокихъ дняхъ въ океанѣ, я спускаюсь внизъ и засыпаю въ своей койкѣ, тщательно заколотивъ отверстіе къ крысамъ.



## Горній вѣтеръ.

Я не имѣлъ понятія, что значить въ морѣ перемѣна вѣтра, если бы я могъ предчувствовать, что значить въ Ледовитомъ океанѣ вѣтеръ съ земли, „горній вѣтеръ“, то въ ожиданіи его, какъ бы скрасились послѣдующіе скучные дни въ морѣ.

И вотъ утромъ матросъ мнѣ говоритъ внизу въ каютѣ:

— „Вѣтеръ горній, сюдвестъ, посмотрите, какая краса!“

Я поднимаюсь на верхъ и не узнаю моря. Солнце ярко сверкаетъ и туманъ бѣжитъ клочками, какъ разбитое войско, ни малѣйшихъ слѣдовъ волны, только медленное дыханіе, будто грудь спящаго человѣка. Гдѣ то далеко въ синевѣ бѣлѣеть чайка, какъ послѣдній оторванный кусочекъ вчерашней океанской пѣны. Но главное—вѣтеръ, ласковый, родной. Я вдыхаю, и ясно чувствую запахъ сѣна, цвѣтовъ, тутъ, въ океанѣ“.

— „Чувствуете,—говорю я штурману,—ароматъ?“

— „Еще бы,—отвѣчаетъ онъ радостно,—берегомъ пахнетъ. При этомъ вѣтрѣ всегда въ океанѣ берегомъ пахнетъ“.

Берегъ дышитъ на насъ ароматомъ,—и штурманъ повѣряетъ мнѣ свои мечты. Ему бы хотѣлось больше всего поселиться на берегу, гдѣ нибудь у озерка, и ловить рыбу.

Я его поддерживаю, правда-же хорошо.

Мы мечтаемъ объ озеркѣ и удочкѣ и смотримъ, какъ на носу, на фонѣ синяго теперь океана, рыбаки сидятъ на опрокинутыхъ ведрахъ и чистятъ уже третью тысячу пудовъ рыбы. Они бросаютъ въ море головки мелкой рыбы и онѣ тамъ въ водѣ зеленѣютъ и свѣтятся, маняť акуль, а траль захватываетъ ихъ, вынимаетъ изъ моря на палубу.

И какъ это странно: мечтать о лужицѣ и удочкѣ на берегу, въ виду цѣлаго океана воды. Но что же дѣлать, пахнетъ берегомъ, такое свойство аромата земли.

— „Я уже сдѣлалъ первый шагъ,—говоритъ штурманъ,— женился“...

— „И лучше стало?“

— „Много лучше. Теперь ужъ я знаю, куда прѣйду, зачѣмъ прѣйду. А бывало выйдешь на берегъ и пустишься, ка-акъ шальной олень. Напоятъ тебя, оберутъ. Въ одной рубашкѣ приползешь къ кораблю на четверенькахъ. Наверхъ ужъ лебедкой поднимаютъ. Да въ наказанье другой разъ лишатъ берега. А какъ моряку безъ берега!“

Я смотрю сверху на Матвѣя и не могу не улыбнуться ему. Вѣтеръ съ земли и ароматъ ничуть не волнуютъ его, онъ по прежнему спокойно чинить траль, но здоровье такъ и выпираетъ на его красное курносое лицо и онъ безъ мысли улыбается, просто отъ теплаго вѣтра.

— „Ну, а ты, Матвѣй, женатъ?“

— „Нѣ-ѣтъ“...

— „А какъ же?“

— „А такъ, мнѣ и безъ бабы хорошо. Путаться съ ней. Денекъ, два побылъ на берегу и въ море. Въ морѣ хорошо, всей грудью дышишь. Инъ, благодать какая“.

И онъ вдыхаетъ ароматъ воздуха.

Но всѣмъ, кромѣ Матвѣя, хочется на берегъ, всѣхъ волнуетъ этотъ береговой вѣтерокъ. И всѣ дѣлаютъ намеки капитану. Не хватаетъ веревочекъ для починки трала. Провѣанта мало. Машинистъ что-то толкуетъ о маслѣ. Капитанъ мрачень: соли нѣтъ, рыба портится, а ловъ хорошій.

— „Да что вы, сговорились, что-ли, всѣ, — восклицаетъ онъ и, мрачный, спускается въ трюмъ.“

— „Сходи, сходи, — смѣется юнга, — я тухлую рыбу наверхъ положилъ, понюхай“.

Изъ трюма капитанъ появляется еще болѣе мрачный, но съ готовымъ рѣшеніемъ.

— „Сюдъ-вестъ“! — говоритъ онъ штурвальному.

Пароходъ повертывается и полнымъ ходомъ летитъ въ ту сторону, откуда дуетъ ароматный береговой вѣтерокъ.

## Глава V.

### Анархическая колонія.

#### Сѣверный орѣхъ.

Изъ разорванныхъ утреннихъ тумановъ показывается черный Мурманъ, будто старикъ съ сѣдой бородой.

Мы теперь въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ Норвегіей, самое слово Мурманъ происходитъ отъ норвежскаго Норманъ. Нашъ пароходъ быстро бѣжитъ навстрѣчу этому старому дѣду, одиноко стерегущему здѣсь въ Ледовитомъ океанѣ наши зеленя поля и города. Туманы поднимаются выше и выше и вотъ передъ нами не старикъ, а древній окаменѣлый слонъ свѣсилъ громадный хоботь въ океанъ и пьетъ воду. Кожа старая, землистая, слежавшаяся въ складки. Но утромъ, когда солнце разгоняетъ туманы, и камень живетъ. Черный лобъ краснѣетъ, разглаживается, привѣтствуетъ, радуется, какъ только можетъ радоваться старый окаменѣлый слонъ. Теперь мы уже различаемъ въ складкахъ скалъ бѣлые клочки снѣга, послѣдніе слѣды недовѣрія на морщинистомъ лбу.

— „Красиво?“ говорю я капитану.

— „Что красиво?“

— „Эти горы... и все... такъ...“

Капитанъ думаетъ, что красивымъ можно назвать только берегъ, усеянный селами, городами, зеленѣющий, но черный Мурманъ... камень... безъ малѣйшихъ признаковъ жизни...



— „Красивая земля“ — не очень искренно соглашается онъ, но что въ ней, пустая“.

— „А море! говорю я, указывая ва спокойные валы зыби, отъ которой у скаль непрерывно взлетаютъ высокіе бѣлые фонтаны.

— „Да море... море... да...“

Я заражаю его, привыкнувшаго ко всему этому, своимъ интересомъ къ этой новой для меня природѣ... Онъ вглядывается въ берегъ, будто увидѣль его въ первый разъ. Но черезъ минуту вспоминаетъ, что у него какая-то практическая цѣль, нужно что-то погрузить, выгрузить, забываетъ о красотѣ черныхъ скаль надъ океаномъ и даетъ условный свистокъ. Горы откликаются, высылаютъ изъ трещинъ лодку, другую, третью...

— „Туть цѣлый флотъ!“

— „Это еще что, отвѣчаютъ мнѣ, а бываетъ, народу глядѣть не переглядѣть, считать не пересчитать, растянутся по морю, что лѣсъ, облѣнять пароходъ, что мухи“.

Лодки — большею частью тѣ знаменитыя мурманскія „шняки“, на которыхъ промышленники выѣзжаютъ далеко въ океанъ ловить рыбу и постоянно гибнуть на нихъ. Это тѣ шняки, которыя на сѣверѣ служатъ символомъ русской культурной отсталости и постояннымъ предметомъ насмѣшекъ сосѣдей норвежцевъ. Между шняками попадаются и красивыя, похожія на античныя суда, „ёлы“, болѣе совершенныя лодки, но и то уже оставленныя норвежцами, примѣняющими теперь безопасныя палубныя боты.

Лодки и ёлы тѣснымъ кольцомъ окружаютъ пароходъ, стучать другъ о друга. Здоровенные поморы прыгаютъ изъ одной въ другую, то ругаются, то хохочатъ: вѣсьмъ хочется раньше попасть на пароходъ. Взбираются на палубу, ворочаютъ бочки. Одному великану, я вижу, нетерпится, онъ, не дожидаясь помощи машины, поднимаетъ ее на бортъ и... бух! лодку внизу заливаешь наполовину водой... Общій хохоть.

Здоровая, веселая, свободная жизнь, совсѣмъ незнако-  
мая жителямъ средней Россіи и даже тѣмъ деревенькамъ  
Бѣломорья, которыя расположились на Лѣтнемъ берегу про-  
тивъ Соловецкаго монастыря. Сюда на Мурманъ ѣздить  
только тѣ поморы, которые живутъ на западномъ берегу  
Бѣлаго моря, которые собственно и называются на сѣверѣ  
„поморами“.

— „Хорошо!“ говорю я нашему капитану.

— „Ничего, отвѣчаетъ онъ, народъ хорошій. Грубоваты  
только. Да это ничего. Сѣверный человѣкъ—орѣхъ, его рас-  
кусить нужно.“

— „Поѣзжай къ нимъ, совѣтуетъ старикъ, посмотришь.  
Черезъ недѣлю пароходъ придетъ и уѣдешь“.

— „Не-дѣ-лю!“

— „Что тебѣ недѣля, все равно вѣку итти“.

Въ самъ дѣлъ, думаю я, что такое недѣля, а для срав-  
ненія съ Норвегіей, въ которую я поѣду, хорошо побывать  
среди этихъ великановъ, потомковъ новгородскихъ дру-  
жинниковъ. Беру свой чемоданъ и спускаюсь внизъ.

— „Можно?“ спрашиваю одного, другого, третьяго.

Никто не отвѣчаетъ. Одинъ, опираясь на мое плечо,  
перескакиваетъ въ другую лодку, другой наступилъ на че-  
моданъ. Между этими людьми я становлюсь маленькимъ,  
исчезаю.

— „Можно?“

— „Сиди-и... Сѣлъ и сиди. Сиди и сиди!“

Везутъ и высаживаютъ на голыя скалы „Подъ пахтой“,  
какъ называютъ тутъ небольшую бухточку между горами  
(пахта-гора).

— „Это становище?“

— „Нѣтъ, это Пахта, становище далеко, версты двѣ.“

— „Я просилъ васъ свезти меня въ становище!“

— „Ты просилъ, а мы тебя не просили. Самъ сѣлъ. Да  
чего тебѣ... Мужикъ ты дородный, клади чемоданъ на плечи,

да погорамъ... Шагомъ маршъ! Тропинка есть, славно дой-  
дешь. Съ Богомъ, вонъ тропинка!“

Одѣтъ я, какъ баринъ, во всякомъ другомъ мѣстѣ, въ  
чаяніи двугривеннаго, мнѣ сдѣлали-бы все.

Но тутъ ни малѣйшаго поползновенія, еще мнѣ въ на-  
смѣшку дадутъ, если я предложу.

Вотъ онъ сѣверный-то народъ... Сѣверный человѣкъ,  
будто все еще слышу я слова капитана, орѣхъ, его раску-  
сить нужно.

Раскусить, такъ раскусить, дѣлать нечего.

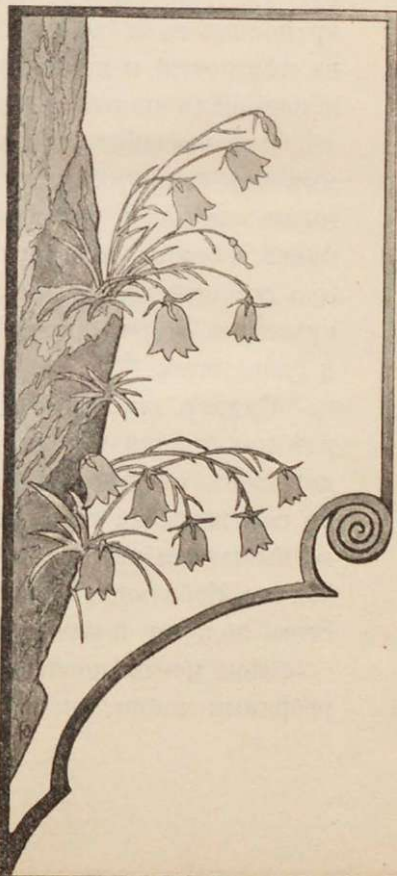
Я вскидываю себѣ на плечи чемоданъ, пуда въ два—три  
вѣсомъ, и поднимаюсь на скалы.

„Вотъ такъ, слышу я за собой... Вотъ такъ, иди и иди.  
Шагомъ маршъ! Тропинка приведетъ къ мѣсту!“

\* \*  
\* \*

Какая это тропинка! Тутъ на  
голомъ камнѣ и не можетъ быть  
тропинки. Это просто едва замѣт-  
ные пыльные слѣды сапогъ пѣ-  
шиходовъ на черныхъ камняхъ  
гранита. Я поминутно теряю слѣдъ,  
и то поднимаюсь слишкомъ высоко,  
то опускаюсь до какой нибудь раз-  
сѣлины, которую нельзя перейти  
и снова возвращаюсь искать слѣды  
сапогъ на камняхъ.

Разъ такъ я поднимался къ  
отвѣсной стѣнѣ надъ моремъ и  
замѣтилъ, что изъ трещины скалы  
свѣшивается пучекъ лиловыхъ ко-  
локольчиковъ. Заинтересованный,  
какъ они держатся на голомъ  
камнѣ, какъ они могли тутъ вы-





рости я осторожно протягиваю руку вниз, срываю. Настоящие сочные цветы и пахнут свежим лугом, как пахнут непахучие цветы. Они устроились здесь в трещинах скалы. Разглядывая цветы, я вдруг замечая, что край моего пальто показывается то на фоне черных камней, то над зеркалом воды. Другой край тоже качается и колокольчики в руках качаются и все покачивается: пуговицы, щипочка. Я понимаю, что это от морской качки, но странно то, что я сам смотрю на себя, сознаю и не остаиваюсь, будто это не привычка, приобретенная на судне, а скалы над океаном качаются. Спешу уйти вниз, спускаюсь к зеленоватому мостечку. Это озерко, окруженное мохом. Тропа упирается в воду, глубоко, нельзя перейти. Что-бы это значило? Приподнимаюсь вверх поискать новую тропу и вдруг понимаю, что это не озерко внизу, а временная вода океанского прилива. Чтобы ориентироваться в местности, я поднимаюсь еще выше и вдруг вижу, что я подошел почти к самому становищу.

Два высокие, уступчатые, будто искусственно сложенные из больших черных камней горы с восьмиконечными крестами наверху стерегут множество лодок в бухте. Гора с крестом и есть, конечно, тот „глядень“, про который мне много рассказывали. Отсюда поморы ждут судов с моря, ждут погоды, здесь устраивают иногда и свои шеры.

Судов так много, что едва заметно воду, невидна где начинается берег, на котором приютилось множество домиков с плоскими крышами, похожих отсюда не то на самовар, не то на печь, потому что над ними иногда возвышаются железные трубы. Чего же лучше? Весело свободно. Небольшое усилие над собой и я прислоню сюда свою лодочку и заживу приживаючи.

Мои мечты носятся в воздух свежим, как эти серебряные чайки, крачки, кривки, поморники, зуйки.

Сгораетъ одна папироска, другая, третья, становится нехорошо, попадаетъ мысль: сѣверный человѣкъ орѣхъ, его еще раскусить нужно. И тутъ я замѣчаю, что тамъ, гдѣ было озеро, окаймленное зеленымъ мохомъ, теперь черное, покрытое грязными водорослями мѣсто, виднѣется и тропа на немъ.

Надо итти, надо раскусить сѣверный орѣхъ.

\* \* \*

### Звѣрбой.

Внизу путаница еще больше, чѣмъ наверху. Вотъ, кажется, тутъ тропа, тутъ и пройти между двумя станами. Прохожу, но третій станъ загораживаетъ путь и накрывъзвукъ бьетъ въ тазъ — барабанъ, а другой подкатывается подъ ноги. Здѣсь виситъ огромная сѣть, тамъ сушится рыба съ отвратительнымъ запахомъ, вотъ бочка съ смолой, якорь, лодка. Сразу видно, что тутъ некому прибрать, что тутъ живутъ одни мужчины, безъ женъ. Припоминается, какъ хорошо тамъ въ Поморѣ у женъ этихъ рыбаковъ: все устроено, все вычищено, все дожидается благополучнаго возвращенія главы семейства.

Мнѣ нужно розыскать здѣсь двухъ людей: знаменитаго помора, по прозвищу „Звѣрбой“ и колониста „Вичурнаго.“ Перваго мнѣ рекомендовали, какъ „законника“, интереснаго человѣка, второй колонистъ, значить—постоянный обитатель Мурмана и, значить, у него есть баба, которая и уху можетъ сварить и самоваръ согрѣть.

Я хватаю одного, подкатившагося мнѣ подъ ноги зуйка, и вѣло вести сначала къ Звѣрбою.

Но „Звѣрбой“, оказывается, тутъ же и живетъ на своей собственной шкунѣ, обнаженной отливомъ, подпертой чѣмъ-то, чтобы не упала.

Взбираюсь на шкуну. Никого нѣтъ, тишина, какъ на суднѣ моряка скитальца.

— Отзовись, живая душа!

Въ отвѣтъ изъ люка показывается голова, похожая на моржовую, но безъ клыковъ, потому гигантское туловище, одѣтое въ самоѣдскій широкій савикъ, ноги въ тюленьихъ сапогахъ. Мнѣ показалось, что и лапы его покрыты моржовой шерстью, но это были такія рукавицы.

Вотъ онъ орѣхъ-то, думаю я, и называю себя и лицъ, рекомендовавшихъ меня.

„А по какому же дѣлу вы къ намъ жалуете?“

„Любопытствую, какъ живете.“

„Отъ статистики, или отъ редакціи?“

„Пожалуй, отъ редакціи.“

Какъ только я сказалъ слово редакція, поморь преобразился.

„Ну иди, иди сюда въ каютку, чайку попить, будешь гость дорогой. Поговоримъ. Я бывалый, я тебѣ все расскажу.“

Мы идемъ внизъ въ заботливо убраную каюту.

Тутъ сразу видно, что хозяинъ „поморь“ въ томъ особомъ смыслѣ слова, которое придаютъ ему здѣсь. Поморь это что-то въ родѣ дворянина. Поморье это не весь берегъ Бѣлаго моря, а только нѣсколько богатыхъ селъ, ведущихъ торговлю съ Норвегіей.

Это единственный мнѣ извѣстный уголъ Россіи, гдѣ люди гордятся своей родиной. Поморовъ принято считать цвѣтомъ русской народности, но сами они не любятъ связывать себя съ Россіей.

Поморь ставитъ самоваръ, а самъ приговариваетъ: „я наскажу, наскажу. Есть у насъ въ Поморьѣ народъ, вотъ бы вамъ гдѣ побывать, людей повидать.“

Я сказалъ, что видѣлъ Поморье.

„Неужели? вострепнулся онъ, и въ Сумѣ былъ?“

„Былъ.“



„А лавку тамъ видѣль?“

„Видѣль.“

„А повыше домъ, бѣлый?.. Ну, такъ этой мой!“

Такъ вкусно о домѣ можетъ сказать только морякъ. Я сразу вспомнилъ типичный продолговатый, похожій на корабль домъ...

„А такъ вы въ Поморьѣ были... видѣли... Хорошо ли живемъ?“

„Хорошо!“

„Вотъ то-то... А вѣдь мы не отъ Россіи дышимъ. Что намъ Россія: позади мохъ, впереди вода.“

Тутъ мнѣ почему-то вспомнились цвѣты на окнахъ поморскихъ домовъ, удивившіе меня, послѣ тягостной картины жизни Лѣтняго берега.

Я сказалъ о нихъ хозяину, чтобы сдѣлать ему пріятное...

„Души не моримъ! отвѣтилъ онъ гордо, сыто живемъ. Слышно, какъ живемъ! У насъ рупь за рупь {не считаютъ. Богъ дастъ промыселъ, такъ и по три лампы зажигаемъ. Свѣтло живемъ, всю ночь огни свѣтятся. Женки надѣнутъ башмачки новые, платье новое, сарафанчикъ гарусный, про юбку и говорить нечего...“

Я почувствовалъ вдругъ, что мои слова о Поморьѣ были лучшей моей рекомендаціей. А звѣробой съ этого момента перешель „на ты...“

— „Такъ вотъ ты какой, въ Поморьѣ бывалъ. А отъ какой-же ты газеты пріѣхалъ?“

Я назвалъ какую-то газету. А поморъ раскладывалъ на столѣ сыръ, масло, пряники, нервно, торопясь, словно у него что то ключемъ кипѣло внутри, но онъ сдерживался. Наконецъ, окончивъ все, сѣлъ и далъ себѣ волю:

— „Ну, братъ, и раздѣлаемъ-же мы съ тобой штуку! Есть у тебя бумага? Есть, ну пиши. Я тебѣ говорить буду, а ты пиши. Другого такого не сыщешь, какъ я. Я тебѣ все на правду выведу. Готова бумага? Ну, вотъ! Пиши:

мошенники всё служащие Россійскаго государства, пьянствуютъ, ничего не дѣлаютъ и ни на что неспособны. Пиши: такъ, что въ немъ нѣтъ силы, физической силы. Слово-то слово-то я тебѣ какое сказалъ! А ты думалъ неучи?“

— „Нѣтъ, я этого не думалъ, отвѣтилъ я, но зачѣмъ же такъ особенно нужна чиновникамъ физическая сила?“

„А вотъ узнаешь. Пиши: фи-зи-чес-кой силы. Потому что море и земля должны тому принадлежать, у кого есть физическая сила. Нужно, чтобъ у него котель работала и голова служила не для шапки, не мухъ ловить. Понялъ теперь? Хорошо?“

„Очень!“

„Но!“ воскликнулъ онъ съ достоинствомъ по архангельски.

Ну пиши дальше: пользы отъ нихъ никакой нѣтъ, потому что, первая: чтобы поднять, нужно имѣть силу и, вторая, чтобы бросить то же нужно силу. А такъ что ему не поднять и не бросить. Написано? Прочти!“

Я прочелъ и похвалилъ.

„Но!“ принялъ онъ важно мою похвалу. И задумался, какъ настоящій, но только гигантскій литераторъ.

„Пиши дальше! Край нашъ богатый, непочатый, самый лучший край сѣверный, потому что въ немъ богатства нетронуты. Пиши, что у насъ всякая рыба есть, рыбы много, въ изобиліи плодовъ рыбы: треска, зубатка, палтусина и такъ что пудовъ на пять палтуски попадаютъ, есть кумжа, форель, семга, навага, есть всякая рыба и звѣрь.“

Поморъ остановился въ изнеможеніи, потъ струился по его красному лицу. Какъ и многіе начинающіе литераторы, онъ не могъ сразу выразить свою мысль, потому что сильно преувеличивалъ ея значеніе. Онъ думалъ, что послѣ нашей корреспонденціи всё обратятъ вниманіе на сѣверный край. Любовно поглядывая на исписанные листки, онъ вдругъ воскликнулъ:

„А можетъ быть, ты и самъ редакторъ!“

— „Что-же туть особеннаго, отвѣчаю я, я могу быть редакторомъ.“

— „Ого-го-го! воскликнулъ звѣробой. Ну, раздѣлаемъ же мы, братъ, съ, тобой штуку. Пиши: у насъ тутъ звѣрь... Подожди!“

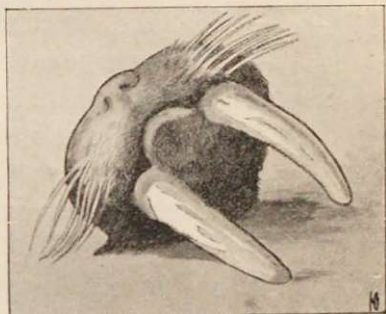
Онъ подошелъ къ люку и закричалъ:

„Ванька, принеси сюда моржовыя головки!“

Немного спустя мальчикъ сложилъ на полу цѣлую пирамиду изъ моржовыхъ головъ...

„Заверни одну господину редактору!. Это я тебѣ за то что хорошо пишешь. Теперь пиши:“

„Звѣрь трехъ породъ: моржи, потомъ есть тюлени, нерпа, заяцъ, лысунъ, есть бѣлуха, касатка, киты. Послѣ звѣрей пиши: каменный уголь, нефть, серебро. И такъ полагать, что золото есть. Вотъ такими кусками видѣли!“



Звѣробой отмѣрилъ ладонью половину моржовой головы.

Дальше пиши, что я о всемъ этомъ докладывалъ покойному губернатору Энгельгарду, а онъ только смѣется и брюхо чесать, потому что не морякъ и ничего не понимаетъ, а только пишеть, что понимаетъ. Потомъ докладывалъ питерскому чиновнику, что сѣверный край богатый, а онъ руки грѣеть и говорить, что озябъ, а этого не можетъ быть, потому что и Питерь сѣверъ и тамъ холодно“.

— „Пиши, пиши“ — повторяеть поморъ, но писать нельзя, въ каютѣ темно, солнце вѣроятно зашло за горы.

— „Темно...“

„Ну довольно. Завтра приходи на песокъ наживку ловить, покажу тебѣ сѣверный народъ. Иди, спи!“



## Вичурный.

Я выхожу. Свѣтло, хотя уже около одиннадцати. Никто не спитъ. Катають бочки, чинять сѣти, стучать, хохочать, ругаются.

„Гдѣ тутъ колонистъ Вичурный?“ спрашиваю я.

„А вотъ на горушкѣ.“

Тамъ у крыльца сидитъ почтенный бородатый мужчина, одинъ, но постоянно жестикулируетъ, будто гребетъ веслами.

— Чего онъ машетъ?

— „Онъ всегда такъ гребетъ, выпилъ и гребетъ, будто на морѣ. За то и прозвали: Вичурный, значить, чудной человѣкъ.“

Подходимъ. Онъ не обращаетъ вниманія.

„На фатеру къ тебѣ, Вичурный!“

Продолжаетъ грести и кричитъ мнѣ:

„Мошкара!“

Въ это время солидная женщина въ сарафанѣ и поморской голубой повязкѣ выручаетъ меня, устраиваетъ въ отдѣльной комнатѣ съ видомъ на море.

Но мнѣ теперь уже не до природы, лишь бы отдохнуть. Устраиваюсь, чувствую, какъ сладко засыпаютъ ключицы и лопатки, выдержавшія тяжесть моего чемодана, вижу какъ меркнетъ на стѣнѣ огонекъ полуночнаго солнца... И вдругъ съ трескомъ отворяется дверь...

Вичурный!

Улыбается, садится ко мнѣ на постель. Что тутъ дѣлать? Я гость, мнѣ говорили, что тутъ иногда даже отъ денегъ отказываются. Нельзя же вытолкнуть хозяина. Убѣждаю, говорю, что усталъ, и все...

Улыбается и гребетъ веслами.

Я начинаю роптать на судьбу и злиться на колонистовъ, припоминаю, что слышалъ о нихъ, какъ о самыхъ негодныхъ людяхъ, переселившихся сюда изъ Поморья только потому, что имъ обѣщали грошевую помощь.

„Весь колонистъ такой!“ отзывается и Вичурный, потому камень и все...”

Что тутъ дѣлать? Осторожно беру хозяина за плечи, вывожу на воздухъ, усаживаю на камень, а самъ возвращаюсь и ложусь. Сплю, но слышу крикъ чаекъ, хохоть и все будто вижу огонекъ на стѣнѣ. Потомъ голосъ возлѣ:

„Баринъ, ты напрасно, я человекъ хорошій.“

Открываю глаза: Вичурный сидитъ на кровати и будить. Притворяюсь, что сплю.

„Баринъ, я хорошій, обувь, одѣтъ, сытъ, живу я съ женщиной, вѣры я православной. Баринъ, перевернись! Эхъ! Наживать то легко, а пропивать трудно. Перевернись!“

Я даю себѣ слово, если онъ только прикоснется ко мнѣ рукой, немедленно выставить его вонъ.

„Баринъ перевернись. Не по компасу же ты спишь!“

И перевертываетъ меня лицомъ къ себѣ... Я вскакиваю, не помня себя, вывожу Вичурнаго и вдругъ замѣчаю на двери крѣпчайшій желѣзный крюкъ. Закрываю дверь и наслаждаюсь, что Вичурный не можетъ проникнуть. А онъ кричить:

„Мошкара! Меня въ Амбургѣ знаютъ, меня и въ Норвегѣ знаютъ. А вы все мошкара, мошка-р-ра!“

Надо быть искреннимъ. Путешествіе по моему плану не очень пріятная забава, это не жизнь, но и не одно только удовольствіе. Больше всего оно похоже на дѣло, совершенно самостоятельно задуманное, много сулящее, но часто и удручающее: временами исчезаетъ всякій его смыслъ... Много бываетъ непріятностей, если все подсчитать. Но самое непріятное, это то, что если я открою глаза, то непременно встрѣчу на стѣнѣ огонекъ полуночнаго солнца.

Открываю: огонька нѣтъ, полутьма. Повертываюсь къ окну: солнца нѣтъ. Неужели-же сѣло?.. Неужели конецъ этимъ солнечнымъ ночамъ! Солнце сѣло, океанъ хотя и го-

рить, но въ воздухѣ полумракъ. Бѣлыя птицы рядами усьлись на черныхъ скалахъ, молчать, дремлютъ...

Теперь я понимаю: путешествіе не жизнь, не дѣло, это любовь. Вотъ я уже забылъ про все и мнѣ хочется поселиться вмѣстѣ съ этими бѣлыми птицами на черныхъ скалахъ у океана.

\* \* \*

### Ловъ наживки.

Просыпаюсь и съ кровати вижу, какъ нѣсколько мачтъ далеко до самаго горизонта протянулись по спокойному океану. Безвѣтріе и солнечный день на океанѣ—праздникъ. Рыбаки сегодня одѣты въ желтую непромокаемую одежду, суеты нѣтъ, всѣ группами мало по малу расходятся въ горы...

„На песокъ, на песокъ!“ кричатъ зуйки.

„На песокъ! узнаю я голосъ Вичурнаго за дверью. Онъ входитъ ко мнѣ совершенно трезвый, какъ ни въ чемъ не бывало, подаетъ мнѣ руку, предлагаетъ итти на песокъ ловить наживку. Но предварительно онъ желаетъ выпить со мной мурманскаго ерша и тутъ же изготовляетъ смѣсь изъ водки и квасу. Я предпочитаю стаканъ чаю съ морошкой, какъ предлагаетъ хозяйка и мы отправляемся на песокъ.

Путь нашъ лежитъ черезъ кряжъ по камнямъ, совершенно такой-же какъ и вчера: со ступеньки на ступеньку, какъ и вчера; въ трещинахъ скалъ попадаются лиловые колокольчики. Рыбаки посвящаютъ меня въ свое дѣло. Наживка — это маленькая рыба (песчанка и мойва). Она здѣсь цѣнится чуть-ли не дороже самой трески, потому что безъ ней невозможна рыбная ловля. Рыбешку насаживаютъ на крючки длинныхъ переметовъ, называемыхъ здѣсь „ярусами“; „наживка“, значитъ, приманка.

Мы подходимъ къ вершинѣ кряжа, и вдругъ черная стѣна камня разрывается, будто кто то нарочно прорубилъ





въ немъ гигантскимъ долотомъ правильное квадратное отверстие къ океану. Внизу у берега отмель ровная, желтая, какъ усыпанная пескомъ площадка крокета. Тутъ тысяча или больше людей, распределенныхъ правильными рядами. Непохоже ни на жатву, ни на сѣнокосъ, какая-то грандіозная игра на естественной площадкѣ у океана...

„Видишь, сколько народу, говорятъ мнѣ, шапкѣ упасть некуда!“

Все это такъ любопытно отеюда, что я отстаю отъ поморовъ, ложусь на разогрѣтый песокъ и люблюсь. Не знаю, что интереснѣй: люди внизу или этотъ серебряный дождь птицъ сверху...

Меня замѣчаютъ. Слухъ о приѣздѣ „редактора“, конечно, разнесся по всему становищу, и вотъ одинъ за другимъ подходятъ ко мнѣ мудрецы побесѣдовать, кланяются и со словами: „на мягкомъ полежать, брюхо попарить“, ложатся возлѣ меня. Это все почтенные люди, которые имѣютъ право и не принимать участія въ работѣ: вчерашній „Звѣробой“, еще старикъ Игнатій, — совсѣмъ похожій на Николу Угодника гигантъ, — еще старикъ, своимъ мудрымъ видомъ вызвавшій во мнѣ образъ Фауста до искушенія. Подальше отъ насъ собирается другая группа созерцателей: маленькій телеграфный чиновникъ въ крахмальномъ воротникѣ и съ тросточ-

кой, нѣсколько мѣстныхъ скупщиковъ рыбы, группа обособленная и, навѣрно, консервативная. Мыhalbво, они направо, будто засѣданіе маленькой Государственной Думы, перенесенное сюда къ океану.

Птицы вверху иногда сталкиваются, пищать, дерутся. Но люди правильными рядами тянутъ невода, тысячи веревокъ переплетаются, но всегда распутываются, безъ всякаго начальника, или распорядителя, такъ само собой.

Туть, вѣроятно, вложены столѣтія опыта, приспособленія...

„Все идетъ кругомъ“, открываетъ засѣданіе мудрецъ, похожій на Фауста, все идетъ кругомъ. Все голова работаетъ. Все обдуманно. А все на своемъ мѣстѣ.“

„Вотъ, господинъ редакторъ, смотри, приглашаетъ меня Звѣробой, смотри и любуйся. Видишь, народу больше тысячи, бойко работаютъ, а никто не зацѣпнть, не мѣшаетъ. Не то что у васъ въ Россіи, затмѣный, да закрѣпощеный.“

„Почему-же вы отдѣляете себя отъ Россіи, говорю я, вы тоже русскіе.“

„Мы не отъ Россіи дышимъ..., впереди вода, сзади мохъ, мы сами по себѣ. Смотри, какой народъ, молодець къ молодцу, а вашъ что, мякинникъ, а зерно въ немъ не представлено, онъ бы и вышелъ куда, тыкнулся, да свѣту не даютъ.“

„Національность!“ вдругъ торжественно произнесъ Звѣробой. Слово-то, слово-то я тебѣ какое говорю, а вѣдь нигдѣ не учился. Знаю вотъ, что мы отъ Марфы Посадницы свободу имѣемъ. Дружинникъ! Откуда такое слово? Отъ новгородской дружины. Вотъ мы какъ свою страну и безъ науки знаемъ, до тонкости знаемъ. Намъ и наука не нужна.“

Эти слова были началомъ моего разочарованія въ Звѣробой. Вчера-же онъ воспользовался моимъ трудомъ для корреспонденціи и вотъ уже сегодня почувствовалъ свою національную гордость, отрицающую науку.

„Учиться-же нужно, народъ учить нужно...“, началъ было я... Но въ это время изъ правой группы поднялся ма-

ленькій телеграфный чиновникъ, оперся на тросточку и, задумчивый, замеръ въ созерцаніи океана. Его крахмальный воротничекъ привлекъ вниманіе всей лѣвой.

„Вотъ видишь, говорятъ мнѣ, видишь... Скажи, что въ немъ? Чернильная душа, а какъ носъ задираетъ! Куды! Кто я, что я! Да вѣдь вся то твоя душа въ чернилахъ. Отставь тебя отъ службы и пропадь, а оставь меня въ рубашкѣ, найду дорогу. Потому что онъ людямъ служить, а я себѣ, обезпечиваю себя своей силой и умомъ. У меня свой наказъ. Я весь въ натурѣ.“

„Близкозоръ!“ сказалъ Звѣробой.

„Муха въ парусѣ,“ заключилъ Фаустъ.

Я тоже не поклонникъ чернильныхъ душъ, но боюсь, что вмѣстѣ съ этимъ Звѣробой отрицаетъ и просвѣщеніе. Я опять повторяю, что народъ учить нужно, что безъ этого нельзя...

„Ну, братъ, нѣтъ... Я тебѣ вотъ что скажу. У человѣка, какъ у птицы перелетной, вырабатывается свой умъ. Оставь его такъ все образуется.“

„Народъ такое дѣло, соглашается Игнатій, что вода въ рѣкѣ, зашпай, она будетъ напирать...“

„Капелька по капелькѣ плотину прорветъ“, подхватываетъ Звѣробой. Потому что народъ—стихія. Слово-то, слово-то я тебѣ какое сказалъ!“

„Стихію запрутъ“ говорю я...

„Ну, братъ, нѣтъ, стихіи долженъ покориться!“

„Такъ вѣкъ идетъ“, поддержалъ Фаустъ, и рассказалъ, что у него было свое судно и онъ на немъ возилъ по тысячѣ чудовъ семги и что его разбило и семгу унесло.

„Остался сиротой на вѣки вѣчные, продолжалъ за него словоохотливый Звѣробой. „Вонъ она!“ показалъ онъ рукой на океанъ, „лежитъ, хорошо. А какъ морянка задуетъ, да взводни черезъ глядѣнь стегать нучнуть... Нѣтъ, господинъ, стихіи долженъ покориться...“



Я еще раза два пытался направить разговоръ, какъ мнѣ хотѣлось, но такъ и не удалось...

— „Все осталось, все прокатилось, все потерялось“, заключилъ нашу бесѣду Фаустъ, и мы все поднялись посмотрѣть: много-ли поймалось наживки.

Поймали множество извивистыхъ змѣекъ съ фиолетовымъ отливомъ. Ловъ рыбы обезпеченъ. Завтра все эти люди двинутся въ океанъ на первобытныхъ беспалубныхъ лодкахъ.

Пока они будутъ „лежать на ярусахъ“, можетъ, какъ выражаются они, „набѣжать полоска“, изъ нея дунеть, и лодки, какъ это здѣсь очень часто бываетъ, пойдутъ ко дну.

— „Нажить, либо дома не быть!“ говоритъ, Фаустъ.

— „Стихию долженъ покориться“, долго еще повторяетъ Звѣробой.

Возвратившись въ становище, мы весь остальной день насаживаемъ наживку на крючки. Дѣло, требующее большой ловкости. Насаживаютъ больше специалисты мальчуганы, наживодчики и зуйки. Я учусь, но у меня выходитъ медленно. На завтра мы сговариваемся вмѣстѣ съ Игнатіемъ вѣхать въ океанъ.

\* \* \*

### Старый кормщикъ.

Въ спокойное, „меженное“, время, въ тихіе дни Ледовитый океанъ иногда такъ успокоится, что все вокругъ становится хрустальнымъ: и вода, и воздухъ, и берегъ, и птицы. Кажется, будто все это залито на вѣки вѣчные прозрачною и легкою стеклянною массой. „Море стеклѣетъ“ говорятъ тогда поморы. Бываетъ это чаще вечеромъ, солнечной ночью. Утромъ подуетъ горній вѣтерокъ... Океанъ оживаетъ, зарябятъ полоски. Тогда кажется, будто улыбка ребенка побѣдила давно застывшее сердце стараго мудреца и онъ разсмѣялся.

Если въ это время тихонько плыть на лодкѣ вдоль берега, то можно видѣть, какъ изъ глубины все еще стеклянныя водъ одна за другою высовываются кроткія умныя головы звѣрей, похожихъ на человѣка, какъ они, большіе и грузные, пробуютъ устроиться на какомъ нибудь едва замѣтномъ подводномъ камнѣ. Усядутся рядомъ два звѣря, согрѣются утреннимъ солнцемъ и склоняютъ другъ къ другу головы. „Будто цѣлуются“, скажешь помору. — „Ликуются“, отвѣтитъ онъ, „потому что природа у нихъ человѣчья.“ И такъ это покажется значительнымъ, что въ Ледовитомъ океанѣ живутъ звѣри, похожіе на людей и что въ хорошее солнечное утро они цѣлуются. Сверкнетъ серебряная спина бѣлухи, выдвинется черное чудовище — касатка, вдали поднимутся фонтаны китовъ, на скалахъ разстроятся ряды бѣлыхъ птицъ, запрыгаютъ сельди, сверху на нихъ серебряными полосами посыплются чайки.

Старый мудрецъ улыбается.

Въ хорошее лѣтнее утро на краю свѣта у скалистаго берега, гдѣ растутъ только лиловые колокольчики начинается такая большая мудрая жизнь. Такъ ясно думается, такъ хочется вѣрить, что конца природы и жизни человѣка нѣтъ, что все оканчивается не смертью, а спокойной мудростью. Ледяная оконечность земной оси — полюсъ — вѣнецъ мудрости.

Небо свѣтится, вода рябитъ, скалистый берегъ осѣдаетъ, впереди то звѣрь, то птица... Старый мудрецъ улыбается.

— „Слава тебѣ Господи, вѣтерокъ горній, вѣтерка благо, бѣжимъ хорошо!“ радуется кормщикъ...

Мы ѣдемъ на шнякѣ ставить ярусъ въ океанѣ.

Всего насъ пятеро. Старый кормщикъ Игнатій, тотъ самый „законникъ“, похожій на Николу Угодника, съ которымъ мы уже не разъ бесѣдовали, и съ нимъ три помора: „тяглець“, ближайшій помощникъ кормщика, зрѣлый мужъ, „весельщикъ“, юноша, и „наживодчикъ“, почти мальчикъ.

Команда на шнякѣ совсѣмъ будто семья. Быть можетъ такая артель и создалась на основѣ семейнаго начала? Но можетъ быть и само дѣло требуетъ разныхъ возрастовъ... И то и другое вѣроятно. Команда подчинена кормщику, какъ патриархальная семья главѣ семейства. Больше,—Мурманская поговорка гласитъ: „на небѣ Богъ, на землѣ царь, а на водѣ кормщикъ.“ Но Игнатій никогда не распоряжается единолично, а всегда по согласію, опроситъ „какъ братья“ и потомъ рѣшить. Онъ и вообще не любитъ рѣшать своевольно. Въ свободное время къ избѣ Игнатія собирается вся молодежь становища, обсуждаетъ свои дѣла, старикъ всегда съ ними, но больше молчитъ и незамѣтно руководитъ. Было время, когда весь Мурманъ управлялся такимъ мудрымъ, прославленнымъ жизнью человѣкомъ... Но теперь...

— „Теперь на водѣ слушаются, а на берегу нѣтъ“, говоритъ кормщикъ Игнатій и улыбается, будто сочувствуетъ тому, что власть уходитъ отъ старыхъ людей...

Я пытаю старика: хорошо это, или плохо?

— „Ни хорошо, ни плохо, отвѣчаетъ онъ. Народъ теперь больше сплоченъ, старики на своемъ ставили, а молодой идетъ по артели. Мы по молодости тянемъ.“

Берегъ „оплываетъ“. Отвѣхали версть двадцать въ океанъ. Дальше ѣхать нельзя, можно и вовсе потерять землю изъ виду, а необходимо установить примѣты, иначе лодку незамѣтно можетъ унести теченіемъ и потеряемъ мѣсто, гдѣ поставленъ ярусъ.

Ярусъ это длинная бичева, версты въ три, къ ней привѣшены на коротенькихъ „форшняхъ“ крючки съ наживкой. Якорями онъ опускается на дно по „кроткой водѣ“, а „кубасъ“ (деревянный поплавокъ) маленькимъ флагомъ показываетъ, гдѣ онъ.

Мы пріѣхали на мѣсто „полежки“, готовимся вымѣтывать ярусъ. Но раньше всего нужно установить примѣты. Старикъ теперь же замѣчаетъ по компасу едва видный



глядѣнь, а когда отъѣдемъ версты за три возьметъ другую примѣту.

Примѣты взяты. Поморы молятся на всѣ четыре стороны, но всего усерднѣе на востокъ.

— „Благословите братья!“ говоритъ кормщикъ.

— „Святые отцы благословляли, за насъ Бога молили, сейчасъ-же отвѣчаютъ три другіе и бросаютъ въ море первый кубасъ „бережникъ“.

Поплавокъ кланяется до самого моря то намъ, то берегу, то просто вдаль, на всѣ четыре стороны, какъ кланялись только что поморы.

— „Смотри, ребята, замѣчай, стоитъ ли кубасъ?“

— „Трубить, трубить!—отвѣчаютъ другіе.

Мы ѣдемъ впередъ, одинъ за другимъ тонуть за нами, крючки съ наживкой и свѣтятся въ глубинѣ зеленымъ свѣтомъ.

Ставимъ еще кубасъ „средникъ“. Подъ конецъ бросаемъ послѣдній „голоменной якорь.“

Ярусъ поставленъ, теперь мы будемъ „лежать на ярусѣ“ шесть часовъ, время отъ начала прилива, до конца отлива. „Вылежимъ воду“ и станемъ тянутъся.

— „Ребята, грѣй чайникъ!—командуетъ кормщикъ, а самъ озабоченно смотреть то на небо, то на берегъ, то на воду.

Я что-то спрашиваю его, но старикъ не слышитъ, или умышленно молчить.

„Вѣтры безпокоятъ“, отвѣчаетъ мнѣ за него юноша весельщикъ.

— „Ну вотъ, господинъ, смотри, говоритъ немного спустя Игнатій, примѣчай, если противъ этой горы съ крестомъ облако наводитъ будетъ, то туманъ поставитъ въ морѣ стѣну. Но ничего... Облако чернѣе, свинки выкидываетъ, это къ горнимъ вѣтрамъ. Ничего... Кормщикъ успокаивается. Какъ ни въ чемъ не бывало, мы начинаемъ пить чай. Какъ разъ и у насъ теперь пьютъ утренній чай. Если-бы ктонибудь,

незнакомый съ тѣмъ, сколько гибнетъ поморовъ каждое дѣло, посмотрѣлъ теперь на насъ, то ему и въ голову бы не пришло, что это такъ опасно. Сидимъ покачиваемся, пьемъ чай и благодушно бесѣдуемъ. Другое дѣло, если увидать такую лодку въ туманѣ, когда послѣ чая поморы лягутъ спать. Подъѣзжая къ Мурману утромъ, я это видѣлъ. Миѣ показали пальцемъ одинокую лодку въ туманѣ и сказали: „вонъ лежать!“ И такъ это было жутко. Мы проѣхали и отъ волнъ парохода лодка закачалась. Никто не шевельнулся, все спали, вылеживали воду. Я долго смотрѣлъ на эту мертвую точку въ туманѣ... Какъ это можно спать... такъ... Жутко... Но теперь мы пьемъ чай совершенно такъ-же, какъ дома, и разговариваемъ о томъ, что если хорошенько молиться Николѣ Угоднику, почаще, поусерднѣй грызть его за бока, то и вѣтры слушаться будутъ и никогда не во время не набѣжить „полоска“ и не перевернетъ шняку.

— „Бываетъ, что помогаютъ угодники“, бесѣдуетъ кормщикъ за чаемъ въ океанѣ, а, бываетъ, согрѣшимъ и море къ себѣ приметъ“.

Игнатій оглядѣлся кругомъ, снялъ шапку, перекрестился:

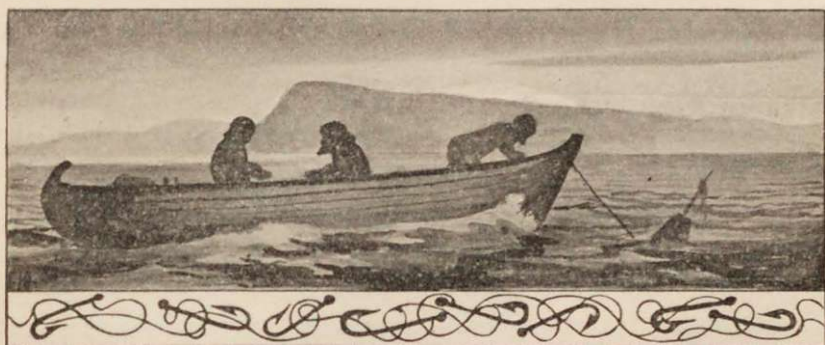
— „Дай, Господи, воду вылежать. Наше дѣло такое. Долголи погибнуть, на водѣ ноги жидки. Налетитъ полоска, стегнетъ волна и некуда дѣться, пропалъ. Но только страшнаго тутъ, господинъ, ничего нѣтъ. На товарища глядѣтъ страшно, а самому хоть бы что. Помнишь, Гаврило, какъ табакъ-то спасъ?“

— „Нескоро забудешь!“ отозвался тяглецъ.

— „Было дѣло. Да и такъ сказать: въ мокромъ выросли, что намъ мокроты бояться. Лежали мы на ярусѣ вотъ съ этимъ Гаврилой, онъ мальчишкой былъ, наживку насаживалъ. Небо ясно, вѣтра не было, вылежали воду мы хорошо, рыбы Богъ далъ много. Вдругъ, откуда не возьмись, набѣжала полоска, стегнуло волной, шняка вверхъ дномъ. Мачта плыветъ, весла плывутъ, ребята въ водѣ, что рыба. Не опа-

дая духомъ, командуя:—Держите весла, держите мачту, лѣзьте на крень!—Они и повылѣзли изъ воды на киль, все единственно, что звѣри морскіе на камень. Сидимъ, качаемся. Скушно. Гаврила и говорить: покурить-бы. Хватились: у кого табакъ за пазухой не отсырѣлъ, у кого спички. Сидимъ, дымокъ вьется, хоть бы что! Тутъ опять откуда не возьмись вѣтеръ, дунуло и опять шляку на мѣсто поставило. Мачту изладили, парусъ поставили и побѣжали.“

— „Табакъ спась!—засмѣялись всѣ.



— „Табакъ! засмѣялся и кормщикъ. Ну довольно. Ложись ребята спать.“

Стали укладываться. Въ носовой и кормовой части шляки есть кузовки „заборницы.“ Туда можно спрятать значительную часть тѣла и укрыться отъ непогоды.

Я устроился на носу съ тяглемомъ, остальные на кормѣ. Не спится. Можетъ быть мнѣ мѣшаетъ спать мысль о томъ случайномъ вѣтрѣ, про который рассказывалъ кормщикъ. вмѣстѣ съ людьми я совершенно не испытываю чувства страха, но мысль о вѣтрѣ мѣшаетъ заснуть, какъ иногда дома слишкомъ близко поставленная къ постели лампа: зацѣпишь какъ нибудь во снѣ и свалишь. Тяглецъ тоже не спитъ, заговариваетъ со мной:

— „Нѣтъ человѣка крѣпше и нѣтъ человѣка слабже“.



И рассказываетъ про кормщика, какъ онъ потерялъ двухъ сыновей:

„Лежали на ярусѣ старикъ, двое сыновей и я. Стегнуло волной, опрокинуло лодку, выбрались на киль. Семь часовъ держались, стало ужъ къ берегу подбивать, саженой сто осталось. Вдругъ младшій крикнулъ: тата, тошно! И какъ ключъ ко дну. Потонулъ. А другой черезъ годъ поѣхалъ въ Норвегію, около Вардэ ему перебѣжка восемьдесятъ верстъ была. Закидало взводнями, утонулъ. Старику не круто сказывали. Помалешеньку. Все думалъ вернется, все вернется. Долго на глядѣнь ходилъ, ждалъ. Потомъ волосы рвалъ на себѣ. А послѣ такимъ законникомъ сдѣлался, первый человѣкъ на всемъ Мурманѣ, и все за молодыхъ стоитъ, а не за старыхъ. Говорить, что молодой человѣкъ лучше, артельнѣе, а старики только себя знаютъ.“

Мы еще что то говорили, не помню, какъ я заснулъ. Разбудилъ голосъ кормщика.

— „Ребята, грѣй чайникъ, тянутся пора!“

Но это предложеніе чая—просто любезность старика, всѣ понимаютъ, что теперь не до того, пора тянутся.

Выбираемъ бичеву, „симку“ до голоменнаго якоря. Пузыри...

— „Ну, ребята, море кипитъ, рыбу сузить! — радуется кормщикъ.“

— „Подходи трещечка, матушка, палтусочекъ, батюшка!“

Глубоко въ океанѣ загораются зеленые огни. Двигутся къ намъ, превращаются въ зеленыя сказочныя птицы, потомъ въ бѣлыя чайки и подъ самый конецъ въ большія серебряныя рыбы.

Тягалець тянеть, весельщикъ подвигаетъ лодку по линіи яруса, наживодчикъ выбираетъ снасть.

Треска, палтусъ, зубатка, треска, треска, треска, больше треска.

— „Треска идетъ, треску вѣдетъ!“ — приговариваетъ кормщикъ.

— „Дай, Господи, носъ да корму, середку полную“, — отвѣчаютъ другіе.

— „Треска идетъ, треску вѣдетъ!“ — повторяетъ старикъ.

— „Пошли, Господи, окупи наши пропой!“ — отвѣчаютъ молодые...

\* \* \*

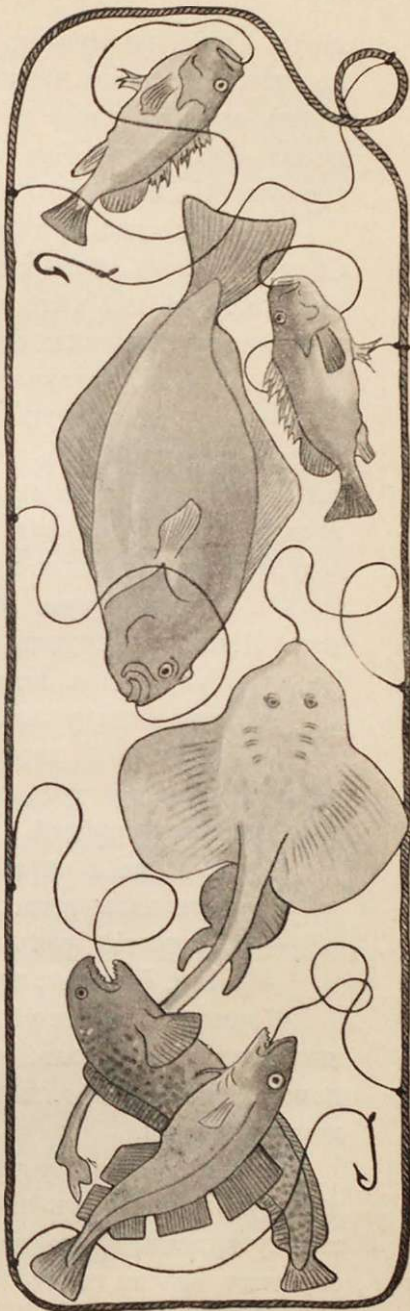
„На небѣ Богъ, на землѣ царь, а на водѣ кормщикъ“, повторяетъ мудрецъ Игнатій въ своемъ стану за чаемъ, довольный хорошимъ промысломъ.

— „Слушаются меня, почитаютъ на водѣ и даетъ Господь. Вотъ на берегу... А меня и на берегу не обижаютъ. Мы по молодости держимъ, имъ, молодымъ-то, что спертый паръ въ котлѣ“.

Игнатій не хвастается, я самъ вижу, какъ молодежь, собравшаяся въ станъ, почтительно относится къ старику — законнику.

— „Вотъ, почитай мнѣ законы!“ — проситъ онъ, подавая мнѣ книгу. Самъ неграмотный, такъ прошу почитать, кто знаетъ“.

Сводъ законовъ Россійской Имперіи. Уложеніе о наказа-



ніяхъ. Сухіе параграфы, не имѣющіе въ сырѣмъ видѣ для простаго смертнаго никакого значенія. Что я могу растолковать старику, когда о каждомъ параграфѣ существуетъ цѣлая библіотека. Что найдетъ тутъ для себя этотъ неграмотный поморъ, этотъ водяной царь.

Апокалипсисъ, куда, куда легче, проще истолковать, чѣмъ Сводъ законовъ. Какъ попалъ этотъ ужасный томъ въ колонию поморовъ, гдѣ нѣтъ начальника, гдѣ два дня тому назадъ я мечталъ здѣсь найти осуществленіе человѣческой свободы.

— „Откуда, зачѣмъ ты досталъ себѣ эту книгу старикъ?“

— „А вотъ послушай! Ты знаешь, я прямой, я ихъ на правду вывожу. Сталъ меня за это народъ въ Поморьѣ почитать. Приходятъ выборы, а они и выбери меня старшиной. А я неграмотный. Что дѣлать? Писаришкѣ не довѣряю, все самъ веду, считаю по памяти. Ну мудрено - ли просчитаться, вышла подъ конецъ нехватка. Меня судить. Меня-то, меня-то судить! И такъ присудили, чтобы отсидѣть время. Зовутъ разъ. Не иду. Зовутъ два. Не иду.“

Старикъ нахмурился. Мнѣ стало неловко, стыдно, противно. Тотъ самый народъ, который за что-то высокое почитаетъ старика, тутъ хочетъ посадить его за нѣсколько просчитанныхъ рублей.

Неужели же и здѣсь на сѣверѣ то-же, что и вездѣ...

Старикъ нахмурился.

— „Въ третій разъ приходитъ урядникъ“.

— „Иди, Игнатій, за мной!“

Кормщикъ поднялся во весь свой гигантскій ростъ, большая волнистая борода, спрятанная раньше, какъ дѣлають поморы отъ вѣтра, подъ куртку, выскочила, разсыпалась по мочкей груди.

На небѣ Богъ, на землѣ царь, на водѣ кормщикъ, промелькнуло у меня въ головѣ. А Игнатій поднялъ вновь кверху кулакъ, будто трезубецъ Нептуна, и со всего маху опустили его на столъ.



— „Не пойду!“ — взревѣлъ водяной царь.

И сѣлъ. Потомъ я замѣтилъ, какъ на грозномъ лицѣ, пока стихала развенѣвшаяся посуда, одна за другой разглаживались морщины старика, видѣлъ, какъ вмѣсто нихъ въ углахъ глазъ появлялись совсѣмъ другія, смѣшливья. Все свѣтлѣе и свѣтлѣе становилось въ избушкѣ.

— „И не пошелъ!“ — засмѣялся старикъ, какъ ребенокъ. Ха - ха - ха! покотились молодые поморы.

„И не пошелъ?“

— „Нѣтъ“ — захохоталъ старикъ.

Всѣ долго смѣялись и, отдохнувъ немного, спрашивали: „и не пошелъ?“ и снова хохотали поморы, кормщикъ и я. Только Сводъ законовъ Россійской Имперіи въ своемъ коричневомъ казенномъ переплетѣ, прищурившись, смотрѣлъ на насъ и тихонько ядовито шепталъ: я вамъ дамъ, я вамъ дамъ!

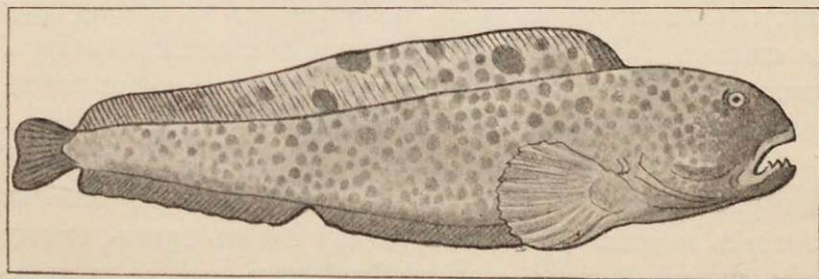
\* \* \*

### Слетуха.

День былъ мутный, непрочный, надъ океаномъ раскинулся полупрозрачный кисейный шатеръ съ окошкомъ вверху.

„Плѣшь горить!“ сказали поморы, указывая на солнце, завтра морянка будетъ. Передъ погодой горить, пылка морянка хватить.“ И не поѣхали.

Морянка—Мурманскій праздникъ, разсуждаетъ Вичурный, и уже съ вечера напиваются и всю ночь стучится ко мнѣ и кричить: мошкара, мошкара!



За ночь море раскачалось, утромъ бунтуетъ. У гляднй поднимаются бѣлые столбы и брызги взлетаютъ до самаго креста. Изъ шума волнъ вырываются крики разгулявшихся поморовъ. Жутко становится мнѣ. И въ простой то деревнѣ, какъ разгуляется народъ, не очень хорошо, а тутъ совсѣмъ другое. Тутъ нѣтъ женщинъ, маленькихъ дѣтей, полей, деревьевъ, ничего ласковаго, нѣжнаго. Трезвому человѣку тутъ и спрятаться некуда: въ горахъ ни одного кустика, злой вѣтеръ...

Я хочу пробраться на гляднѣ, посмотрѣть на бунтующій океанъ, но, не дойдя до креста, отступаю: разбитыя за скалами волны дождемъ перелетаютъ черезъ гляднѣ. Повертываюсь назадъ, но тутъ меня встрѣчаютъ нѣсколько пущенныхъ кѣмъ-то камней. Это зуйки разгулялись, тоже, какъ и большіе, подвыпили и теперь сражаются камнями на гляднѣ, стѣна на стѣну. Спѣшу присѣсть за большой камень.

Зуйки это будущіе поморы, тутъ они проходятъ свою суровую естественную школу. Вырастаютъ, какъ птицы, какъ звѣри.

Бой разгорается, много раненыхъ. Развѣ броситься къ нимъ сразу, крикнуть и остановить? Не рѣшаюсь, потому что не знаю этихъ дѣтей, выросшихъ на Мурманѣ, побаиваюсь. Вдругъ вѣтромъ черезъ гляднѣ бросаетъ къ нимъ красивую птицу, поморника. Укрываясь отъ непогоды, она стремглавъ несется внизъ и садится въ разсѣлинѣ между камнями. Зуйки замѣчаютъ птицу, вражда окончена, всѣ, какъ хищные звѣри, съ камнями въ рукахъ ползутъ, крадутся... Напрасно: улетаешь. Что теперь дѣлать? Секунду смотреть по сторонамъ, а въ другую летать къ самому низу къ станамъ. Тамъ изъ одной избушки, похожей на самоваръ, выскочили два старика и схватились. Одинъ хромой съ костылемъ, другой почти голый. У другой избушки то-же дерутся...

Осторожно пробираюсь домой съ твердой рѣшимостью затвориться на крюкъ и сидѣть день, два, три, пока не стихнетъ морянка. И только успѣлъ надѣть крюкъ, слышу подъ окномъ: слетуха, слетуха! Пробѣжала хозяйка, кричить

не своимъ голосомъ: слетуха! Пронеслась стайка зуйковъ: слетуха! Постучалъ подь окно Звѣробой: „баринъ, выходи посмотрѣть, слетуха!“

Выхожу. Внизу по океану бѣгутъ бѣлыя колеса, разбиваются съ гуломъ о скалы. Несутся камни и брызги, и крики и ругань. Дерется все становище, бунтуется весь океанъ.

Катятся бѣлыя колеса по океану и будто въ каждомъ изъ нихъ сидитъ рожа помора. Добѣжали къ глядню и баць!— все рассыпалось, ничего не понять: сѣти, избушки и бочки, бѣлыя колеса и звѣринныя рожи. Все бѣлое, черное кружится, хлещетъ, и хлещетъ, и хлещетъ...

— „Морянка вотъ и слетуха. Мурманскій праздникъ. Какъ морянка, такъ и слетуха,—говоритъ мнѣ Звѣробой...“

— „Подожди малешенько, остервенѣютъ, мы ихъ опутаемъ сѣтями, водой польемъ и стихнуть.“

— „Бойкая слетуха!“

— „Пылкая морянка!“

Звѣробой весело, хохочетъ.

— „Кровь-то физическая! Сѣмена-то закладены! Задѣлъ старикъ хромого, а хромой-то бойкій, клюкой свиснулъ, онъ въ воду, синяковъ надѣлалъ, фонарей наставилъ.“

— „А урядникъ... что же урядникъ дѣлаетъ?“

— „Стоитъ, смотритъ, какъ и мы. Что же ему дѣлать? Вишь, народъ какой! Поморы! Кровь-то физическая, сѣмена-то закладены... Такіе наши гусаря. Ну и яровитъ хромой, вертится на пять переворотовъ“.

Недалеко отъ насъ замѣшательство. Кто-то упалъ.

Я подхожу. Лежитъ человѣкъ, лицомъ къ землѣ.

— „Что это?“

— „Вишь растелился.“

— „Какъ... что...“

— „Кончился, кровь горломъ пошла.“



Улеглась морянка, стихла слетуха. Какъ малыя ребята утромъ пошли другъ къ другу, кто за шапкой, кто за поясомъ, кто за чѣмъ. Вичурный, весь избитый, дрожащей рукой составляетъ Мурманскаго ерша. Входятъ три огромныхъ помора, выпиваютъ, хмѣлѣютъ, зовутъ Вичурнаго ѣхать на лодкѣ вокругъ глядя на песокъ.

— „Проваливайте къ черту мошкара!“

Гиганты садятся въ лодку, выѣзжаютъ изъ бухты. Вѣтеръ стихъ, но взводни еще не улеглись. Лодку догоняютъ бѣлые гребешки.

— „Пропадутъ!“—говорить мнѣ спокойно хозяинъ.

Мнѣ кажется, онъ хочетъ сказать другое.

— „Не пропадутъ?“—поправляю я.

— „Пропадутъ. Сейчасъ пропадутъ, потому что взводень разсыпается. Трезвый всегда убѣжитъ отъ взводня, а пьяный нѣтъ. Пропадутъ.“

Бѣлый взводень разсыпается надъ лодкой.

— „Конецъ?“

— „Нѣтъ, изъ этого выйдутъ, вонъ тѣмъ закроеть!“

— „Вотъ!“

.....

— „Шабашъ!“

— „Лодки! Спасать! кричу я. Люди потонули!“

— „Кого же спасать? спокойно говорятъ мнѣ. Видишь, ничего нѣту, ни лодки, ни людей. Окіянь не лужа“.

Я бѣгу къ кучкѣ людей у берега. Вѣрно тамъ хотятъ помочь. Но слышу спокойный разговоръ:

— „Край вѣтра шли“.

— „Вода тихая, взводень слабый. Пьянь безъ ума, честь такова!“

— „Наказаль Богъ!“

— „Богъ... ахъ ты! Можетъ имъ такая смерть уписана“.

— „Самъ отъ себѣ...“

— „Своя ошибка, не хлябай.“

Постояли и разошлись. Становище смолкаетъ, всё уходитъ на песокъ. Послѣднія бѣлыя колеса изрѣдка подбѣгаютъ къ скалѣ. Еще немного и океанъ уляжется, заснетъ, застекленѣетъ. Но вѣдь это были сейчасъ тамъ люди, не бѣлыя колеса. Ну хоть бы въ колокола позвонили, панихиду отслужили.

И плакать тутъ некому: женщинъ нѣтъ, нѣтъ маленькихъ плачущихъ дѣтей. И такъ тяжела кажется эта ужасная мужская жизнь безъ плача.

Урядникъ плетется въ почтовую контору.

— „Сейчасъ три помора утонули!“

— „Знаю, знаю, бѣгу телеграммку дать въ Поморье“.

Вотъ и поплачутъ. Этой телеграммы тамъ со дня на день тревожно ожидаютъ женки. Я проѣзжалъ по этимъ большимъ, молчаливымъ въ лѣтнее время селамъ. Меня поразила тогда ихъ скрытая жизнь. Чисто убранные дома съ цвѣтами на окнахъ будто съ часу на часъ ждуть чего-то страшнаго. Помню маленькихъ дѣтей съ корабликомъ у воды. Спрашиваю: „гдѣ твой папа?“— „Тата утонулъ.“— „А мама что дѣлаетъ?“— „Ничто. Плачетъ по татѣ“. Я иду къ женщинѣ, спрашиваю о жизни. И вотъ убивается, вотъ вопить:

— „Тошно, жалко. Судьба-то шепчетъ: поди-поди. Тошнѣе жальче, кто потонетъ. Лекше, много лекше, какъ на лавкѣ помретъ“.

Едва-едва успокоилась женщина, вытерла слезы и стала себя утѣшать: — „морскіе покойники передъ Господомъ праведнѣе.“

-- „Почему-же морскіе?..“

— „А лежатъ они тамъ напрасно и косточки ихъ бьетъ и моетъ...“

И опять залилась женщина, и такъ я не узналъ тогда, почему морскіе покойники праведнѣй. Теперь я понимаю: нѣтъ похороннаго сочувствія людскаго, но за-то больше одинокихъ женскихъ слезъ.

Идетъ Игнатій на песокъ.

— „Слышалъ?“

— „Что?“

— „Поморы утонули.“

— „Такъ что-же, у насъ это часто. У насъ по покойникамъ не плачутъ.“

\* \* \*

### Къ варягамъ.

Наконецъ-то я своими глазами видѣлъ, что солнце сѣло. Я вышелъ на глядѣнь, ожидая парохода, который повезетъ меня въ Норвегію и, какъ разъ, когда я достигъ вершины горы, креста, солнце спустилось въ океанъ. На другомъ глядѣ въ уступахъ скаль сталъ сгущаться полумракъ и въ немъ одинъ за другимъ исчезать лиловые колокольчики. Большая бѣлая птица безшумно сѣла на черный уступъ, другая, третья, одна къ одной, одна къ одной и вотъ уже длинный бѣлый рядъ спокойно смотритъ на горящій пламенемъ океанъ.

На одинъ глядѣнь слетаются бѣлыя птицы, на другой сходятся черные люди. Съ камешка на камешекъ, все навверхъ, ближе къ кресту, откуда видишь, шире просторъ океана.

Погружаясь въ полумракъ и дрему вмѣстѣ съ птицами и лиловыми колокольчиками можно о всемъ мечтать тутъ у океана: о вѣчевомъ колоколѣ, о новгородской вольницѣ...

Я не очень радъ, что ко мнѣ подошелъ Звѣробой и молча усѣлся возлѣ. Знаю, что онъ хочетъ завести какой-то умнѣйшій разговоръ. То-же и другіе мои пріятели: Игнатій и Фаустъ. Я уже пережилъ Мурманъ, мечтаю о Норвегіи, о возвращеніи къ своимъ привычкамъ, занятіямъ... И такъ это тягостно сознавать, что непременно нужно вести умную бесѣду.

— „Ну... говорю я, наконецъ, Фаусту, о чемъ ты думаешь?“

„О всемъ помаленечку—радъ онъ начать—о томъ, о семъ. Все вотъ вертится, да кружится...“



— „А все на своемъ мѣстѣ—доканчиваю я за него его любимую мысль.

— „Все стоитъ! подхватываетъ онъ, и, подумавъ немного, говоритъ:

— „Вотъ вы ученые...

— „Ну...

— „А не можете, чтобы молодымъ сдѣлать?“

— „Нѣтъ!“

— „Вотъ...“

Мы немного молчимъ. Я чувствую, какъ у Фауста кружатся въ головѣ отрывки воспоминаній, недоконченныя мысли, какъ онѣ плывутъ, крутятся, перевертываются на изнанку и, сдѣлавъ оборотъ, опять начинаютъ все по старому, опять все стоитъ на своемъ мѣстѣ. Фаустъ сильно помятый жизнью человѣкъ. Звѣробой, полная ему противоположность. Ему лѣтъ шестедесятъ, а на видъ сорокъ.

— „Вотъ-бы, говорю я, мнѣ такимъ быть въ твои годы.“ Онъ изумляется.

— „Ты лучше будешь. Вы не работаете“.

— „Какъ не работаю!“

— „Такъ... Отъ работы люди старѣютъ, а вамъ что. Вы не работаете“.

— „Какъ не работаю! Весь день работаю. Всегда работаю!“ Звѣробой улыбается. А я горячусь, хочу почему-то во что бы ни стало доказать ему, что и я работаю...

— „Я головой работаю“.

— „Голово-во-ой! протягиваетъ онъ. Такъ какая же это работа. Это хитрость“.

Тысячи разъ я наталкивался на эту стѣну непониманія народомъ интеллигентнаго труда. Но никогда мнѣ не хотѣлось вступаться за него такъ, какъ теперь.

— „Голово-ой..., продолжаетъ поморъ, мало-ли что я головой могу выдумать. Стяжной ты человѣкъ, хитрый и могущественный, вотъ и все. Ты поработалъ бы у насъ на шнякъ“

Въ другое время, при другихъ условіяхъ, я можетъ быть и смутился бы отъ этого аргумента. Но здѣсь... Я только что мечталъ о томъ, какъ я попрошу у капитана газетку и утолю свой волчій аппетитъ. Работа на шнякѣ меня не очень соблазняетъ и потому, что я не очень доволенъ всей этой компаніей поморовъ. Всѣхъ ихъ томить теперь въ ожиданіи парохода тоска по водкѣ. Какъ только онъ придетъ, появится вино, начнется пьянство, слетуха. Я теперь хорошо понимаю

этотъ Мурманскій заколдованный кругъ. Пока ловится наживка и дуетъ легкій горный вѣтеръ, идетъ рискованная, почти героическая работа. Какъ только перестала ловиться наживка или подуетъ морянка, такъ начинается тоскливое ожиданіе парохода съ виномъ, пропиваніе всего заработаннаго и слетуха. Въ резуль-

татѣ „все стоитъ на своемъ мѣстѣ.“ Русскіе поморы промысляютъ рыбу на такихъ судахъ, которыхъ уже не помнятъ въ Норвегій, гдѣ суда совершенствуются постоянно, гдѣ поморы

защищены отъ случайностей. Я слышалъ уже не разъ, что норвежцы съ хохотомъ встрѣчаютъ русскаго помора на томъ суднѣ, которое они давно забыли и которое въ Норвегій можно встрѣтить только въ музеѣ... Нѣтъ, я не хочу работать на русской шнякѣ, не признаю ее и возмущаюсь.

— „Хитрость!— говорю я Звѣробою. Но если я о вашихъ порядкахъ, о томъ, что васъ тутъ оставляютъ безъ всякой защиты, не помогаютъ вамъ, напишу книжку и вамъ помогутъ устроиться, какъ въ Норвегій... Развѣ это хитрость, а не трудъ?“



— „Напиши, напиши,“ просить онъ, „дѣло хорошее.“ —

А самъ думаетъ по своему. Самъ не можетъ понять, какъ за однѣ голыя мысли можно получать деньги. Вѣдь и онъ тутъ думаетъ постоянно, всякое его дѣйствіе сопровождается мыслью, но платятъ ему за треску, въ которой соединились и его „хитрость“ и физическій трудъ...

Мы вѣроятно много бы интереснаго вынесли для себя, если бы могли развить дальше нашу тему.

Но источникъ нашего общенія — искренность—прекратились. Поморъ молчитъ и въ глубинѣ души считаетъ меня ловкимъ пройдохой, а я его „типомъ.“ Наши личные пути разошлись и я готовъ разстаться со всѣми геніальными мыслями Толстого, Рескина и Руссо лишь бы отстоять удѣленный мнѣ уголокъ умственного труда...

Тутъ вскорѣ зукъ, усѣвшійся на самомъ высококомъ камнѣ у креста, закричалъ:

— „Дымъ!“

— „Пароходъ, дымъ! загудѣли поморы, двѣ бѣлыя птицы сорвались и закружились съ крикомъ надъ нами.

Еще два-три часа и этотъ пароходъ повезетъ меня въ Норвегію, въ страну, гдѣ нѣтъ уже неграмотныхъ поморовъ, гдѣ уже давно не говорятъ о томъ, что сейчасъ говорили, гдѣ моя „хитрость“ встрѣтитъ признаніе не только въ людяхъ, но и въ безчисленныхъ одушевленныхъ ими вещахъ. Тамъ живутъ тѣ самые варяги, о которыхъ сложился такой извѣстный и горькій намъ анекдотъ: придите, княжите...

Дымъ парохода все ближе и ближе, показывается труба, корпусъ.

Свистокъ перебѣгаетъ отъ горы къ горѣ, будить птицъ. Онѣ взлетаютъ бѣлымъ облакомъ надъ чернымъ Мурманомъ, похожимъ на окаменѣлаго слона. Люди то-же расходятся, спѣшатъ къ лодкамъ одинъ за другимъ. Опять, какъ и въ самомъ началѣ, я кладу свои вещи въ первую попавшуюся



мнѣ шняку, по чемадану шагають, опираются на меня, перепрыгивая съ лодки на лодку, и приговариваютъ:

— „Сиди, сиди, сѣлъ и сиди.“

Вичурный напивается уже во время стоянки и вотъ послѣднія слова, которыя я слышу, уѣзжая къ варягамъ:

— „Меня въ Анбургѣ знаютъ. Мошка р-р-ра“!



## Глава VI.

### У варяговъ.

**24 Июня  
Кильдинскій  
король.**

Кончена дикая жизнь . . . Ружье, удочка, охотничьи сапоги, котелокъ и чайникъ упакованы и отправлены домой. Я въ одеждѣ культурнаго человѣка и готовъ покаяться передъ Европой въ измѣнѣ ей на цѣлыхъ три мѣсяца. Всѣ мои помыслы обращены теперь къ Норвегіи. Я почти ничего не знаю объ этой странѣ положительнаго: общія скудныя историческія свѣдѣнія, долетѣвшіе черезъ газеты отдѣльные факты безъ сознательнаго къ нимъ отношенія. . . Но у русскихъ есть какая-то внутренняя интимная связь съ этой страной. Быть можетъ это отъ литературы, такъ близкой намъ, почти родной. Но быть можетъ и отъ того, что европейскую культуру такъ не обидно принять изъ рукъ стихійнаго борца за нее, норвежца. Что-то есть такое, почему Норвегія намъ дорога и почему можно найти для нея уголокъ въ сердцѣ, помимо разсудка. То же, но иными словами, мнѣ много говорили о ней русскіе поморы. На судахъ наши русскіе моряки встрѣчаются и съ англичанами, и съ нѣмцами, но всегда отдають предпочтеніе норвежцамъ: самый лучшій народъ норвежцы, слышалъ я сотни разъ.

Я начинаю свои наблюденія еще у Мурманскаго берега, разглядываю эту толпу на пароходѣ, завожу знакомства. Тутъ есть норвежцы съ благородными германскими лицами,

есть нѣсколько зырянъ—великановъ въ самоѣдскихъ костюмахъ, красивыхъ, но плутоватыхъ, есть русскіе поморы и смѣсь изъ финскихъ племенъ, лопарей, финновъ, кореловъ, всѣхъ этихъ прозябающихъ на крайнемъ сѣверѣ, некрасивыхъ племенъ; многіе изъ финляндцевъ и лопарей совсѣмъ маленькіе, квадратные, съ крючковатыми носами, на низкихъ кривыхъ ногахъ. Во всей этой этнографической смѣси даже красивый національный типъ обезцвѣчивается, для него нѣтъ фона.

Ни Россія, ни Норвегія...

„Чушь!“ (чудь) опредѣляетъ однимъ словомъ мой знакомый поморъ этотъ этнографическій винегретъ.

Пароходъ переходитъ изъ одного становища въ другое, нагружается, трещитъ лебедкой и, наконецъ, подходит къ интересному острову Кильдинъ.

Это не далеко отъ Кольской губы Мурманскаго берега. Онъ возвышается надъ океаномъ, какъ основаніе громадной кѣмъ-то начатой пирамиды. Я еще въ Лапландіи слышалъ про этотъ замѣчательный островъ. Лопаримѣ рассказывали, будто злая вѣдьма, разсердившись на жителей Колы, хотѣла запереть ихъ въ Кольской губѣ и вытащила островъ изъ океана на веревкѣ. Она подтянула его почти къ самой губѣ, но кто-то увидѣлъ ея злую цѣль, крикнулъ, веревка оборвалась, колдунья окаменѣла и островъ остановился въ океанѣ.

На островѣ не видно деревьевъ, кустарниковъ, даже травы. Только на южномъ склонѣ, тамъ, гдѣ проходитъ нашъ пароходъ, виднѣтся прозелень. Тутъ на берегу я еще издали замѣчаю скоть, коровъ, овецъ, прочныя новыя постройки, на водѣ красивые листерботы и моторныя лодки.

— „Кильдинскій король!“ — говоритъ намъ капитанъ и останавливаетъ пароходъ, чтобы передать туда почту, принять грузъ.

Всѣ путешественники съ любопытствомъ смотрятъ на эту одинокую колонію норвежца на громадномъ пустынномъ



полярномъ островѣ. Всѣхъ поражаетъ это благоустройство, всѣ ожидаютъ, когда появится на пароходѣ этотъ колонистъ норвержець, прозванный Кильдинскимъ королемъ. Но изъ всѣхъ этихъ путешественниковъ въ настоящую минуту, вѣроятно, только я одинъ понимаю и оцѣниваю вполне значеніе этой колоніи на крайнемъ сѣверѣ.

Нужно вотъ такъ, какъ я, поскитаться то пѣшкомъ, то на лодкѣ мѣсяца три по сѣверу, чтобы понять это. Я пріучилъ уже себя къ чувству состраданія къ людямъ крайняго сѣвера. Я привыкъ думать, что люди здѣсь, какъ эти несчастныя деревья, мало-по-малу должны сойти на нѣтъ, что красное полуночное солнце—лампада у гроба умершей природы.

Теперь я смотрю на колонію Кильдинскаго короля и думаю, что для человѣка этой естественной границы нѣтъ, что онъ можетъ жить и за гранью, что онъ человѣкъ, онъ выше природы.

Лѣтъ тридцать тому назадъ, рассказываютъ намъ, сюда прибылъ изъ Норвегіи колонистъ съ большой семьей малолѣтнихъ дѣтей и поселился на этомъ островѣ. У него не было никакихъ средствъ для жизни, такъ что въ началѣ онъ сталъ промышлять рыбу на обыкновенной русской шнякѣ, но передѣлавъ ее такъ, чтобы можно было бѣжать противъ вѣтра; для этого ему нужно было только измѣнить киль и устроить косые паруса. Благодаря этому, въ случаѣ шторма, вѣтра съ берега, онъ могъ возвращаться домой. Жилъ сначала въ каютѣ отъ старой ёлы, но скоро изъ прибитыхъ моремъ къ острову деревьевъ (плавуна) устроилъ домъ. Итакъ изъ года въ годъ сталъ жить лучше и лучше, промышляя то рыбу, то морскихъ звѣрей. Дѣти—пять сыновей и шесть дочерей—выросли такими-же здоровяками, какъ отецъ, и промыселъ, конечно, сталъ во много разъ успѣшнѣе. Къ концу жизни старика образовалась на островѣ Кильдинъ цѣлая колонія съ листерботами и мотгорными лодками.

Простая несложная исторія. Но сколько въ ней внутренней силы. Хорошо бы посмотреть поближе, взглянуть въ

быть, всмотрѣться во внутренній механизмъ, узнать почему у насъ при всемъ этомъ геройскомъ плаваніи на льдинахъ по океану на килѣ лодокъ въ общемъ не остается какъ-то соотвѣтственное этой стихійной жизни чувство уваженія къ человѣку.

— „Какъ они тамъ живутъ внутри этихъ домовъ?“ — спрашиваю я знакомаго русскаго помора.

— „Хорошо живутъ!“ отвѣчаетъ онъ. „На морѣ онъ спокоенъ, потому что на боту у него палуба, каминчикъ, всегда онъ на морѣ, всегда онъ при домѣ. Прибѣжить къ берегу и тамъ хорошо: на окнахъ занавѣски вязанья, и стулъ съ накидочкой, бездѣлушечки на столѣ, альбомъ, по стѣнамъ зеркала, стулья вѣнскія, хоть и не вѣнскія, а въ родѣ вѣнскихъ, музыкальный ящикъ въ пятьсотъ рублей. Живутъ и жить собираются.“

Нужно быть на крайнемъ сѣверѣ, чтобы понять, какъ звучать эти „занавѣсочки“ и „вѣнскія стулья“. Все это не обстановка мѣщанскаго существованія, а символы мужества, силы, терпѣнія...

Я всякими способами стараюсь возбудить чувство національнаго самолюбія у помора. Но у него этого нѣтъ. Все что въ Норвегіи—хорошо, что въ Россіи плохо.

— „Да какъ же такъ?—говорю я наконецъ, положимъ вездѣ плохо, но у васъ то въ Поморьѣ тоже не дурно и тоже занавѣсочки есть и цвѣты на окнахъ и женки хозяйственныя, сарафанчики гарусныя, юбки новыя, башмаки...“

Нѣтъ ничего слаще для помора, какъ похвалить его жену.

— „По двѣ прислуги держать! подхватываетъ онъ. Только и знаютъ, что самоваръ грѣютъ. Пьютъ чай съ ситникомъ.“

— „Такъ вотъ... какъ же такъ?“

— „А мы, господинъ, не отъ Россіи дышимъ. Женки съ нами первый годъ тоже на судахъ въ Норвегу ходятъ, приглядываются. Одна по одной, одна по одной, да такъ и за-

вели хозяйство. А посмотри подалше отъ насъ: баба, что чурка. Въ Норвегii только и обучаемся, посмотримъ на правду, да на порядки, на вѣяливость. Вотъ хоть бы команду взять. Пришелъ въ Норвегу, якорь бросилъ, всё какъ шелковые: пьяныхъ нѣтъ, порядокъ, спать во время, ѣдятъ во время. Приѣхалъ въ Архангельскъ, опять свое. Мы, господинъ, не отъ Россii дышимъ.“

Поморовъ принято въ нашихъ учебникахъ называть цвѣтомъ русской національности, гордостью страны. И вотъ, въ который ужъ разъ я слышу это признанiе...

— „Ты думаешь онъ тутъ одинъ!“— продолжаетъ поморъ, показывая мнѣ рукой на жилище Кильдинскаго короля. „Тутъ ихъ въ одномъ тысячи, несмѣтныя тысячи тысячъ.“

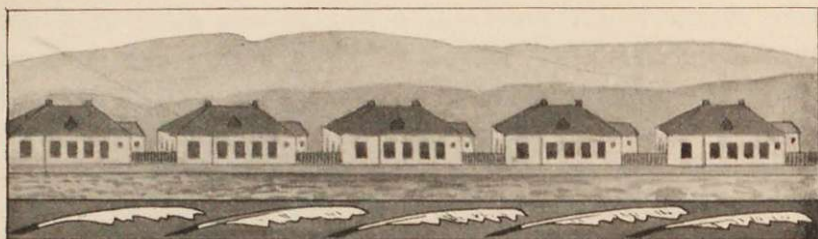
Мнѣ это показалось парадоксомъ и не сразу я понялъ смыслъ его словъ; но онъ такой: за Кильдинскимъ королемъ культурная страна, тысячи такихъ же, воспитавшихся въ гражданской свободѣ, тяжкомъ трудѣ въ горахъ, такихъ же одинокихъ, но невидимо связанныхъ между собою королей. Вотъ что стоитъ за Кильдинскимъ королемъ и такъ я понималъ потомъ помора.

Пока мы разговариваемъ, съ Кильдинскаго острова подъѣзжаетъ лодка; въ ней загорѣлый великанъ съ голубыми глазами, много боченковъ. Онъ сдаетъ грузъ, принимаетъ почту и уѣзжаетъ въ свое каменное царство.

Отъ того, какъ онъ уложилъ свои газеты и письма, какъ онъ поклонился капитану и намъ, какъ взялся за весла, вѣтъ той неуловимой культурностью, вѣтъ тѣмъ изысканнымъ наслѣдiемъ вѣковъ, которое охватываетъ насъ русскихъ при вѣздѣ за границу и возбуждаетъ въ насъ то благоговѣнiе, то рабскую подражательность, то восторгъ, то зависть, то грубое самохвальство.

У насъ съ поморомъ одно чувство: страна, въ которую мы ѣдемъ, хорошая. Я вижу, какъ стѣсняетъ, какъ ужасно





не идетъ къ нему крахмальный воротникъ и весь этотъ праздничный костюмъ. Но нужно подчиниться культурѣ... И поморъ терпѣть.

\* \* \*

### Александровскъ.

Отъ Кильдинскаго острова рукой подать до гавани, гдѣ между скалистыми островами спрятался устроенный недавно городъ Александровскъ. Съ берега его не видно и можетъ быть я не пошелъ-бы туда въ горы смотрѣть на чиновничій городокъ. Но мнѣ нужно побывать у парикмахера: за три мѣсяца я сталъ ходить на тѣхъ волосатыхъ костромскихъ людей, которыхъ показывали въ Европѣ за деньги.

И что же я увидѣлъ! Правильныя линіи совершенно одинаковыхъ двухъэтажныхъ деревянныхъ домиковъ. Больше ничего. Кругомъ скалы, видно лишь небо. Тутъ живутъ исключительно чиновники, все это казенныя квартиры. Известно, что этотъ городъ выстроенъ буквально по предписанію начальства.

— „Но развѣ они всѣ одинаковаго чина?—спрашиваю я, почему дома одинаковые?“

— „Чинъ разный, отвѣчаютъ мнѣ, кто повыше занимаетъ весь домъ, кто пониже половину, еще пониже четверть и такъ дальше.“

Этотъ „городъ“ устроенъ для основанія незамерзающаго порта, но по слухамъ гавань оказалась неудобной для стоянки судовъ.

Всѣ тутъ сердятся на этотъ городъ, всѣ говорятъ, что онъ совсѣмъ не нуженъ и что его вотъ, вотъ уничтожатъ.

Я стою посрединѣ города, смотрю на это свѣтлое отверстіе изъ горъ въ небо и мнѣ хочется воскликнуть:

— „Господи! Изъ за десяти праведниковъ ты щадилъ города. Пощади ты этихъ несчастныхъ людей. Они невинны.“

Пока я такъ молюсь, изъ одного домика выходитъ молодой человѣкъ въ бѣломъ кителѣ съ тростью, съ нимъ барышня съ изящной плетеной корзинкой въ рукѣ.

Неужели же и здѣсь романъ?

Я иду за ними...

Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, мы подходимъ къ маленькому пруду, поросшему вокругъ зеленью, за прудомъ горы поднимаются вверхъ, идти не куда. Молодой человѣкъ нагибается и что-то опускаетъ барышнѣ въ корзину. Приглядываюсь: морошка. Собираютъ ягоды. Немного спустятся они возвращаются обратно и изъ открытаго окна я слышу звуки грамофона.

Мнѣ остается только искать парикмахера. Вывѣски нѣтъ. Это вѣроятно штатная должность. Парикмахеръ, навѣрно, по чину занимаетъ лишь одну десятую казеннаго домика. Какъ найти?

Стоитъ городской съ ружьемъ, настоящій городской, охраняетъ ссудо-сберегательную кассу.

— „Гдѣ тутъ парикмахеръ?“

— „Чего?“

— „Цырульникъ?“

— „У насъ нѣтъ.“

— „Какъ же чиновники стрегутся?“

— „Они не стригутся.“

И улыбается во весь ротъ. Я спрашиваю еще одного солдата.

Тоже самое. И такъ я уѣхалъ въ Норвегію съ длиннѣйшими волосами и до сихъ поръ мнѣ остается тайной, какъ стригутся чиновники въ Александровскѣ.

\* \*  
\*

**26 Июля**  
**Вардэ.**

Возлѣ одной изъ послѣднихъ русскихъ остановокъ передъ Норвегіей поморъ Петръ Петровичъ, общій любимецъ пароходной публики, опускаетъ въ воду на веревкѣ довольно большой металлическій крюкъ и начинаетъ имъ дергать въ водѣ. Черезъ нѣсколько минутъ, къ удивленію многихъ пассажировъ, онъ вытаскиваетъ за бокъ треску.

— „Бульшая рыба, хурошая,“ — говоритъ онъ, и снова опускаетъ крюкъ и снова вытаскиваетъ за глазъ, потомъ за спину. Горячится, волнуется и все повторяетъ свое: „бульшая, хурошая треска.“

— „Петръ Петровичъ озвѣрѣлъ,“ воскликнулъ наконецъ одинъ гимназистъ.

— „Озвѣрѣлъ, озвѣрѣлъ, озвѣрѣлъ!“ подхватываемъ мы.

А онъ все таскаетъ и таскаетъ изъ воды рыбу и все бормочетъ: „бууульшая... край непочатный, самый лучший край.“

Пока пароходъ стоитъ, у Петра Петровича набирается цѣлая корзина трески. Потомъ заказывается уха и подъ предѣдательствомъ помора всѣ мы ѣдимъ знаменитую тресковую уху съ максой (печенью).

Такъ незамѣтно, весло мы совершаемъ довольно скучный переѣздъ и въѣзжаемъ въ царство трески въ предѣлы Сѣверной Норвегіи. Городъ Вардэ — благоустроенный рыбацкій поселокъ. Сотни всякихъ судовъ, амбары, деревянные дома. Городъ рыбаковъ.

На пристани насъ встрѣчаетъ интересная арка, устроенная для только что побывавшаго здѣсь норвежскаго короля. Главные столбы ея составлены изъ сельдяныхъ бочекъ, верхъ —



ела (ботъ) въ полной оснасткѣ, сверху и по бокамъ гирляндами спускаются рыбацьи невода съ запутавшимися въ нихъ головами трески; изъ сухой трески составлены различныя украшенія, а также и надписи; вверху по угламъ выглядываютъ головы моржей, а въ серединѣ, запутавшаяся въ неводъ морская свинка.

Петръ Петровичъ только что былъ въ Норвегiи, видѣлъ короля и въ восторгѣ отъ него. Онъ имѣлъ даже честь вмѣстѣ съ нимъ обѣдать, и это удовольствiе обошлось ему всего десять кронъ—стоимость обѣда. Всякій желающій могъ за эти деньги пообѣдать съ королемъ.

— „Онъ прост-ой...“ повѣствуетъ намъ поморъ. „Прiѣхаль, прошелъ подъ этой аркой, смѣется, бѣгаетъ. Тонкій... не усѣлъ брюхо наѣсть... а кругомъ стоять съ брюшками... Приставъ, мой знакомый, сигару курить. Брось, говорю, король! Смѣется, не бросаетъ. Такъ что-же, говоритъ, король, я ему представляться не буду.“

— „Вотъ они какой народъ.“

Петръ Петровичъ, полнымъ значенiя жестомъ указалъ на толпу рыбаковъ, дѣловитыхъ, серьезныхъ людей, чѣмъ-то занятыхъ у пристани.

— „Вотъ они какiе! продолжаетъ поморъ. А я подошелъ поближе къ королю, снялъ шапку и говорю:

— „Здравствуйте, Ваше Императорское Величество!“

— „Здравствуй!“ говоритъ мнѣ, и то же снялъ шапку.“

— „Это невозможно, говорю я Петру Петровичу, король не говоритъ же по русски!“

— „Какъ не говорить!“ изумляется онъ. Король! Король на всѣхъ языкахъ говорить.“

Черезъ нѣсколько минутъ лодка доставляетъ насъ на берегъ, мы съ Петромъ Петровичемъ проходимъ подъ королевской аркой и вступаемъ на землю Норвегiи.

Теперь не время промысловъ. И того ужаснаго запаха трески, о которомъ всегда говорятъ, нѣтъ совершенно. На



улицѣ чисто, видно, что кто-то прибираетъ, заботится. Дома, словно картонные, такіе легкіе, прямо изъ деревянныхъ досокъ. Просто не вѣрится, что за полярнымъ кругомъ можно жить въ такихъ домахъ.

Норвежцы съ усмѣшкой говорятъ про Вардэ, что это глушь, что тутъ смотрѣть нечего. Но мнѣ здѣсь все ново и интересно. На эти двухъэтажные деревянные дома съ высокими крышами, на эти безчисленныя маленькія кафэ съ особой приморской жизнью, на этихъ дѣвушекъ съ синими глазами и рослыхъ поморовъ, на все это я смотрю такъ какъ провинціалъ смотритъ на заѣзжаго джентельмена: совсѣмъ не какъ у насъ живутъ тамъ, откуда пріѣхалъ этотъ господинъ. Ощущеніе цѣльнаго быта страны, вотъ что волнуетъ меня.

Я бывалъ не разъ за границей, знаю это ощущеніе, но никогда я не испытывалъ его такъ сильно, какъ теперь. Нигдѣ вѣроятно и нѣтъ такого рѣзкаго перехода отъ случайнаго въ жизни людей къ чему-то общему, гармонично связанному.

Нѣтъ ничего болѣе контрастнаго, какъ мурманская жизнь поморовъ и норвежскихъ рыбаковъ, города Александровска и Вардэ. Меня встрѣчаетъ исторія людей и на время всѣ эти замѣченные назади люди, сцены изъ ихъ жизни, все это сливается съ однимъ общимъ сознаниемъ преодоленія чего-

то одного большого и труднаго назади: не то океана, не то этого чернаго мурманскаго берега, похожаго на стараго окаменѣлаго слона. Тамъ стихія, здѣсь исторія. Это чувство входитъ въ меня вмѣстѣ съ морскимъ воздухомъ этого городка.

Мнѣ некогда разбираться въ нахлынувшихъ на меня впечатлѣнїяхъ, я боюсь отстать отъ Петра Петровича. Безъ него я пропалъ: я не знаю ни норвежскаго языка, ни англійскаго, а по нѣмецки и по французски, вѣроятно, здѣсь не поймутъ.

Подходимъ къ одному домику. Поморъ что-то бормочеть дѣвушка на какомъ-то странномъ языкѣ, въ которомъ я узнаю русскія, нѣмецкія и англійскія слова. Это особый русско-норвежскій воляюкъ, называемый здѣсь попросту: „моя по твоя“. Дѣвушка ведетъ насъ наверхъ въ маленькую комнату съ двумя койками, гдѣ мы и устраниваемся, и, прїодѣвшись, спускаемся внизъ къ завтраку. Это не настоящая гостиница. Такъ живутъ здѣсь всѣ люди средней зажиточности. Въ столовой, которая служитъ и гостиной, и заломъ, и кабинетомъ висятъ по стѣнамъ ружья и пистолеты, картины, норвежскихъ фіордовъ, на окнахъ, какъ у всѣхъ сѣверныхъ людей, множество цвѣтовъ. Поразительная чистота.

„Чистота!“ шепчетъ мнѣ Петръ Петровичъ. Къ нимъ войдешь, такъ страшно, плюнуть некуда,—думаешь, баринъ или чиновникъ, а такой-же братъ промышленникъ, на койкѣ бѣлье постелять, такъ лечь боишься.“

Входятъ двѣ молодыя женщины, усаживаютъ насъ, ставятъ на столъ кувшинъ съ молокомъ, вазу съ морошкой, темный сыръ, похожій на шеколадъ, хлѣбъ въ видѣ тонкихъ ломтиковъ изъ хлопчатой бумаги, и уходятъ за кушаньемъ.

„Видѣлъ?—шепчетъ Петръ Петровичъ. Понялъ, какая горничная, какая хозяйка? И не поймешь, и въ кухню пойдешь, не поймешь, работаютъ вмѣстѣ, живутъ одинаково, ѣдятъ одинаково“.



Въ ожиданіи супа мы стараемся перевести надпись на скатерти и съ большимъ трудомъ разгадываемъ: „будемъ наследовать отъ родителей дома и имѣнія, но хорошую жену посылаетъ Господь“.

— „Vaer saa god!“ говоритъ намъ хозяйка, подавъ двѣ тарелки супа.

— „Vaer saa god“, повторяетъ она, предлагая хлѣбъ, салфетки.

Слово звучитъ совсѣмъ какъ русское „прошу“. Поморъ такъ и думаетъ, что это она говоритъ по русски.

„Услыхала словечко, заладила и такъ весь обѣдъ будетъ приставать: прошу, да прошу“.

Петръ Петровичъ въ крахмальномъ воротникѣ, приличенъ, скромень, осторожно вытираетъ чистой салфеткой усы, я вижу, какъ онъ учится, шлифуется.

Къ второму блюду является хозяинъ, высокій германецъ съ синими морскими глазами. Вѣрно усталъ на работѣ, бросаетъ шапку на стулъ, привѣтствуетъ насъ и начинаетъ молчаливо поѣдать хлѣбъ въ ожиданіи супа.

Въ это время дверь сосѣдней комнаты чуть-чуть приотворяется и оттуда выглядываютъ двѣ маленькія головки съ тѣми-же синими, какъ и у великана, глазами.

Суровое лицо преобразуется. Онъ бросаетъ на насъ немногое застѣнчивый взглядъ, встаетъ, идетъ къ дѣтямъ и плотно закрываетъ за собой дверь. Очевидно забавляется въ ожиданіи супа.

Какъ-то не по нашему. Петръ Петровичъ недоволенъ:

— „Заперся... боится, что мы его дѣтей сглазимъ“.

— „Всѣ они вотъ какіе-то такіе... дикіе какіе то... Дѣти и дѣти, пусть себѣ бѣгають! Нѣтъ, запретъ ихъ... А вырастутъ большіе, запрутся и сидятъ въ своей комнатѣ въ одиночку. Придешь къ нимъ, все будто не свой... Мы къ нимъ всей душой, а они нѣтъ... Къ намъ пріѣдутъ: живи сколько хочешь, недѣли двѣ, угощаемъ, радуемся. А при-

дешь къ нему въ гости, угостить тебя альбомомъ, уйдешь голодный“.

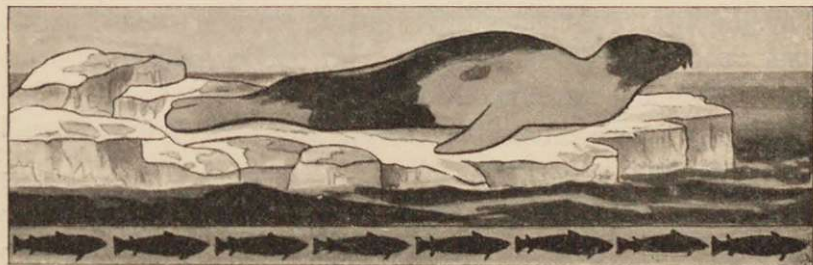
Послѣ супа намъ подаютъ палтуса и еще какую-то рыбу. Мясо здѣсь можно получить только въ дорогихъ отеляхъ. Обѣдъ кончается морошкой со сливками.

Пища свѣжая, прекрасно изготовлена, такъ вкусно, съѣдается на скатерти съ надписью о хорошей женѣ.

Послѣ обѣда за столикомъ съ различными норвежскими газетами я пытаюсь завести съ хозяиномъ разговоръ о политикѣ. Но онъ очень плохо понимаетъ нѣмецкій языкъ... Я хвалю Норвегію, онъ хвалитъ Россію, нѣсколько разъ жмемъ другъ другу руки и этимъ ограничиваемся.

\* \* \*

У Петра Петровича какія-то дѣла съ рыбаками, онъ уходитъ, а я беру на себя трудную задачу, не зная языка, найти парикмахера и остричься. Долго брожу и не могу нигдѣ увидѣть вывѣски съ ножницами и парикомъ. Впрочемъ, это вѣроятно потому, что меня отвлекаютъ различныя побочныя цѣли: я то отвлекусь разглядываніемъ какихъ нибудь особенныхъ норвежскихъ рыболовныхъ принадлежностей, то увлекусь фотографіями Нордкапа, Гаммерфеста, полуночнаго солнца, иногда покупаю, забывая что у меня на все путешествіе вокругъ Скандинавскаго полуострова имѣется всего восемьдесятъ рублей. Любопытны и харак-



терны для приморскихъ городовъ безчисленныя маленькія лачужки-кафе, откуда неизмѣнно выглядываютъ женскія головки.

Въ ресторанахъ, въ кафе, въ магазинахъ — вездѣ женщины. Я разглядываю ихъ и стараюсь воплотить въ нихъ Ибсеновскіе образы. Но какъ я не напрягаю воображеніе, онѣ мнѣ кажутся лишь худенькими, бѣдными нѣмочками съ голубыми глазами. Нору я не нахожу. Наконецъ въ окнѣ одной покосившейся лачужки вижу дѣвушку, похожую на Гедду Габлеръ... Будь, что будетъ, войду.

Человѣкъ пять моряковъ за столикомъ очень нетрезвыхъ шумятъ и въ центрѣ ихъ Гедда Габлеръ...

— „Café!“ заказываю я.

Дѣвушка встаетъ, киваетъ мнѣ головой:

— Vaer saa god.

Куда то идетъ, я за ней... по лѣстницѣ наверхъ. Маленькая комната съ двумя широкими кроватями, покрытыми красными одѣялами, между ними у окна столикъ и стуль.

— Vaer saa god! говоритъ дѣвушка и исчезаетъ.

Я остаюсь немного смущенный. Не рассчитывалъ и не ожидалъ. Хотѣлъ видѣть Ибсеновскую женщину... И вотъ... не совсѣмъ чисто...

Черезъ минуту дѣвушка вноситъ мнѣ чашку кофе съ сухарями.

— Vaer saa god!

Исчезаетъ. Кофе дрянной. Не пить-же его тутъ между двумя кроватями... Я кладу на столикъ мелочь и хочу осторожно незамѣтно спуститься по лѣстницѣ, уйти „по англійски“. Достигаю двери, крадусь... выхожу. Заглядываю въ окно съ улицы: Гедда Габлеръ, какъ ни въ чемъ не бывало, узнаетъ меня и киваетъ головой.

Больше я не дѣлаю опыта въ этомъ родѣ и ищу глазами ножницы и парикъ.

Вдругъ впереди себя замѣчаю двухъ стройныхъ женщинъ въ яркихъ сине-красно-желтыхъ костюмахъ сканди-



навскихъ лопарей. Я видѣлъ такіе костюмы только на рисункѣ и въ витринѣ одного магазина. Теперь вижу ихъ на этихъ высокихъ стройныхъ лапландкахъ, совершенно не похожихъ на нашихъ маленькихъ несчастныхъ лопарокъ.

Неужели-же онѣ здѣсь такія, благодаря тому что Норвегія культурная страна, что въ ней каждый, даже кочующій лопарь, обязанъ пройти семилѣтнюю народную школу, что въ ней лопари строго охраняются отъ пьянства, что благодаря всему этому вмѣсто больныхъ, истеричныхъ женщинъ, боящихся стука весла, я вижу передъ собой этихъ стройныхъ и вѣроятно прекрасныхъ дамъ.

Нѣтъ, догадываюсь я, это, конечно, не лопарки, а туристки - англичанки. Вотъ онѣ повернули за уголъ и на мгновеніе мелькнули ихъ строгіе блѣдные профили. Я тоже за уголъ: ясно англичанки, какъ я не замѣтилъ, что такія точенія таліи, невозможны безъ корсетовъ. Вдругъ англичанки исчезаютъ въ какихъ-то большихъ бѣлыхъ воротахъ и я вижу передъ собой кучи ядеръ, пушку.

Крѣпость!

Сюда ходить нельзя. Петръ Петровичъ много разъ предупреждалъ меня: не подходить за версту къ этой маленькой смѣшной крѣпости. Онъ рассказывалъ мнѣ, что норвежцы боятся русскихъ шпионовъ. Стоитъ имъ заподозрить въ русскомъ шпиона, какъ сейчасъ же начинается всеобщій бойкотъ. Онъ приводилъ мнѣ даже въ примѣръ одного молодого художника, который по неопытности дѣлалъ эскизы въ Вардэ и, какъ сейчасъ-же по всему маленькому городку разнеслась вѣсть о русскомъ шпионѣ, какъ передъ нимъ закрылись двери всѣхъ гостиницъ и домовъ, и какъ бѣдняга страдалъ, пока наконецъ совершенно обозленный не уѣхалъ изъ Норвегіи. А у меня еще фотографическій аппаратъ!

Скорѣй бѣжать отсюда! Повертываюсь и вдругъ вижу передъ собой военнаго господина съ узкими золотыми по-

гонами. Онъ что-то хочетъ мнѣ сказать. Очевидно спрашиваетъ, зачѣмъ я здѣсь. Не разказать же ему про англичанокъ. Впрочемъ, я же ищу парикмахера.

„Barbier... Friseur... Coiffeur...“ пытаюсь я ему объяснить.

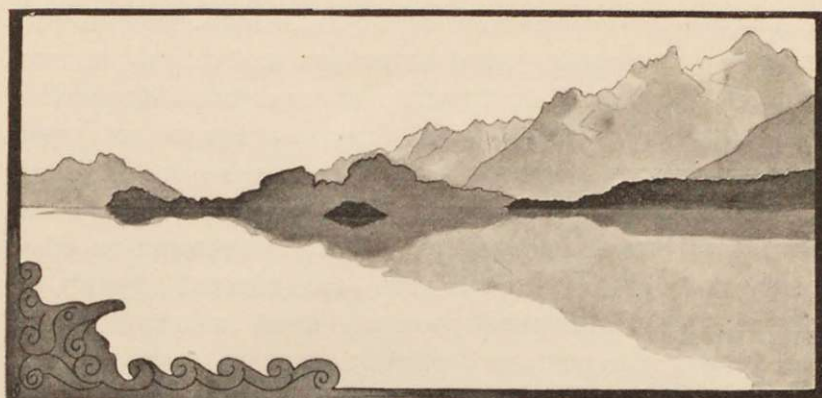
Не понимаетъ...

Я показываю ему на свои длинные волосы, двигаю по нимъ двумя пальцами, какъ ножницами. Нельзя не понять. Онъ смѣется и указываетъ мнѣ домъ съ вывѣской: „Photographie“.

Онъ хочетъ сказать: моя заросшая волосами физиономія достойна фотографіи. Теперь я начинаю пальцемъ, какъ бритвой, скоблить свои щеки и въ то же время выразительно указываю на его бритые щеки. Онъ опять смѣется и тащить меня за рукавъ въ фотографію.

Мы входимъ въ небольшую комнату съ желѣзной печкой, увѣшанную фотографическими снимками. Молоденькая барышня аккомпанируетъ на роялѣ господину со скрипкой. При нашемъ появленіи концертъ разстраивается. Военный и господинъ со скрипкой переговариваются и смѣются, барышня тоже смѣется. Мнѣ кажется, всѣ смотрять на меня, какъ на понавшагося въ плѣнъ хунгуза. Потомъ господинъ кладетъ свою скрипку на рояль, усаживаетъ меня передъ зеркаломъ и начинаетъ стричь. Барышня садится ретушировать фотографическую карточку. Военный уходитъ.

Парикмахеръ — онъ сносно говоритъ по нѣмецки — въ то же время и фотографъ, и дирижируетъ мѣстнымъ оркестромъ, и завѣдуетъ ссышкой угля на пароходы. Иначе здѣсь жить нельзя. Онъ рассказываетъ мнѣ, какъ трудно вообще жить здѣсь, какъ бѣдствуютъ рыбаки, несмотря на внѣшнее благополучіе; въ годы съ малыми рыбными уловами ѣдятъ даже тюленье мясо; много норвежцевъ, теперь не выдерживаетъ борьбы съ природой и переселяется въ Америку. Въ концѣ стрижки мы пріатели и хозяинъ снаб-



жаеть меня множествомъ фотографическихъ снимковъ Норвегii.

Потомъ мы еще долго говоримъ съ барышней о способахъ ретушированiя фотографiй и я выхожу на улицу очарованный норвежцами.

Замѣтно смеркается. И здѣсь, вѣроятно, уже въ это время года солнце садится. По улицѣ вдоль берега моря гулянье. Бѣлая ночь хочетъ и здѣсь меня обезволить, отъединить отъ людей, какъ и на берегу Бѣлаго моря и въ Лапландiи. Но я чувствую, что ей этого не удастся. Можетъ быть это оттого, что я въ прекрасной культурной странѣ и такъ четко убѣжденъ въ чемъ то хорошемъ.

\* \* \*

**30-го Юня.  
Нордкапъ.**

Allo! Allo! Allo!

Кто-то будить меня. Но я не могу проснуться. Allo! повторяеть кто-то, отдергиваетъ занавѣску моей койки и энергично теребитъ за плечо.

Это дѣвушка норвежка. Не сразу я понимаю мое положенiе. Наконецъ, соображаю: я на норвежскомъ товарно-пассажи́рскомъ пароходѣ. Вчера я легъ спать еще въ Вардѣ,



не дождавшись отправленія парохода, и вотъ, первый разъ въ свое путешествіе устроившись на койкѣ съ чистымъ бѣльемъ, подушкой, а, главное, за темными занавѣсками, крѣпко уснулъ. Теперь меня будятъ, очевидно, къ утреннему завтраку. Недалеко отъ койки довольно длинный столъ уставленъ множествомъ коробочекъ съ консервами, сырами, рыбками, молочниками. Пока я одѣваюсь за своей занавѣской, входитъ господинъ въ морской формѣ съ большей просвѣчивающей розовой шеей и бѣлой косичкой волосъ на ней; это капитанъ, я вчера бралъ у него билетъ; потомъ входитъ еще блондинъ, вѣроятно, его помощникъ или штурманъ, потомъ сѣдой старичекъ съ упрямымъ энергичнымъ лицомъ, какія встрѣчаются у нашихъ старовѣровъ, въ штатской одеждѣ, лоцманъ, какъ я послѣ узналъ. Они устраиваются за столомъ, а дѣвушка разбудившая меня повторяетъ свое „Алло!“ возлѣ другихъ коекъ. Пожилой господинъ съ брюшкомъ одѣвается въ форму норвежскаго почтоваго чиновника, потомъ еще господинъ. Всѣ одѣваются устраиваются вокругъ стола. У послѣдняго вставшаго господина я замѣчаю въ рукахъ томъ: „Gedanken und Erinnerungen“ Бисмарка и вообще нахожу въ немъ сходство съ этимъ великимъ человѣкомъ.

Я не люблю молчаливаго совмѣстнаго жеванія и, садясь, привѣтствую всѣхъ по нѣмецкому обычаю:

„Mahlzeit!“

Мнѣ никто не отвѣчаетъ, всѣ хладнокровно жуютъ. Они грубоваты, вспоминаю я мнѣніе путешественниковъ по Норвегіи. Мало того, думаю я, они совсѣмъ неинтересны и я не вижу разницы между ними и нѣмцами. А нѣмцы такъ намъ знакомы! Вотъ этотъ почтовый господинъ совсѣмъ gemütlicher Sachse, Бисмаркъ похожъ на пруссака, капитанъ то-же, только лоцманъ что-то своеобразное. Онъ смотритъ на меня какъ-то недоброжелательно и вдругъ довольно грубо спрашиваетъ:

— „Рюсьманъ?“

— „Russe!“ отвѣчаю я съ достоинствомъ.

Происходитъ какое-то замѣшательство, будто на мнѣ только что замѣтили рога Мефистофеля и не знаютъ, что со мной дѣлать на первыхъ порахъ.

Лоцманъ шепчется съ Бисмаркомъ, Бисмаркъ съ почтовымъ чиновникомъ, этотъ съ капитаномъ и всѣ повторяютъ: рюсьманъ, рюсьманъ.

Но вѣдь это куда хуже нашего, думаю я глубоко обиженный. Вотъ и Норвегія, вотъ и мои ожиданія, вотъ такъ культурная страна!

Всѣ продолжаютъ шушукаться. Наконецъ, капитанъ, очевидно парламентаръ отъ другихъ, спрашиваетъ меня коротко:

— „Offizier?“

Совсѣмъ, какъ на допросѣ.

— „Нѣтъ отвѣчаю, я не офицеръ.“

— „Wer sind Sie?“

Я назвалъ свою фамилію, взялъ фотографическій аппаратъ и вышелъ на палубу, глубоко возмущенный.

Тутъ мой любезнѣшій Петръ Петровичъ. О, родина святая! Что если-бы его не было на пароходѣ! И что будетъ со мной, когда онъ сойдетъ гдѣ-то у Нордъ-Капа? У него тамъ въ одномъ изъ норвежскихъ становищъ стоитъ собственная шхуна, нагруженная треской. Цѣль Петра Петровича и состоитъ въ томъ, чтобы промѣнять купленную имъ въ Архангельскѣ русскую муку на норвежскую рыбу. Когда онъ сойдетъ на свое судно я останусь совершенно одинъ и даже не буду имѣть возможности разспрашивать о мѣстности у этихъ грубыхъ людей, быть можетъ проѣду мимо Нордъ-Капа, и не узнаю здѣсь самый сѣверный мысъ Европы. Я рассказываю объ утреннемъ завтракѣ. Поморъ смѣется.

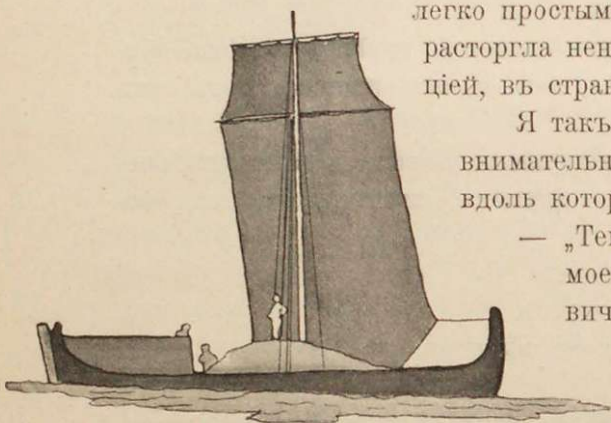
„Норвежцы, говоритъ онъ, самые первые наши благодѣли, они насъ часто и на водѣ спасаютъ, и въ командѣ нѣтъ

лучше норвежца. А это они тебя за шпиона принимаютъ. Видятъ не поморь, говоришь по нѣмецки, зачѣмъ такому господину тутъ ѣхать. Бояться“.

Меня какъ обухомъ ударило. Ёхать нѣсколько дней, спать съ ними въ одной комнатѣ, ѣсть за однимъ столомъ и все время знать, что меня считаютъ за шпиона. А я то мечталъ духовно отдохнуть въ странѣ, которая недавно такъ легко простымъ голосованіемъ народа расторгла ненавистную унию съ Швеціей, въ странѣ Бьернсена, Ибсена.

Я такъ опечаленъ, что не очень внимательно смотрю и на горы, вдоль которыхъ мы теперь ѣдемъ.

— „Темень какая!“ обращаетъ мое вниманіе Петръ Петровичъ на горы.



Это тотъ же Мурманскій берегъ, но только въ нѣсколько

разъ болѣе высокій. Похоже на Лапландскія Хибинскія горы, но только тутъ и внизу нѣтъ малѣйшихъ слѣдовъ зелени, прямо глядятъ въ океанъ голыя мрачныя скалы. Иногда у воды виднѣются одинъ, два или нѣсколько домиковъ рыбаковъ и передъ ними качаются на водѣ рыбацкіе боты совершеннѣйшей конструкціи. Эти жилища людей, такія благоустроенныя, съ телеграфными и телефонными проволоками, соединяющими ихъ со всей остальной Норвегіей, здѣсь у океана, подножья черныхъ горъ безъ зелени, кажутся такими неожиданными. Кажется Творецъ здѣсь создавалъ міръ по иному плану. Здѣсь онъ прежде всего сотворилъ человѣка, а потомъ освѣтилъ хаосъ и остановился.

— „Живи какъ знаешь!“ говоритъ и поморь.

Я изумляюсь этой жизни еще болѣе чѣмъ на Мурманѣ Кильдинскому королю. Тамъ хоть какая нибудь зелень, тутъ ничего.



— „Вотъ русскимъ бы поморамъ такую школу!“ говорю я.

— „Нѣтъ намъ нельзя. Намъ изъ-за бабы нельзя. Наша баба не пойдетъ. Норвеженка живетъ одна, ей хоть бы что, а нашей бабѣ нужна баба, а той бабѣ еще баба. Такъ изъ-за бабъ живемъ мы кучами, а въ одиночку не годимся.“

Одинъ домикъ, въ которомъ мы взяли боченокъ съ рыбьимъ жиромъ совсѣмъ виситъ надъ водой.

— „Вишь, указываетъ поморъ, когда мы отъѣхали подалше, смотри: выросъ на водѣ, живетъ на камнѣ, въ воду глядитъ, что чайка...“

Вдругъ онъ хватаетъ меня за руку.

— „Смотри! Китъ!“

Я оглядываюсь въ сторону океана, кита не вижу, но замѣчаю довольно большой водоворотъ. Гдѣ же китъ?

— „Въ воду ушелъ, вонъ его юро видно.“

Немного спустя показывается громадное черное блестящее чудовище. Весь экипажъ смотритъ на кита. Вѣроятно это и здѣсь рѣдкость.

А Петръ Петровичъ рассказываетъ мнѣ такой интересный фактъ изъ жизни рыбаковъ: недалеко отсюда есть разрушенный китовый заводъ, и еще подалше тоже. Заводы были разрушены рыбаками не очень давно. По мнѣнію русскихъ и норвежскихъ поморовъ китъ гонитъ треску къ берегу и является этимъ благодѣтелемъ рыбаковъ. Когда возникли китобойные заводы и богатые капиталисты стали массами истреблять китовъ, то уменьшился и рыбный промыселъ. Поморы подали въ стортингъ прошеніе о сокращеніи китоваго промысла. Отвѣта не послѣдовало. Подали въ другой разъ. Отвѣтъ былъ отрицательный. Тогда поморы, соединившись, разрушили китобойные заводы. Зачинщиковъ арестовали, но немного спустя разобрали въ чемъ дѣло и освободили. Китобойный промыселъ въ видѣ опыта запретили на десять лѣтъ, а издержки по разрушеннымъ заводамъ были покрыты на счетъ государства.

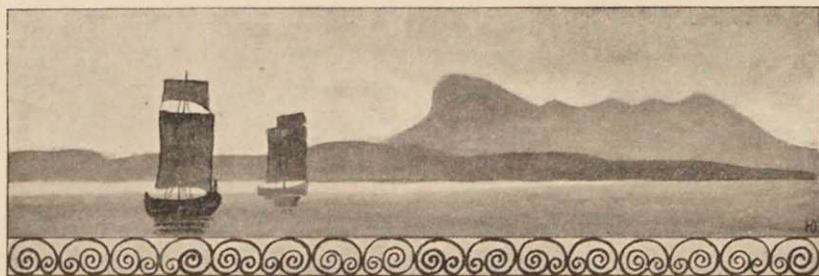
— „И вотъ опять теперь стали киты показываться, закончилъ свой разсказъ Петръ Петровичъ. Теперь часто видятъ, и трески больше и всёмъ хорошо“.

Пока мы такъ бесѣдуемъ на палубу входятъ толстый почтовый чиновникъ и Бисмаркъ и, очень недружелюбно на меня посматривая, начинаютъ играть въ бильбоке. Каждый изъ нихъ беретъ по пяти довольно большихъ веревочныхъ кружковъ и поочереди попадаютъ ими на поставленный шагъ въ десяти деревянный шпиль. Это мѡціонъ для полныхъ, серьезныхъ людей. Совсѣмъ какъ нѣмцы въ Германіи. Не могу же я представить себѣ Петра Петровича, бросающаго веревочный крендель на остріе.

Мы скромно становимся въ сторону и наблюдаемъ. Ужасно плохо попадаютъ, а кажется такъ легко. Но они такіе толстые, неуклюжіе, у Бисмарка кривыя ноги. Вотъ бы имъ показать! Я не выдерживаю, беру себѣ пять кренделей и хочу бросить. Оба чиновника мгновенно оставляютъ игру и уходятъ на носъ парохода.

Теперь ясно, что меня принимаютъ за шпиона. Я вдругъ вспоминаю о томъ, что съ фотографическимъ аппаратомъ меня видѣли возлѣ крѣпости. Разсказываю Петру Петровичу объ этомъ и онъ мнѣ опять повторяетъ, какъ то же было съ художникомъ, какъ его мучили, и съ какимъ дурнымъ чувствомъ онъ покинулъ Норвегію.

Что дѣлать? Не обращать вниманія? Но какъ не обращать вниманія, когда для меня весь смыслъ этого отдаленнаго путешествія состоитъ въ томъ, чтобы изъ постоянного общенія съ людьми узнавать мѣстную жизнь. Что будетъ со мной, когда Петръ Петровичъ сойдетъ на свою шкуну? Побросавъ всѣ крендели, я сажусь на вязку канатовъ и начинаю грустно разглядывать бѣлѣющіе паруса судовъ въ океанѣ. Мнѣ припоминаются почему-то встрѣчныя лошаденки на большой дорогѣ по безкрайной равнинѣ средней Россіи. Бредеть лошаденка, мужикъ въ телѣгѣ, какіе-то



мѣшки, кожи. Проплыветъ лошаденка, какъ случайный образъ на бездумьи, и опять то же безвольное расплывчатое состояніе безъ мыслей. Да что же это? Спихватишься... Начнешь раздумывать: куда бы могъ ѣхать этотъ мужикъ, зачѣмъ?

Тутъ, на крайнемъ сѣверѣ, въ Норвегіи, я вдругъ ловлю себя гдѣ-то у насъ на большой дорогѣ...

Если бы все искренне писать, о чемъ думаешь въ дорогѣ, то можетъ быть вмѣсто сѣвера вышелъ бы югъ. Я ловлю себя на большой дорогѣ. Но здѣсь океанъ, вотъ на горизонтѣ бѣгутъ суда, совсѣмъ похожія на бѣлыя чайки.

— „Куда бѣжитъ это судно?“

„Въ Китай.“

— Вотъ такъ дорога! А это?

„Въ Шестопалиху.“

— Это?

„Въ Питерь.“

Богъ знаетъ что... Я пытаюсь разяснить себѣ, зачѣмъ могутъ пускаться парусныя суда въ такое дальнее плаваніе. И къ своему изумленію узнаю, что Китай находится здѣсь около Нордкина; Питерь тоже, Шестопалоха вовсе близко, тутъ же есть какія-то „бирки съ крутяками“, есть Танинь-фіордъ, есть Васинь-фіордъ.

Все это русскія названія въ Норвегіи. Все это мѣста, гдѣ русскіе обмѣниваются съ норвежцами товарами. Въ особенности останавливаетъ мое вниманіе мысъ, извѣстный



подъ именемъ „Сѣверной Тонкѡй“. Отсюда раньше русскіе промышленники, отправляясь на промыслы звѣрей на Грумантѣ (Шпицбергенѣ), здѣсь сворачивали въ океанъ. Про эти мѣста они сложили извѣстную на сѣверѣ пѣсню грумалановъ:

„Прощай бирка съ крутяками,  
Не видаться съ русаками!  
Прощай Сѣверной Тонкѡй,  
Не бывать скоро домой“.

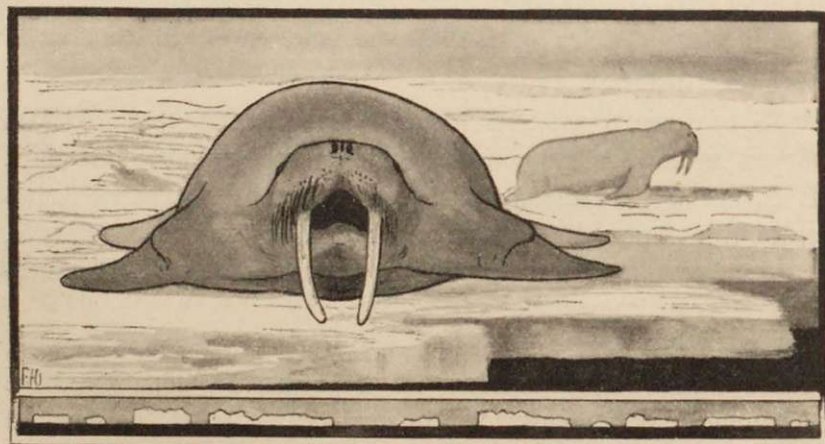
Возлѣ этого мыса поморъ мнѣ показываетъ длинную полосу впереди, вдавшуюся въ океанъ, и говорить:

— „Нордь-Капъ!“

Если бы онъ не сказалъ, то я бы не обратилъ вниманія на эту чуть видную полосу земли, но вотъ теперь смотрю не отрываясь.

— „Что тамъ смотрѣть то“—говоритъ мой спутникъ—голыя горы, темень и ничего. А ѣдутъ...“

Онъ рассказываетъ, какъ изъ Норвегіи отправляютъ сюда „гулѣбные“ пароходы съ англичанами; пріѣхавъ къ Нордкапу, туристы при звукахъ музыки входятъ наверхъ, раскидываютъ тамъ палатки, и сидятъ, смотря на солнце.



Поморь, остановившись разъ со своимъ судномъ въ ближайшемъ рыбацкомъ поселкѣ, видѣлъ, какъ одного сѣдого старика вели подъ руки на Нордкапъ.

„Этотъ народъ маленько того..., хоть бы звѣрь, аль птица, а то голыя скалы, темень, ничего...“

Мнѣ хочется заступиться за туристовъ и за этого старика, котораго подъ руки вели на Нордкапъ. Вѣдь всё эти мертвыя пустыни оживляются только туристами. Вѣдь благодаря имъ мертвый Нордкапъ ожилъ и сталъ что-то значить для каждаго. Почему это, спрашиваю я себя, мнѣ такъ интересно видѣть Нордкапъ, а помору нисколько?

Вопросъ откладывается до вечера. Сейчасъ зовутъ обѣдать, потомъ мы будемъ у Наркина, и оттуда яснѣе разглядимъ Нордкапъ.

---

Сидѣть рядомъ съ людьми, которые считаютъ меня за шпиона, ежеминутно передавать и получать тарелочки съ закуской, съ соусомъ, съ этими безчисленными приправами, какъ это бываетъ всегда за границей, и еще приговаривать при этомъ: „Vaer saa god“. Это невыносимо.

Скрѣпя сердце, конечно, можно кое какъ досидѣть до конца обѣда, тѣмъ болѣе, что норвежскій языкъ мнѣ совсѣмъ непонятенъ. Пусть говорятъ, что хотятъ. Но вотъ наступаетъ продолжительный антрактъ между первымъ и вторымъ блюдомъ, я вижу, какъ безцеремонно разглядываютъ меня и перекидываются словами: *Offizier*, *Offizier*... Терпѣніе мое лопается. Я произношу горячую рѣчь на нѣмецкомъ языкѣ. Говорю, какъ трудно живется въ Россіи, какъ хочется побывать въ такой странѣ, какъ Норвегія, какъ у насъ любятъ ее, страну великихъ писателей, музыкантовъ, путешественниковъ, какъ своей мелкой подозрительностью они унижаютъ свою родину, разрушаютъ то, что сдѣлалъ народъ и великіе люди. Кончивъ свою рѣчь, я хочу подсчитать

результатъ. Всѣ, кромѣ лоцмана, сконфужены, упрямый старикъ, вѣроятно, мало понялъ изъ моей вѣмецкой рѣчи, спрашиваетъ что-то у Бисмарка. Тотъ переводитъ, а лоцманъ слушаетъ и поглядываетъ на меня и, наконецъ, отчетливо произноситъ:

— „Anar - r - chist!“

Другая крайность! И тоже, какъ я угадываю, здѣсь очень несимпатичная.

— „Ну, пусть анархистъ, отвѣчаю я, у васъ же можно имѣть такія убѣжденія. Вотъ Ибсенъ былъ тоже анархистомъ“.

На меня всѣ набрасываются. Ибсенъ былъ анархистомъ! Напротивъ, капитанъ даже помнитъ, какъ онъ пріѣзжалъ къ нимъ въ народную школу и читалъ дѣтямъ свои произведенія.

Они даже немного возмущены и обижены, а я вспоминаю, что Ибсенъ убѣжалъ изъ Норвегіи и всю жизнь скитался внѣ своей родины. А теперь вотъ обижаются при малѣйшемъ намекѣ на его неблагонадежность.

Вдругъ у меня созрѣваетъ планъ мести. Я говорю имъ, что Ибсенъ былъ великій писатель, но у шведовъ тоже есть недурные: Бьернсонъ, Кнутъ Гамсунъ. Я пересчитываю рядъ именъ норвежскихъ писателей и называю ихъ шведскими. Такого эффе́кта я даже и не ожидалъ. Я никакъ не думалъ, что писатели, которыхъ вѣроятно же и не очень-то знаютъ эти захоластные люди, могутъ быть предметомъ такой національной гордости...

Одинъ, перебивая другого, говорятъ они мнѣ, что всѣ знаменитые люди — норвежцы, а не шведы и, что это такъ ужасно, но такъ это обычно слышать, что иностранцы ихъ всегда принимаютъ за шведовъ.

— „Всѣ норвежцы, всѣ норвежцы...“

— „Но Гамсунъ, говорю я, онъ кажется шведъ?“

— „Всѣ норвежцы, всѣ норвежцы...“



— „И Бьернсонъ?“

— „Норвежець! Ужъ это такой норвежець!“

Пересчитаю извѣстныхъ мнѣ норвежскихъ писателей, я перехожу къ музыкантамъ, ученымъ, называю имена Грига, Михаила Сарса, Нансена.

— „Всѣ норвежцы, всѣ норвежцы“ твердятъ мнѣ себе-сѣдники и по мѣрѣ того, какъ накаплиются имена, величіе Норвегіи за нашимъ столикомъ возрастаетъ, люди добрѣютъ, всѣ наслаждаются, какъ я, иностранецъ, подавленъ.

Наконецъ, я исчерпалъ всѣ свои знанія. Быть можетъ, думаю я, теперь приняться за Исландію, вѣдь она тоже заселена норвежцами, пуститься въ сторону скальдовъ и Эдды. Но кто знаетъ, быть можетъ, тутъ то-же что-нибудь въ родѣ Швеціи. Я не рѣшаюсь, боюсь испортить настроеніе.

А они всѣ смотрятъ на меня, капитанъ съ розовымъ затылкомъ, Бисмаркъ, почтовый чиновникъ, штурманъ, лоцманъ, ждуть и будто торопятъ: называй же, называй...

Мнѣ приходитъ одно имя, но это кажется шведъ, а нуженъ непременно норвежець. Я растерянъ.

Тогда всѣ одинъ за другимъ повѣряютъ мнѣ, бывшему шпиону и анархисту, какъ самому дорогому человѣку, многія славныя имена...

Я изумляюсь и при каждомъ имени восклицаю: Ah!

Скоро и они исчерпываютъ запасъ знаменитыхъ земляковъ. Тогда я предлагаю вышить за прекрасную любимую нами страну Норвегію. Мы чокаемся стаканами вина съ Бисмаркомъ, капитаномъ, штурманомъ, почтовымъ чиновникомъ. И даже угрюмый недовѣрчивый лоцманъ выпиваетъ со мной и что-то бормочетъ, вѣроятно, хорошее по моему адресу.

Выпиваемъ еще за Россію и еще за Норвегію...

Я прошу разбудить меня у Нордкина.



Нордкинъ — сѣверный рогъ.  
Нордкапъ — сѣверный мысъ.

Нордкинъ самая сѣверная часть материка. Нордкапъ — островъ, отдѣленъ проливомъ, но почему-то знаменитѣе Нордкапа. Между тѣмъ и другимъ широкой Tanenfiord.

Я вышелъ на палубу на разсвѣтѣ. Солнечный лучъ остановился на скалахъ, Рогъ сталъ золотымъ. Пароходъ свистнулъ. Безчисленныя бѣлыя птицы сорвались съ птичьяго базара, разсыпались надъ океаномъ, будто мелко изорванная бѣлая бумага.

Капитанъ знаетъ, какъ это красиво, какъ любятъ туристы глядѣть на эти скопленія птицъ на скалахъ. И чтобы сдѣлать мнѣ пріятное, даетъ еще нѣсколько свистковъ. И еще, и еще слетаютъ птицы съ черныхъ скалъ въ золотое пространство, падаютъ на зеленый океанскій слѣдъ парохода, сыплются будто сказочный серебряный фонтанъ.

Крикъ, шелестъ, хлопанье крыльевъ...

За фіордомъ вытянулся въ океанъ высокій Нордкапъ, будто черная крѣпость Европы. Будто

это старый и мудрый ученый, приходит мнѣ въ голову: такъ отчетливо вырисовывается высокій лобъ, выражающій неуклонную волю. Кто это былъ тотъ сѣдой старецъ, которому помѣшали взойти на Нордкапъ? Сколько значенія въ этихъ звукахъ оркестра, о которыхъ рассказалъ вчера поморь! Это было празднество Европы на своей послѣдней твердынѣ.

— „Пустая, земля черный камень, даже звѣрь не заходитъ“—говоритъ поморь. „Что въ ней?“

Ничего Это символъ ума и воли здѣсь въ золотыхъ лучахъ восходящаго солнца.

Но какой онъ при полуночномъ свѣтѣ, когда всѣ эти бѣлыя птицы рядами сядутъ на черныхъ скалахъ? Неужели эта упорная воля не смирится? Или когда наступитъ зимняя ночь?

Незнаю. Теперь на разсвѣтѣ Нордкапъ непоколебимъ и мощно красивъ.

„Край свѣта! Пустая земля!“ разсѣянно повторяетъ поморь.

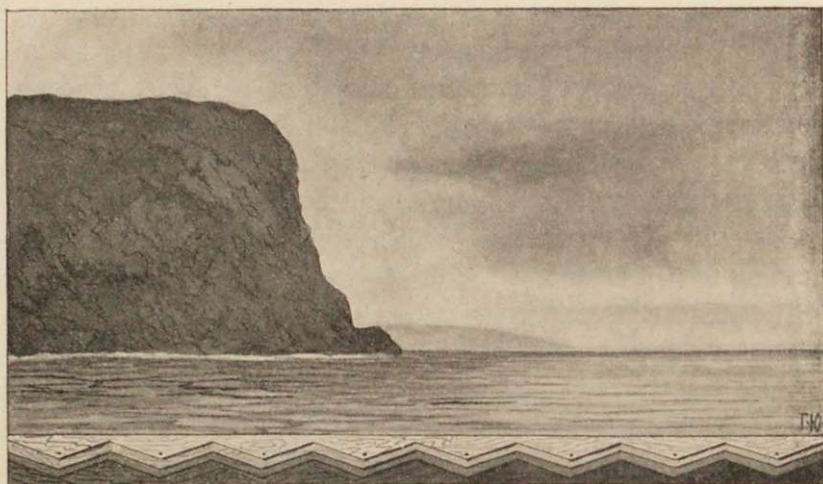
---

Мы въѣзжаемъ въ глубь Tanenfiord'a между Нордкапомъ и Нордкиномъ; оба мыса, пока мы внутри фіорда, не видны. По обѣимъ сторонамъ стоятъ высокія черныя стѣны. Солнце врывается внутрь и освѣщаетъ то одну, то другую сторону фіорда и черныя горы становятся то красными, то фіолетовыми, то синими, показываются отпечатки огромнаго звѣря, то окаменѣлыхъ боговъ.

Этотъ фіордъ глубоко врѣзывается въ материкъ, доходитъ почти до Varangerfiord'a, который выводитъ въ Россію къ Мурману. Мы ѣдемъ вглубь фіорда, чтобы взять пассажировъ отъ какого то рыбацкаго становища.

Къ намъ приближается лодка и въ ней высокая мужская фигура въ широкой черной шляпѣ, нѣсколько женщинъ и мужчинъ.





Вотъ оно основаніе, на которомъ созданъ Брандъ Ибсена! Эти горы возлѣ прозрачной воды и есть та каменная пустыня, куда увелъ толпу проповѣдникъ.

Лодка приближается... Всѣ эти темныя фигуры женщинъ и мужчинъ входятъ по трапу на пароходъ молча. Молодой челоувѣкъ, вѣроятно пасторъ, такой задумчивый, интересный въ своей широкой черной шляпѣ, пропускаетъ всѣхъ впередъ, а самъ, послѣднимъ взбирается по трапу на пароходъ. Такое молчаніе въ горахъ, такъ прозрачно, такъ свѣтло; и въ небѣ, и въ горахъ, и въ водѣ, и въ этихъ странныхъ темныхъ фигурахъ — тайное согласіе.

Нѣтъ, никогда не надо подходить къ природѣ отъ поэта, нужно дѣлать всегда наоборотъ, иначе одно печальное слово, случайный взглядъ могутъ совершенно испортить картину.

Пасторъ вступаетъ на пароходъ и вдругъ въ этотъ моментъ срывается бочка съ тресковымъ жиромъ и съ грохотомъ падаетъ въ трюмъ.

— „Это оттого, говорить намъ Петръ Петровичъ, что попь ступилъ. Это попь. Я видѣлъ его въ Гаммерфестъ... въ церкви.

Молодой пасторъ спускается въ каюту и, пока мы слушаемъ всё непріятности, возникшія по поводу разбившейся бочки, онъ появляется въ сѣромъ пиджачкѣ и модной велосипедной фуражкѣ.

— Ну, вотъ тебѣ и попь! восклицаетъ Петръ Петровичъ. Пооди узнай его.“

— „Не то что нашъ!“—подаю я реплику.

— Нашъ... Нашего попа, братъ, далеко видно... А это что! У нихъ до тѣхъ поръ попа не знаешь, пока не выйдешь въ церковь. Бывалъ я, знаю... Всѣ сидятъ, читаютъ... Выйдетъ попь и начнетъ кричать, что есть духу, и что не крѣпче, то лучше... Кричить и руками машетъ во всѣ стороны. Сидишь, сидишь, слушаешь, слушаешь, пока не загогочешь, а засмѣялся сейчасъ тебя подъ руки и выведутъ.“

Мы смѣемся... Но гдѣ же, гдѣ же мой Брандъ, котораго я увидѣлъ въ этомъ дикомъ сѣверномъ фіордѣ... Такого ужъ спутника послалъ мнѣ Богъ... но не въ спутникъ дѣло, а въ методъ... Никогда не нужно идти по стопамъ поэта.

Пасторъ дружески трясетъ руки Бисмарку и почтовому чиновнику. Поговоривъ немного, они подходятъ къ бильбоке, берутъ веревочные крендели и хотятъ играть.

— „Wünschen Sie“ предлагаетъ мнѣ крендель Бисмаркъ. Я согласенъ.

— „Sie?“ предлагаетъ онъ моему спутнику.

Но Петръ Петровичъ не желаетъ, ему ужасно не къ лицу бросать веревочные крендели на деревянное остріе.

---

Возвратившись изъ длиннаго фіорда, мы снова и еще ближе подплываемъ къ Нордкапу. Бросаю бильбоке и ухожу на носъ парохода. Въ маленькой бухточкѣ у берега приютился

домъ. Подлѣ него другой и третій. Всѣ домики въ тѣни. Почему они такъ устроились? Бываетъ у нихъ солнце или нѣтъ?

Пароходъ даетъ условный сигналъ, хозяева должны выѣхать на пароходъ съ своимъ грузомъ. Но никто не показывается, никто не откликается, будто давно уже всѣ вымерли.

Изъ тѣни на свѣтъ выбѣгаетъ телеграфная проволока и, блестящая, бѣжитъ отъ столба къ столбу въ горы...

Да развѣ это одиночество! думаю я, глядя на эти проволоки. Это самое лучшее общеніе. Одиночество тамъ позади въ нашихъ архангельскихъ лѣсахъ.

Мнѣ приходитъ въ голову тотъ монахъ на берегу Голгоѣской горы, для котораго время остановилось и города уже начали проваливаться, вспоминаются эти поморы, промышляющіе звѣрей на льдинахъ, всегдѣ вмѣстѣ и всегда одинокіе для міра, вспоминается красное полуночное солнцѣ въ Лапландіи среди брошеннаго вымирающаго народа. Вотъ гдѣ одиночество, а это общеніе.

Что-то долго собираются. Пароходъ даетъ еще нетерпѣливый сигналъ.

Вдругъ въ одномъ изъ этихъ домиковъ у Нордкапа открылось окно, кто-то махнулъ платкомъ и потомъ я услышалъ такую высокую радостную музыкальную ноту. Быть можетъ это ребенокъ повернулъ ручку инструмента, или ударилъ по клавишу піанино.

Но этотъ звукъ такой свѣтлый, всеѣмъ какъ золотой лучъ въ горахъ фіорда.

Мнѣ кажется, что онъ вырвался изъ окна и побѣжалъ по этой свѣтлой блестящей проволоцѣ черезъ горы...

Вышли люди, мужчины, женщины, дѣти. Поплыли на лодкѣ къ намъ.

Стали грузить бочки, загремѣла лебедка, застучали весла.



А мнѣ, казалось, что золотой звукъ все бѣжалъ и звенѣлъ и свѣтился на проволокахъ въ горахъ.

\* \*  
\* \*

**2-го Юля.**  
**Гаммерфестъ.**

Пока мы ѣдемъ изъ фюрда въ фюрдъ, отъ одного рыбацьяго поселка къ другому, медленно приближаясь отъ Нордкапа къ самому сѣверному городу Европы—Гаммерфесту, садится солнце, наступаетъ ночь, почти такая же, какъ на Бѣломъ морѣ, когда солнце, хотя и садится въ воду, но все таки выглядываетъ и въ полночь однимъ глазкомъ, своей полуночной зарею. Почти такая же природа, какъ и въ Русской Лапланди на озерѣ Имандра, но только здѣсь кажется мы поднялись еще много, много выше надъ землей. Здѣсь не прозрачныя, чистыя горныя озера, а океанъ, здѣсь горы не опушены внизу хвойными лѣсами. Здѣсь только вода и черныя вершины, высокія сгрудившіяся и маленькія черныя, убѣгающія отъ большихъ въ океанъ.

Нѣтъ и слѣда зелени. Но когда пароходъ огибаетъ скалу въ фюрдѣ я иногда замѣчаю, какъ пучекъ лиловыхъ колокольчиковъ свѣшивается изъ скалъ къ водѣ, будто чашечки жаждутъ напиться этой легкой прозрачно-зеленой воды фюрда.

Какъ и въ Лапланди, мнѣ кажется, что мы плывемъ въ ковчегѣ послѣ перваго спада воды. Далеко въ глубинѣ этихъ водъ лежитъ теперь затопленная грѣшная земля. Но уже спадаетъ



вода, уже слышенъ аромать земли и вотъ уже показались эти первые лиловые колокольчики. Если теперь выпустить голубя, то онъ принесетъ не масличную вѣтвь, а эту чашечку цвѣтовъ.

Въ одномъ мѣстѣ мы такъ близко у скалы, что я, если бы не быстро бѣгущій пароходъ, а лодка, схватилъ бы рукой цвѣты. Но пароходъ бѣжитъ быстро, лиловыя чашечки становятся темными на фонѣ пылающаго краснаго неба, на фонѣ этого зеленаго слѣда по голубой-малиновой-синей водѣ.

Слышно, какъ журча стекаетъ вода и все болѣе и болѣе обнажаются горы...

Еще недѣля и я буду внизу между высокими зелеными деревьями. Буду ходить по травѣ.

На кормѣ никого нѣтъ. Почему-то все на носу парохода. Почему это? Я повертываю голову туда и вдругъ вблизи вижу бѣлый сказочный городъ.

Гаммерфестъ!

Все происходитъ такъ быстро. Эти бѣлые мраморные дворцы въ бѣломъ сумракѣ все еще не стали обыкновенными домами и рыбными складами. Эти ряды вдумчивыхъ кораблей съ бѣлыми крыльями еще не шкуны русскихъ поморовъ, но мы уже у пристани: мои спутники ушлывають на лодкѣ къ берегу. Нужно и мнѣ перебраться...

— „Какъ бы это сдѣлать?“—спрашиваю я капитана.

— „Flotman!“— кричитъ онъ лодочнику.

Тотъ беретъ мои вещи и мы плывемъ къ берегу. Толпа народа, суета, я одинъ на берегу съ своимъ чемоданомъ, не знаю, какъ спросить носильщика, какъ назвать гостиницу. спрашиваю одного, другого. спрашиваю на нѣмецкомъ, французскомъ языкахъ. Меня не понимаютъ.

Я вдругъ чувствую, наконецъ, все легкомысліе своей поѣздки въ Норвегію безъ путеводителя, безъ подготовки. Пока были со мной поморы, я ѣхалъ, какъ по Россіи, и вотъ теперь только чувствую свою беспомощность.

Спрашиваю одного, другого, третьяго. Наконецъ ко мнѣ подходятъ два маленькихъ мальчика, кричатъ мнѣ: „рюсьманъ, рюсьманъ“, схватываютъ чемоданъ и тащатъ куда-то. Мы поднимаемся въ гору, я вижу, какъ трудно нести мальчикамъ тяжелый чемоданъ, беру его самъ, тащу, а они бѣгутъ впереди.

Высокій отель. На балконѣ много женщинъ. Мальчики что-то говорятъ имъ, показывая на меня, нагруженнаго своими вещами. Вѣроятно видъ мой имъ не внушаетъ довѣрія: онѣ отрицательно киваютъ головой.

— „Рюсьманъ, рюсьманъ!“ — говорятъ мальчики такимъ тономъ что мнѣ слышится: бѣдный рюсьманъ.

Я пробую заговорить съ дамами на балконѣ, но онѣ не понимаютъ и съ состраданьемъ смотрятъ на мой чемоданъ,

— „Бѣдный рюсьманъ, бѣдный рюсьманъ!“

Я понимаю свое положеніе такъ: эти женщины боятся видѣть въ богатомъ отелѣ человѣка, не имѣющаго средствъ взять носильщика для такого тяжелаго чемодана.

— „Бѣдный рюсьманъ, бѣдный рюсьманъ!“ — все повторяютъ дѣти и тащатъ меня за руку дальше къ другому маленькому отелю. Тамъ то-же самое. И еще къ одному. То же самое.

Что мнѣ дѣлать? Больше отелей нѣтъ. Мнѣ приходитъ въ голову такая мысль: въ Поморьѣ я познакомился съ однимъ молодымъ человѣкомъ, хозяиномъ парусной шкуны. Онъ говорилъ мнѣ, что въ августѣ онъ будетъ стоять въ Гаммерфестѣ, закупать рыбу; онъ просилъ меня, если я буду въ Норвегіи лѣтомъ, побывать у него и даже остановиться на шкунѣ. Указываю мальчикамъ рукой на мачты русскихъ судовъ въ фіордѣ и называю фамилію помора: Сметанинъ. Kapitän Smjetanin! весело подхватываютъ мальчики и бѣгутъ къ берегу.

— „Kapitän Smjetanin! Kapitän Smjetanin!“

Всѣ знаютъ его. Flotman везетъ меня къ русскимъ судамъ. Никогда не забуду я этого длиннаго ряда высоко под-



нятыхъ вверхъ шпилей шкунѣ, этой аллеи парусовъ, этой радости, что вотъ сейчасъ я съ поморами заговорю на русскомъ языкѣ, устроюсь.

— „Сметанинъ... гдѣ тутъ судно Сметанина?—спрашиваю я одну темную фигуру, въ которой сразу узнаю русскаго помора.

— „Греби къ третьей шкунѣ,“—отвѣчаютъ мнѣ.

„Гдѣ Сметанинъ?“

— „ Я Сметанинъ.“

— „Семень Федоровичъ?“

— Нѣтъ, я Василь Федоровичъ, а Семена нѣту, Семень ушелъ въ Россію...

Вотъ бѣда! Я объясняю свое положеніе. Поморъ не вѣрить, что въ гостиницѣ нѣтъ комнатъ, смотритъ на меня хитрыми русскими глазами и я читаю въ нихъ: ладно, ладно, ври ты, не хочешь денегъ платить за номеръ.

Ахъ, эти хитрые русскіе глаза, этотъ взглядъ искоса, проникновенный, обидный, унижительный. Этотъ взглядъ видить въ каждомъ новомъ человѣкѣ непременно жулика. Никогда въ жизни я не понималъ такъ ясно противоположности германцевъ и славянъ. Эти довѣрчивые, открытые голубые глаза германца и эти хитренькіе славянскіе глаза.

— „Иди къ русскому консулу!“—говоритъ мнѣ поморъ.

— „Но теперь ночь, отвѣчаю я, вѣдь консула не принято будить ночью изъ-за того, чтобы найти комнату въ гостиницѣ.

— „Ничего, онъ не спитъ... онъ хорошій“...

Вотъ и знаменитое русское гостепримство, горько думаю я.

— „Можно бы и на шкунѣ у меня переночевать“, хитритъ поморъ, видя мою перѣшительность.

— „А...“ подаю я реплику, полную желанія переночевать на суднѣ.

— „Да онъ не спитъ, консулъ хорошій“.

— „Прощай!“ говорю я. И мы плывемъ опять къ берегу. Бѣдный рюсманъ, бѣдный рюсманъ! встрѣчаютъ меня голубые глазки норвежскихъ ребятъ.

„Консуль“ слово понятное. Меня ведутъ къ консульскому дому на высокомъ берегу фіорда. Жутко звонится... Ночь. Консула нѣтъ дома.

Бѣдный рюсманъ! грустно твердятъ мальчуганы.

Я даю имъ мелочь и отпускаю. А самъ въ полномъ изнеможеніи отъ тяжелой ноши сажусь на лавочку у фіорда, готовый хоть всю ночь ждать возвращенія консула.

Фіордъ спить и горитъ полуночной зарей.

Какъ вѣроятно красивъ этотъ фіордъ и этотъ бѣлый городъ и этотъ рядъ морскихъ кораблей. Но я ничего не вижу, ничѣмъ не наслаждаюсь, усталый, перевожу глаза изъ стороны въ сторону, прислушиваюсь къ шагамъ: не идетъ ли консуль. Только одинъ огромный черный камень, высунувшійся изъ воды на срединѣ фіорда, навсегда остается въ моей памяти.

Отъ нечего дѣлать, курю, подсчитываю расходы и вдругъ холодѣю: отъ восьмидесяти рублей остается сумма, съ которой невозможно доѣхать до Россіи, если даже и въ будущемъ ночевать не въ гостиницѣ, а на лавочкѣ у фіордовъ. И какъ это незамѣтно вышло: вышито вино въ честь норвежскихъ великихъ людей, фотографіи, образцы рыболовныхъ принадлежностей, лапландскій костюмъ. Зачѣмъ я купилъ этотъ костюмъ, не носить же мнѣ его.

Единственный исходъ ѣхать обратно въ Россію, опять по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ пробѣжалъ мой несчастный волшебный колобокъ. Ни за что! Развѣ у консула попросить? Но что такое консуль. Я никогда въ жизни не видѣлъ ни одного консула, какіе они, можетъ быть, съ такими же глазами, какъ капитанъ?

И вотъ его шаги...

Рѣшительная минута... Если глаза не такіе, попрошу. Ко мнѣ приближается маленькая фигура въ форменной

фуражкѣ съ большимъ портфелемъ въ рукѣ. Я встаю, иду навстрѣчу. Консуль, не доходя шаговъ двадцать, любезно раскланивается, я отвѣчаю тѣмъ же. Потомъ роется въ портфель, достаетъ какой-то листъ, подходитъ.

И дарятъ же такими сюрпризами эти свѣтлыя сѣверныя ночи!

Мой консуль вдругъ превращается въ прекрасную дѣвушку въ формѣ норвежскаго почтоваго чиновника съ глазами цвѣта лиловыхъ колокольчиковъ. Дѣвушка подаетъ мнѣ почтовый листъ, похожій на газету, я разглядываю его, ничего не понимаю, и спрашиваю:

„Was ist das?“

Лиловые колокольчики улыбаются.

Я спрашиваю на всѣхъ языкахъ.

Колокольчики молчатъ.

Хочетъ уйти. Но я указываю на чемоданъ, говорю: рюсьманъ, отель.

„Рюсьманъ... отель,“ соглашается дѣвушка и ждетъ что-же еще я скажу... Чтобы выдумать такое? Одно удачное слово и я спасенъ. Но слово не приходитъ, я повторяю только: рюсьманъ, отель.

Дѣвушка киваетъ головой, повертывается, превращается въ почтоваго чиновника и исчезаетъ.

И опять прозрачная пустая бѣлая ночь безъ лиловыхъ колокольчиковъ чернымъ камнемъ смотреть на меня съ фіорда.

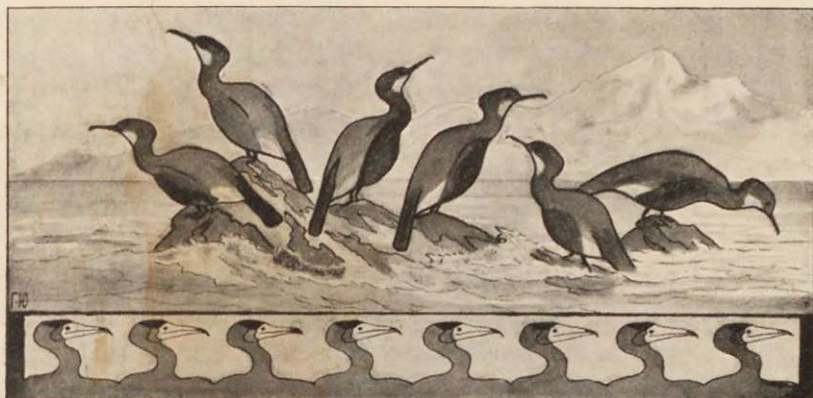
Что же дѣлать? Я сижу еще часъ. Замѣтно свѣтлѣетъ, на камнѣ блеститъ отблескъ зари.

Вдругъ мнѣ приходитъ въ голову счастливая мысль: Гаммерфестъ служить центромъ русско-норвежской торговли, не можетъ же быть, чтобы тутъ на пристани не было ни одного человѣка говорящаго по-русски. Быть можетъ по-русски-то больше здѣсь понимаютъ, чѣмъ по-нѣмецки.

Подхожу къ пристани, становлюсь на свой чемоданъ:

— „Понимающіе по-русски отзовитесь!“





Ко мнѣ подходит молодой норвежець, раскланивается, спрашивает довольно чисто по-русски: „Чего угодно“?

Голубчикъ мой, хватаюсь я за него, такъ и такъ. Рассказываю о мальчикахъ, о консулѣ, о почтовомъ чиновникѣ. Онъ много смѣется. Превращеніе почтоваго чиновника и ему кажется загадочнымъ. Насколько онъ знаетъ, въ Гаммер-фестѣ нѣтъ женщинъ-чиновниковъ на почтѣ. Дѣла мои устраиваются въ пять минутъ. Я получаю удобную комнату въ лучшемъ отелѣ. Щелкаетъ пуговка и при электрическомъ свѣтѣ меркнетъ въ окнѣ блѣдный ликъ бѣлой ночи.

Консуль радъ мнѣ помочь, радъ побесѣдовать со мною, но намъ мѣшаютъ то и дѣло входящія въ комнату русскіе поморы. Теперь какъ разъ время, когда они разѣзжаются домой, потому что за лѣто они нагрузили свои шкуны треской и промѣняли муку. Они входятъ къ консулу, частью, чтобы проститься, частью, чтобы выполнить какія-то формальности.

Сегодня я, устроенный во всѣхъ отношеніяхъ, думаю о нихъ лучше, чѣмъ вчера ночью. Мнѣ пріятны ихъ свободныя манеры, ихъ морская грубоватость. Войдетъ въ

двери и не остановится у порога съ шапкой въ рукѣ, какъ у насъ, а прямо подходитъ къ консулу, жметъ его руку, жметъ мою руку и усаживается на стулъ.

— „Походишь? — спрашиваетъ консулъ, примѣняясь къ ихъ языку.

— „Вѣтеръ походный, иду“.

— „Съ мукой?“

— „Нѣтъ, раздѣлался...“

Это значитъ примѣнялъ всю муку. Сущность торговли состоитъ въ томъ, что поморъ беретъ въ долгъ въ Архангельскѣ муку, мѣняетъ ее на рыбу въ Норвегіи, и, продавъ ее, уплачиваетъ за муку. Знаніе этого даетъ мнѣ возможность рѣшить экономическую загадку, предложенную консуломъ: какимъ образомъ русская мука часто дешевле въ Гаммерфестѣ, чѣмъ въ Архангельскѣ?

Сидитъ поморъ, „бесѣдуетъ“ чинно и важно. Мы говоримъ объ этомъ интересующимъ меня морскомъ пути на парусномъ суднѣ отъ Архангельска до Гаммерфеста. Я узнаю удивительныя вещи. До сихъ поръ еще русскіе моряки не считаются съ научнымъ описаніемъ лоціи Сѣвернаго Ледовитаго океана. У нихъ есть свои собственныя лоціи, собственныя названія въ родѣ тѣхъ, которыя я уже слышалъ „Китай“, „Питеръ“, „Шестопалиха“. Описание лоціи поморами почти художественное произведеніе. На одной сторонѣ листа описаніе берега, на другой—выписки изъ священнаго писанія славянскими буквами. На одной сторонѣ разсудокъ, на другой вѣра. Пока видны примѣты на берегу, поморъ читаетъ одну сторону книги, когда примѣты исчезаютъ и штормъ вотъ-вотъ разобьетъ судно, поморъ перевертываетъ страницы и обращается къ Николаю Угоднику. Есть среди поморовъ, разсказываютъ мнѣ, удивительные храбрецы. Разъ одинъ старикъ пришелъ изъ Архангельска въ Гаммерфестъ безъ компаса. Какъ же такъ? спросилъ консулъ, какъ же онъ шелъ? Поморъ указалъ рукой какое-то

направленіе. А разъ даже было такъ, что одинъ поморъ рѣшилъ удивить Европу. Сдѣлалъ почти совершенно круглую лодку, прицѣпилъ къ ней паруса собственнаго изобрѣтенія и пустился океаномъ на Парижскую выставку. Онъ благополучно проплылъ по Бѣлому морю до Архангельска, проплылъ Моржовець, Сосновець... Послѣдній разъ его видѣли гдѣ-то у Трехъ Острововъ... тамъ вѣроятно онъ и погибъ.

Одни поморы приходятъ къ консулу проститься, другіе являются съ норвежцами къ третейскому суду.

Входятъ два помора: русскій и норвежець, оба съ голубыми глазами, оба высокіе здоровые моряки. Пока они оба разсержены, пока одинъ, перебивая другого на своемъ языкѣ, рассказываетъ консулу причину ссоры, ихъ почти нельзя отличить другъ отъ друга, потому что море шлифуетъ всѣхъ одинаково. Но вотъ дѣйствіе развивается. У консула простая и оригинальная система суда: молчаніе. Чѣмъ больше онъ молчитъ, тѣмъ больше горячатся поморы, наконецъ, объясняются между собой. Состязаніе происходитъ исключительно въ діалектическомъ отношеніи, оба чувствуютъ молчаливое руководящее присутствіе консула.

Дѣйствіе начинается съ того, что оба говорятъ другъ съ другомъ не по-русски, не по норвежски, а на особомъ русско-норвежескомъ воляюкѣ „моя твоя“, состоящемъ изъ русскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ и норвежскихъ словъ.

„Сюль (я) капитанъ“, сюль правило (кормщикъ), сюль принципаль!“—воскликаетъ гордо русскій.

Но я уже вижу, какъ на голубые глаза помора, какъ тѣнь набѣгаетъ русская хитреца. Не проста онъ гнѣвается, думаю я. Сейчасъ у него мелькнулъ цѣлый хитрый планъ атаки.

„Исть (есть) твоя фишка (рыба) на мой палуба!“ гнѣвается норвежець.

Этотъ сердится безъ плана, лицо умное, но безъ плана. Поморъ это отлично понимаетъ и я читаю въ его глазахъ: дуракъ, ты нѣмецъ.



Моя спрекамъ (spreschen)... Твоя спрекамъ. Моя, твоя, моя, твоя, моя... И вдругъ оба останавливаются въ пылу сраженія. Языкъ „моя, твоя“ измѣнилъ.

Тогда одинъ говоритъ по-русски, а другой по-норвежски. Такъ это легко становится, будто вращаются шестерки, освободившіяся отъ передаточнаго ремня. Русскій говоритъ по-русски, но увѣренъ, что онъ по-норвежски, а норвежець увѣренъ, что онъ говоритъ по-русски. Консуль въ двухъ, трехъ фразахъ переводитъ смыслъ сказаннаго... Его спокойное вмѣшательство обезоруживаетъ поморовъ... Оба, какъ и въ началѣ, нѣкоторое время говорятъ, обращаясь къ консулу. Но потомъ опять схватываются, но болѣе спокойно: моя, твоя, моя, твоя...

Тонкая хитреца на лицѣ русскаго, какъ извилистая тропинка по мечтательнымъ безкрайнымъ полямъ, вьется, вьется, вьется. Норвежець принимаетъ это за простодушіе—оба стихаютъ. Консуль встаетъ, миръ заключенъ. Норвежець платитъ деньги:

— Вотъ моя пенъга (деньги) имѣй!“

Оба жмутъ другъ другу руки, какъ ни въ чемъ не бывало.

— „Твоя по-рейза?“ (reisen) спрашиваетъ норвежець...

— „Моя рейза (ѣду), а твоя?“

— „Моя, когда ven (вѣтеръ)“.

Норвежець уходитъ, а русскій торжественно приглашаетъ насъ откушать на суднѣ и, получивъ согласіе, удаляется готовиться къ встрѣчѣ важныхъ людей.

Насъ уже ждетъ у берега лодка. На суднѣ спущенъ трапъ. Хозяинъ въ черномъ сюртукѣ стоитъ у борта, извиняется, что трапъ подали съ лѣвой стороны, это по ихъ правиламъ невѣжливо, но дѣлать нечего, правый бортъ загроможденъ бочками.

Ахъ, если бы меня вчера ночью одного, безъ консула такъ приняли. Какой бы гимнъ пропѣлъ я русскому гостепримству. Но теперь...

Это не тѣ поморы, къ которымъ лежитъ моя душа. Тѣ совсѣмъ сливаются съ стихіей. Тѣ плаваютъ по океану на льдинахъ, подносятъ своему Богу звѣриныя шкуры и деньги за спасеніе, курятъ табакъ въ океанѣ на днѣ опрокинутой лодки. А эти—обыкновенные хитрые купцы, они тутъ подучиваются у норвежцевъ вмѣстѣ со своими женками и устраиваются хорошо.

Хозяинъ, поглаживая по головѣ мальчика, рекомендуетъ: „Это старшенькій, у меня ихъ семь номеровъ“.

Потомъ усаживаетъ насъ на мягкомъ диванѣ подъ иконой съ горящей лампадой. Входятъ родственники съ другихъ шкуръ, кланяются, извиняются за костюмъ передъ хозяиномъ: „мы къ вамъ по свойству, по знакомству“. Входятъ молодые, новобрачные, — медовые мѣсяцы у поморовъ принято проводить въ „Норвегѣ“. Всѣ усаживаются вокругъ самовара. Сверху изъ люка доносятся русскія слова.

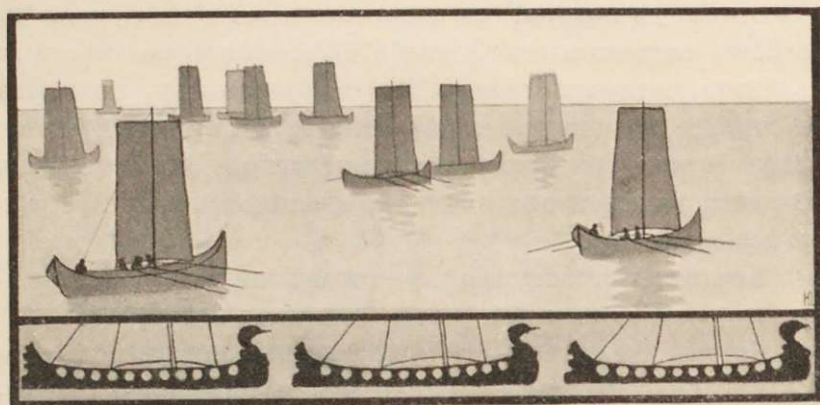
Угощаютъ насъ по русски, по Демьяновски...

Трудно повѣрить, что все это совершается въ Норвегін, въ странѣ викинговъ и скальдовъ, Бьернсона и Ибсена.

---

Послѣ торжественнаго приѣма насъ поморами, мы съ консуломъ совершаемъ небольшую прогулку въ окрестности Гаммерфеста. Прежде всего онъ мнѣ показываетъ „паркъ“. Между горами у ручья какимъ-то чудомъ выросло нѣсколько десятковъ кривыхъ березокъ въ ростъ человѣка и подъ ними множество лиловыхъ колокольчиковъ. Мѣстечко это обнесено рѣшеткой съ надписью на трехъ языкахъ: „Щадите эти растенія“. Вокругъ расчищены дорожки, устроенъ ресторанъ. Тутъ катаются дѣтскія коляски, гуляютъ молодая парочки.

Это послѣднія березки, это гордость Гаммерфеста, самое замѣчательное его мѣстечко, полное трогательнаго значенія. Кажется, что вокругъ этихъ послѣднихъ зеленыхъ листьевъ



собралась и послѣдняя общественная жизнь. Сѣвернѣе, откуда я проѣхалъ, хоть и поражаютъ эти жилища рыбаковъ, но трудно удержать теперь, въ виду этой зелени, чувства несогласія съ этой жизнью, ненормальностью ея... Я дѣлюсь своими впечатлѣніями съ консуломъ и онъ вполне соглашается со мной: жизнь на сѣверѣ Норвегіи совершается на счетъ юга. Третье, четвертое поколѣніе на сѣверѣ, говоритъ онъ, вырождается и потому такъ часто рядомъ съ гигантами поморами встрѣчаются мелкіе худосочные люди. Никакая самостоятельная культура на крайнемъ сѣверѣ невозможна. Невозможно искусство, литература. Всѣ эти знаменитые писатели, о которыхъ мы знаемъ, воспитались въ южныхъ благодатныхъ фіордахъ. Здѣсь они бывають только проѣздомъ.

Осмотрѣвъ этотъ маленькій паркъ, который навсегда остался во мнѣ символомъ сѣвернаго трагизма, мы возвращаемся въ городъ и долго бродимъ здѣсь по улицамъ. Отъ своего собесѣдника я узнаю много интересныхъ подробностей мѣстной жизни, о недавнемъ пріѣздѣ сюда короля. Консулъ, какъ многіе другіе, обѣдалъ съ королевской четой. вмѣстѣ съ ними обѣдалъ и кучеръ, возившій короля по городу. Вышло это такъ: одинъ мѣстный владѣлецъ пары



хорошихъ лошадей предложилъ королю пользоваться ими на время пребыванія въ Гаммерфестѣ, а такъ какъ у него не было прислуги, то возить короля вызвался самъ. Король согласился, и въ свою очередь угощалъ его обѣдомъ... Какъ извѣстно, въ Норвегіи теперь одно сословіе, демократизмъ такой же, какъ и въ Америкѣ, а классовыя различія не такъ велики: всѣмъ болѣе или менѣе трудно жить въ этой суровой странѣ. Очень часто чиновники совмѣщаютъ въ одномъ лицѣ много разныхъ должностей. Основаніемъ для жизни такого чиновника служатъ обыкновенно его доходы, какъ рыбнаго торговца.

Такъ, болтая о томъ и о семъ, мы приходимъ въ почтовую контору, спросить нѣтъ-ли писемъ до востребованія. Я берусь за ручку двери, какъ вдругъ она сама открывается и навстрѣчу намъ выходитъ чиновникъ—дѣвушка съ глазами цвѣта лиловыхъ колокольчиковъ, киваетъ мнѣ головой, какъ знакомому, улыбается и, спѣшно принявъ дѣловой видъ, исчезаетъ. Изумленный, я долго смотрю ей влѣдъ.

— „Что вы?“—спрашиваетъ консуль.

Я рассказываю о вчерашней встрѣчѣ, какъ о какомъ-то загадочномъ видѣніи. И вотъ теперь, если меня не обманываютъ чувства...

— Тутъ ничего нѣтъ особеннаго смѣется мнѣ консуль. Въ Норвегіи 45 тысячъ женщинъ „лишнихъ“, ищущихъ труда.

---

Воскресенье. Утро. Звонятъ въ церквахъ. До отъѣзда мнѣ хочется побывать въ норвежской церкви. Выхожу. Въ воскресенье Гаммерфестъ внутри похожъ на маленький нѣмецкій городокъ. Это сказывается какъ-то и въ этихъ безчисленныхъ дѣтскихъ колясочкахъ, и въ чисто выметенныхъ улицахъ, и въ праздныхъ позахъ людей, немножко смѣшныхъ безъ дѣла, и въ томъ же монотонномъ тильканьи въ церквахъ. Вотъ только фіордъ и горы говорятъ, что это Норвегія.

Въ церквѣ всѣ съ молитвенниками ожидаютъ пастора, играетъ органъ... Хотѣлось бы сказать: Германія, но я замѣчаю на боковыхъ мѣстахъ плотныя фигуры норвежскихъ рыбаковъ съ выбритыми подбородками и бородой изъ подъ низу, съ ихъ голубыми морскими глазами.

Входитъ пасторъ... Тотъ самый пасторъ, съ которымъ мы встрѣтились въ Tanenfiord'ѣ, котораго я принялъ за Бранда, но потомъ игралъ съ нимъ въ бильбоке. Какой у него теперь торжественный видъ, какая грозная рѣчь! Я не понимаю по норвежски, но глаза суровыхъ рыбаковъ увлажняются; одинъ спряталъ лицо въ ладони, другой вытираетъ глаза платкомъ. Мнѣ какъ-то не приходилось замѣчать этого въ нѣмецкихъ церквахъ. Вѣроятно, и тутъ сказывается Норвегія, море.

Выхожу. Нѣсколько русскихъ бородатыхъ поморовъ стоятъ у окна церкви, строятъ безобразныя рожи, что-то показываютъ на пальцахъ, смѣются.

— „Что вы тутъ дѣлаете?“ спрашиваю я.

— „Да наши ребята норвежскаго попа слушаютъ. Смѣшимъ.“

— „Зачѣмъ?“

— „Разсмѣшимъ, а они и загрохочатъ, ихъ и выведутъ. Чудно.“

Невозможная дичь! Но такія рожи, что я хохочу и радуюсь, что не посмотрѣлъ на окно, когда былъ внутри церкви. Спѣшу скорѣе улизнуть отъ земляковъ, чтобы не быть скомпрометированнымъ.

Прямо за городомъ высокая черная каменная стѣна горы. На ней тропа, вѣроятно, для прогулокъ. Иду, а за мной бѣгутъ торжественныя звуки церковнаго органа и еще веселые аккорды рояля и трескъ отъ канатовъ съ фіорда: поморы натягиваютъ паруса. На горы хорошо подняться, не глядя внизъ, а потомъ, добравшись до вершины, сразу будто на крыльяхъ облетѣть все внизу.

Маленькій карточный городокъ, разбитый на правильные квадратики, нѣсколько игрушечныхъ церквей, кладбище, на которомъ движется черная точка, и много корабликовъ съ натянутыми парусами у берега.

Теперь я уже приучилъ глазъ измѣрять морскія разстоянія въ этомъ прозрачномъ сѣверномъ воздухѣ. Я знаю, что вотъ до того бѣлаго паруса верстъ десять, новичекъ скажетъ—верста.

Звуки я слышу отсюда тоже рѣзко, отчетливо: органъ и рояль.

Нѣтъ ничего противорѣчащаго въ этихъ звукахъ. Одно не мѣшаетъ другому. Отсюда на высотѣ мнѣ кажется, что это звучать согласно двѣ разныя стороны жизни.

Воскресенье... чего же больше?... Кто молится, кто веселится. Такъ это просто и понятно.

А у насъ...

Мнѣ по контрасту вспоминается Голгофская гора Соловецкаго монастыря, вспоминается красное вечернее солнце надъ моремъ, будто лампада надъ черной усыпальницей, вспоминаются таинственные желтые, черные лики, съ тревожнымъ отраженіемъ огоньковъ, вспоминаются кривыя извилины отъ неискреннихъ улыбокъ на блѣдныхъ восковыхъ лицахъ монаховъ, черная толпа богомольцевъ, ожидающая чуда, и все это.

Какъ тамъ необыкновенно, какъ сгущаются родныя черныя краски отсюда, издали, въ этомъ чистомъ воздухѣ фіорда подъ эти согласные звуки органа и рояля.

Ясень и простъ кажется теперь этотъ смыслъ человѣческой жизни, направленной по твердой колеѣ упорнаго будничнаго труда и сопровождаемой торжественными и веселыми звуками.

Но вѣдь это...

Ничего, ничего... Это воскресенье, чего же вы хотите, люди отдыхаютъ, люди непременно должны отдыхать...



Дорогой другъ,

последнее письмо я послалъ Вамъ изъ Соловецкаго монастыря, а теперь, воображаю, какъ Вы изумитесь, — изъ Норвегiи. Пишу на пароходѣ, гдѣ-то возлѣ Лофоденскихъ острововъ. Хочу подѣлиться съ Вами своими впечатлѣнiями въ знаменитомъ Lyngenfiord'ѣ.

Въ Гаммерфестѣ русскiй консулъ, мой новый хорошiй знакомый, отмѣтилъ на картѣ всѣ интересныя мѣста. Одно изъ такихъ мѣстъ и былъ Lyngenfiord съ своими ледниками. Пароходъ вышелъ вечеромъ. Ъхали мы вдоль темнаго изрѣзаннаго фiордами берега. Но въ сущности берега въ общепринятомъ смыслѣ здѣсь нѣтъ: пароходъ скользитъ между горами, на минуту покажется океанъ и опять обступятъ горы. Ни деревьевъ, ни травы, кажется, будто только что стали стекать воды послѣ потопа и обнажились эти вершины. Закатъ солнца въ Норвегiи это пожаръ въ горахъ. Мы ѣдемъ впередъ, а солнце поджигаетъ новую и новую черную гору...

Утромъ выхожу на палубу: дождь и туманъ. Въ Норвегiи, я слышалъ, лѣтомъ изъ трехъ дней два бываютъ дождливые и туманные. Я ушелъ въ каюту въ дурномъ расположенiи духа: дня три — четыре такой погоды, и я обогну почти весь Скандинавскiй полуостровъ, ничего не издавши. И въ



такомъ грустномъ размышленіи я вышелъ на палубу послѣ завтрака. Туманъ еще скрывалъ все кругомъ и все что я видѣлъ сначала—это отблескъ свѣта на зеленой килевой водѣ. На это свѣтлое пятно смотрѣли и другіе пассажиры: старикъ морякъ съ характерной для норвежцевъ бородой изъ-подъ низу, съ нимъ мальчуганъ, студентъ въ черной шапочкѣ съ значкомъ и съ бантомъ на плечѣ, рядомъ съ нимъ худенькая, какъ всѣ норвеженки, дама въ черномъ съ пучкомъ лиловыхъ колокольчиковъ, съ свѣтлыми локонами изъ-подъ закинутой назадъ зюдвестки. У нихъ что-то есть общее въ томъ, какъ они смотрятъ на море. Смотрятъ будто и разсѣяннo, безъ определенной мысли, какъ мы смотримъ на наши расплывающіяся дали. Но вотъ переводеть глаза на другое мѣсто горизонта и тутъ сказывается что-то свое, норвежское: блуждаютъ они, что-то предпринявъ, рѣшивъ, потому что знаютъ тайну своей природы.

Такъ мы смотримъ на свѣтлое пятно въ туманѣ и чего-то ждемъ. Вдругъ гдѣ-то махнуло бѣлымъ. Мы всѣ взглянули туда: свѣтящееся ожерелье поднималось по открывшейся черной горѣ съ бѣлой вершиной.

Махнуло еще гдѣ-то бѣлымъ, еще и еще. Одна вершина открывала другую... Казалось, что въ глубину фіорда медленно удалялась гигантская фигура, закутанная въ бѣлый туманъ. И, право же, я видѣлъ на снѣгу отъ вершины къ вершинѣ слѣды ногъ...

Кто-то ступалъ и закрывался, а за нимъ оставалось въ небесахъ свѣтлое утро творенія міра.

Нѣтъ, я не буду Вамъ описывать, не могу, пріѣзжайте сами посмотрѣть на эти чудеса. Вѣроятно, я очень расчувствовался, потому что дама съ лиловыми колокольчиками вдругъ съ любопытствомъ посмотрѣла на меня, а студентъ даже заговорилъ. Я отвѣтилъ ему по-нѣмецки, представился. То, что я оказался русскимъ, его заинтересовало. Онъ сейчасъ же представилъ меня и дамѣ съ лиловыми коло-

кольчиками, и еще одному студенту. Минуть через пять мы уже говорили объ Ибсенѣ, о Толстомъ, о большихъ неразрѣшимыхъ вопросахъ, совсѣмъ, совсѣмъ, какъ у насъ въ Россіи, въ студенческой компаніи. Я рассказывалъ, шутя, о своихъ приключеніяхъ на крайнемъ сѣверѣ, о томъ, какъ меня приняли за шпиона только потому, что я назвалъ себя русскимъ.

— „Что дѣлать! серьезно сказали студенты, мы должны бояться. Россія такая большая страна, а Норвегія такая маленькая.“

— „Хорошо, сказалъ я, если бы она была подъ интернаціональной защитой“.

— „Никогда!“ вспыхнулъ вдругъ студентъ.

Это „никогда“ было сказано такимъ тономъ, что я поспѣшилъ поправиться: „вотъ такъ, сказалъ я, какъ Швейцарія“.

— „Да, какъ Швейцарія, это другое дѣло!“

И мы вышли за Норвегію, какъ Швейцарія...

Тутъ я вдругъ почувствовалъ въ моихъ собесѣдникахъ какую-то коренную разницу сравнительно съ русскими студентами. У насъ какъ-то не принято послѣ бесѣды о Толстомъ произносить тостъ за „Великую Россію“ или за „Московское государство“.

Потомъ въ городѣ Тромсё къ намъ присоединилось еще много пассажировъ. Я познакомился съ купцами, адвокатами. Много говорили о подробностяхъ путешествія норвежскаго короля и о какомъ-то пасторѣ, депутатѣ отъ социалистовъ: одни находили, что онъ, какъ пасторъ, имѣетъ право быть социалистомъ и защитить обремененный податями (19 0/0) народъ, другіе, напротивъ, горячо доказывали, что это несомѣстно съ званіемъ пастора, бранили его. Про этого пастора я слышалъ и раньше нѣсколько разъ... И вдругъ какъ-то мнѣ представилось, что Норвегія маленькая страна, что между людьми тутъ какъ-то тѣсно. Вамъ это,





конечно, ничего не скажете, Вы знаете, что въ Норвегіи только два милліона жителей, но тутъ не въ жителяхъ дѣло. Это такое невыразимое субъективное ощущеніе... Не знаю, отчего оно происходитъ: оттого ли, что наша Россія такъ огромна, или что горы такъ величественны, а люди малы, или оттого, что привыкъ понимать и любить Норвегію по Ибсену, а тутъ приходится, какъ и вездѣ, встрѣчаться съ маленькими обыкновенными людьми...

Студенты меня зовутъ смотрѣть Лофодентскіе острова. До свиданія. Напишу Вамъ изъ Трондгейма, или Стокгольма.

Лофодентскіе острова я видѣлъ издали, мнѣ показывали разныя излюбленныя туристами горы: семь сестеръ, гору, похожую на всадника, гору со сквознымъ отверстіемъ, много всего такого. Утро творенія въ Lingenfiord'ѣ болѣе уже не повторялось. Гораздо сильнѣе этихъ горъ волновали меня разныя зеленыя площадки, кусты, деревья, цвѣты, которые чаще и чаще стали показываться у подножій горъ, у воды фіордовъ. Послѣ каменнаго безлѣснаго Мурмана, Норд-

капа, Гаммерфеста мнѣ казалось, что я постепенно опускаюсь на какую-то совѣмъ новую землю, которую никогда не видѣлъ въ дѣйствительности. Больше всего я испыталъ это настроеніе въ Трондгеймѣ во время прогулки къ Лерфосскимъ водопадамъ. Деревья тутъ и такъ великолѣпныя, а мнѣ они казались гигантскими... Вы поймете меня, если представите себѣ, что я превратился въ маленькаго краснаго паучка на корѣ старой липы. Итакъ, помните, мой другъ, что путешествіе съ сѣвера на югъ Норвегіи — это прежде всего радость отъ встрѣчи съ зеленой землей. Хорошо на небесахъ, но на землѣ куда, куда лучше...

Мнѣ удалось какъ-то хорошо проститься съ Норвегіей. Вышло это такъ. Поѣздъ изъ Трондгейма въ Стокгольмъ идетъ сначала долго, долго по берегу фіорда. Солнце садилось... Мое волшебное одинокое путешествіе приходило къ концу — я хотѣлъ оглянуться назадъ на свой путь. Вдругъ на станціи въ вагонъ вошелъ высокій бритый господинъ въ черной шляпѣ, въ черномъ пальто и съ ботанической сумкой, сѣлъ противъ меня и тоже сталъ задумчиво глядѣть на фіордъ. Я попробовалъ заговорить съ нимъ... Онъ вздрогнулъ отъ неожиданности. Потомъ сконфузился и сталъ извиняться, что нѣмецкій языкъ засталъ его врасплохъ. Какъ только онъ узналъ, что я русскій, сейчасъ же забросалъ меня вопросами... не объ Россіи... нѣтъ..., а о Норвегіи, какъ она мнѣ показалась?

Это былъ первый настоящій культурный человѣкъ, котораго я встрѣтилъ въ своемъ путешествіи. Я обрадовался ему, какъ тѣмъ первымъ деревьямъ въ Трондгеймѣ... Лицоу него такое нервное, изящное, въ скандинавскомъ профилѣ сказывались вѣка европейской христіанской культуры. Мнѣ было радостно видѣть его и потому я искренне и горячо ему отвѣтилъ:

— „Норвегія чудная страна, люди здѣсь работаютъ, любятъ родину, любятъ свободу, цѣнятъ науку, цѣнятъ искусство...“

И еще что-то я говорилъ много хорошаго...

Когда я кончилъ, этотъ профессоръ, или пасторъ, вскочилъ и сталъ мнѣ жать руки. Тутъ поѣздъ остановился,

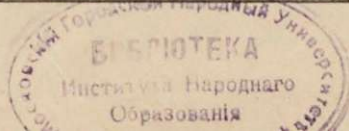
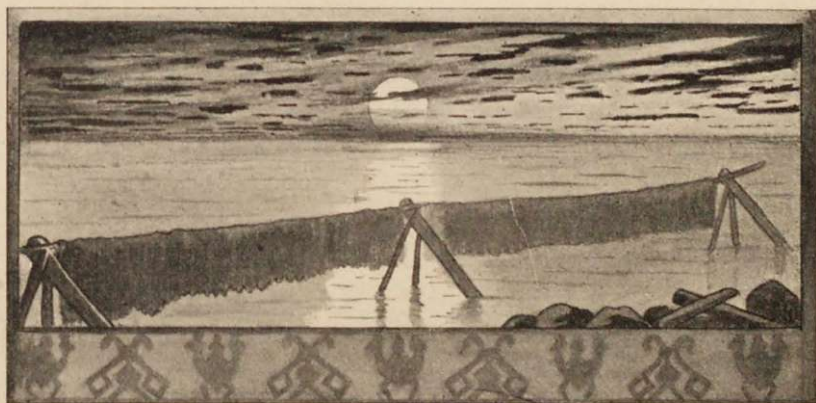


онъ успѣшилъ надѣть свою сумку, хотѣлъ было выйти, но вдругъ на порогѣ остановился. „Gott behüte Sie!“ сказалъ онъ мнѣ, горячо пожалъ еще разъ руку и вышелъ...

Такъ я простился съ Норвегіей. На другой день я былъ уже въ Швеціи въ Стокгольмѣ.

Дорогой другъ, сейчасъ произошло крупнѣйшее событіе въ моемъ путешествіи. Пока я писалъ Вамъ письмо, въ моей комнаткѣ на пятомъ этажѣ стокгольмской гостиницы постепенно темнѣло. Механически, по старой привычкѣ, я зажегъ свѣчу и продолжалъ писать. Вдругъ что-то блеснуло налѣво. Посмотрѣлъ туда и что же! Въ окно глядитъ на меня настоящая темная ночь и блестятъ настоящія звѣзды. Первая звѣзда, первая ночь за три мѣсяца! И потомъ это пламя свѣта и эти колеблющіяся тѣни...

Я сталъ бродить изъ угла въ уголь по своей комнатѣ. И вдругъ мнѣ блеснула та страна безъ имени, безъ территоріи, въ которую, помните, мы пытались убѣжать дѣтьми. И все мое одинокое волшебное путешествіе вдругъ получило единый смыслъ, единое значеніе: я шелъ въ страну безъ имени за волшебнымъ колобкомъ.



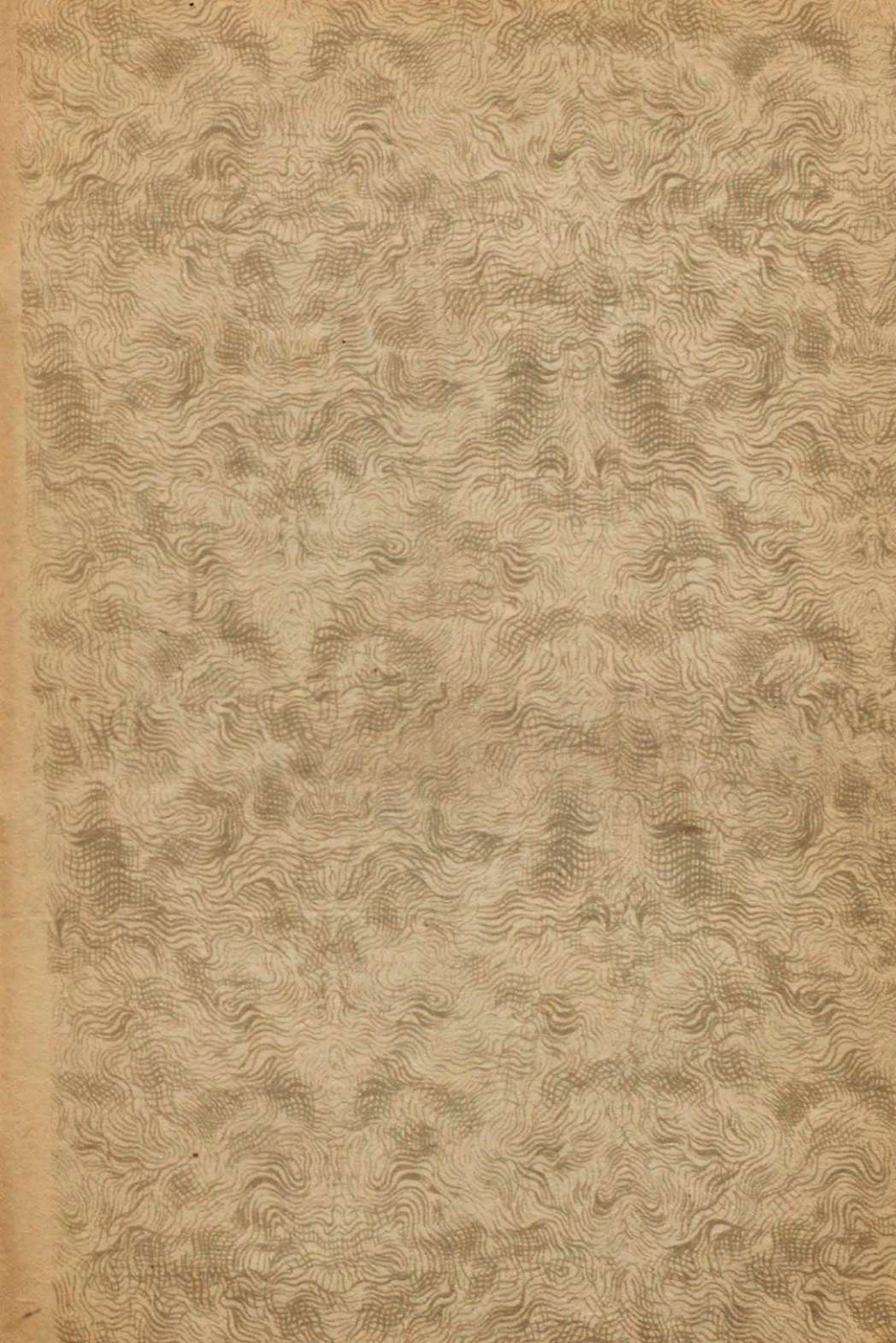


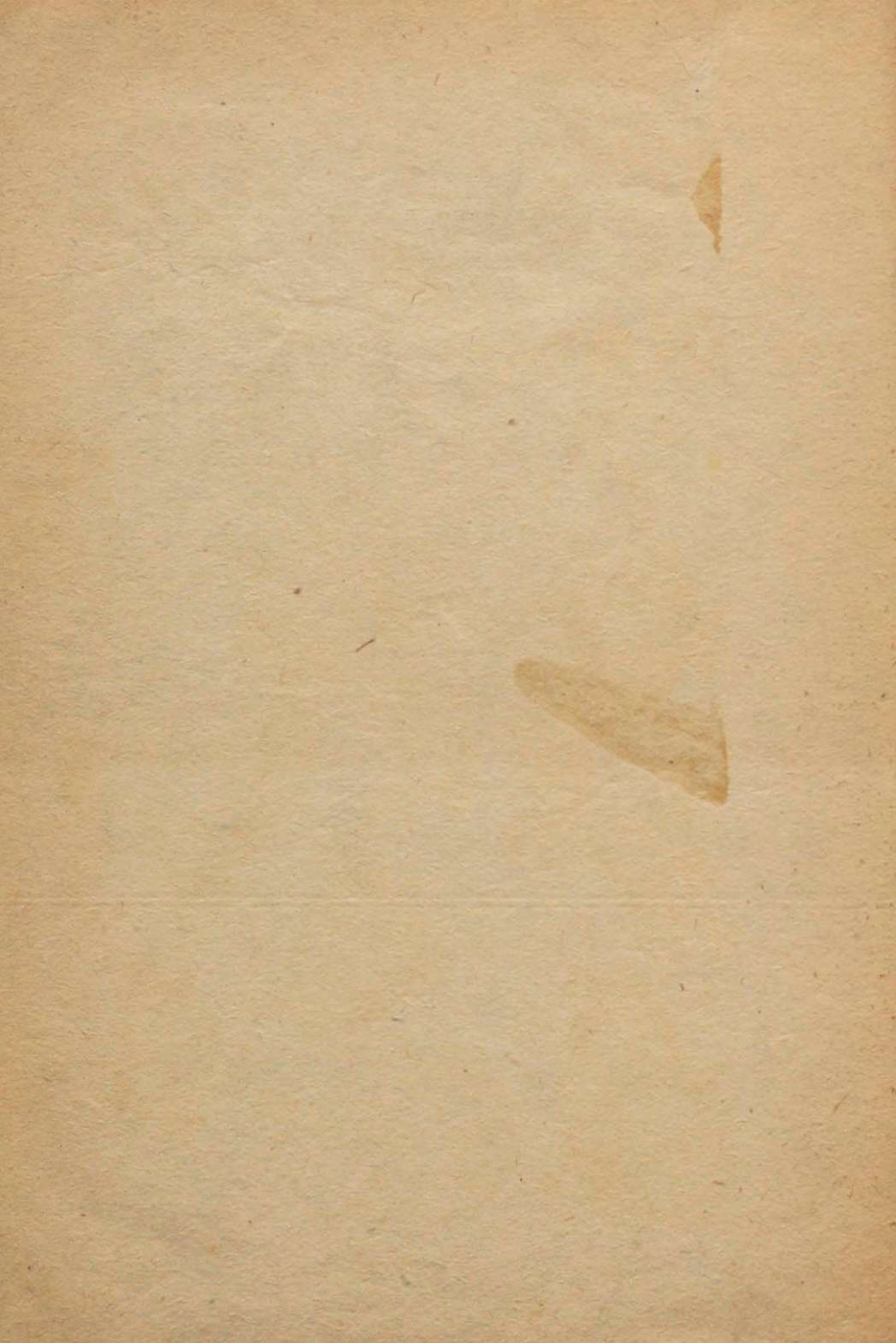
L

\* 26 ИСН 1974

















2011123485